

Н. М. Мендельсонъ.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

— Съ 29 рисунками и портретами въ текстѣ.



МОСКВА.

Книгоиздательство „ПОЛЬЗА“

В. Антикъ и К^о.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Авторъ этой книги принимаетъ то опредѣленіе исторіи литературы, которое разсматриваетъ ее, какъ исторію смѣны религіозныхъ, нравственныхъ, политическихъ и соціальныхъ идей, отраженныхъ въ формахъ художественнаго слова.

Русская литература оправдываетъ принятіе этого опредѣленія, какъ нельзя болѣе. Начиная съ Кантемира, писавшаго на зарѣ нашей общественности, русская литература—вѣрное отраженіе разнообразныхъ идейныхъ переживаній, волновавшихъ русское общество. Въ силу цѣлаго ряда культурныхъ и политическихъ условій, произведенія русской художественной литературы часто являлись тѣмъ единственнымъ центромъ, къ которому сходились всѣ нити общественной мысли. Принять другое опредѣленіе исторіи литературы, сводящее ее исключительно къ исторіи измѣненія художественныхъ формъ,—значитъ насильно втиснуть предметъ въ неподходящія для него узкія рамки, добровольно закрыть глаза на самую характерную, основную особенность нашей литературы, сказывающуюся даже въ произведеніяхъ Толстого и Достоевскаго, двухъ писателей исключительной творческой мощи, которые всегда стояли выше своего времени, глядѣли далеко впередъ.

Въ силу этихъ предпосылокъ, авторъ въ главахъ IV, VII и XVII попытался дать очерки общественныхъ и идейныхъ теченій русской жизни, опредѣлившихъ основные моменты въ исторіи нашей литературы до девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія включительно. Идейныя настроенія современности и ихъ литературныя отраженія остались

внѣ рамокъ этой книги: они не отошли еще въ область исторіи, не опредѣлились окончательно, такъ какъ процессъ ихъ завершенія, можно сказать, только что начался.

„Очерки“ предназначены для читателей мало подготовленныхъ. Это обстоятельство заставило автора, во-первыхъ, остановиться лишь на наиболѣе крупныхъ явленіяхъ русской литературы, во-вторыхъ, удѣлить довольно много мѣста ознакомленію читателей съ содержаніемъ важнѣйшихъ произведеній, наконецъ, постараться соединить серьезность изложенія съ его возможной доступностью.

Народная словесность. Литература домонгольского периода.

Начало русской письменности совпадает со временем принятия христианства, но произведения поэтического творчества, создававшаяся в среде народа и передававшаяся устно из поколения в поколение, существовали еще задолго до принятия христианства. Это произведения так называемой народной словесности.

В христианский период творческая работа в этой области продолжалась, осложнившись рядом разнородных влияний. Воздействия священного писания, разнообразных книжных сказаний, так называемых „бродячих“ сюжетов, переходивших от одного народа к другому, — все это наложило свой отпечаток на произведения народной словесности, в которых крайне трудно отыскать первоначальный их остов.

В христианский же период народ выдѣлилъ из своей среды профессиональных пѣвцовъ. Это были пѣвцы княжеской дружины, воспѣвавшие походы и бранные подвиги князя и его соратниковъ; скоморохи — „веселые люди“, ходившие по Руси со своими веселыми, иногда крайне непристойными, пѣснями и представлениями, в которыхъ ясно чувствовалась языческая старина; сказители, до нашихъ дней сохраняющие на далекомъ сѣверѣ Россіи „старинны“ или былины — пѣсни о герояхъ-богатыряхъ; вопленицы — женщины, провожающія покойниковъ поэтическими плачами или „воплями“.

Прошелъ цѣлый рядъ столѣтій, прежде чѣмъ стали записывать произведения народной словесности, что было первымъ шагомъ къ ихъ научному изслѣдованію. Последнее началось только въ 30-хъ годахъ XIX столѣтія. Благодаря этимъ обстоятельствамъ, многія произведения народной словесности навсегда для насъ утрачены, а тѣ, которыя сохранились, въ значительной своей части не изслѣдованы настолько, чтобы можно было го-

ворить о какихъ-нибудь законченныхъ, опредѣленныхъ выводахъ. Одно можно считать твердо установленнымъ: несмотря на разнообразныя вліянія, которымъ подвергалась русская народная словесность, она носитъ вполне національный характеръ, сказывающійся, главнымъ образомъ, въ ея глубокомъ реализмѣ, въ умѣннѣ схватить и передать яркія бытовыя особенности, въ живомъ чувствѣ художественной правды. Эти черты сказываются даже въ произведеніяхъ чисто фантастическихъ.

Какъ только было принято христіанство, начались гоненія на народную словесность со стороны церкви, которая чувствовала, что въ этихъ произведеніяхъ, вышедшихъ изъ нѣдръ народа, языческая старина находитъ себѣ прочное убѣжище. Церковныя гоненія не могли, конечно, совсѣмъ убить народную словесность; но они задержали ея естественное развитіе и—главное—надолго разъединили съ ней письменность, которая на зарѣ своего существованія осталась почти совершенно внѣ оживляющихъ вліяній народной поэзіи.

Старинная народная поэзія въ наши дни существуетъ лишь на окраинахъ Россіи да въ глухихъ захолустьяхъ, куда еще не проникли во всей своей силѣ новыя культурныя вѣянія. Тамъ, гдѣ новыя условія жизни дали народу хорошую школу, интересъ къ старинной народной поэзіи замѣнился интересомъ къ книгѣ. Тамъ же, гдѣ вліяніе школы слабо, а новая жизнь съ фабриками, трактирами, городскими вкусами и модами даетъ себя знать,—тамъ вмѣсто старой народной поэзіи звучитъ новая, въ видѣ „романсовъ“, лишенныхъ всякой художественности, или въ видѣ „частушекъ“, сплошь и рядомъ циничныхъ и грубыхъ по содержанию.

Со времени принятія христіанства (съ конца X вѣка) появляется русская письменность.

Необходимымъ условіемъ появленія письменности, книжной словесности, служитъ наличность письменъ, азбуки, съ помощью которой возможно выражать все разнообразіе звуковъ живой рѣчи.

Ко времени принятія христіанства у русскихъ славянъ азбуки не было, не было, слѣдовательно, и письменности, а между тѣмъ для совершенія богослуженія нужны были книги. Ихъ взяли отъ родственныхъ намъ по языку южныхъ славянъ, главнымъ образомъ, болгаръ, которые еще со второй половины IX вѣка имѣли азбуку, изобрѣтенную св. Кирилломъ. Книги богослуженныя и книги священнаго писанія, взятыя отъ южныхъ славянъ,



ВЪРЪМАНО
ВЪННДЕНІС
ВЪКАПЕРЬНА
ОУМЪ ВЪ
ГРАДЪ ГАЛН
ЛЕНСКЪ НБЪОУ

Снимокъ части листа изъ Остромирова Евангелія.

и положили начало нашей письменности. Перешли къ намъ и нѣкоторыя другія книги, не имѣвшія непосредственнаго отношенія къ нуждамъ богослуженія. Это были творенія св. отцовъ житія святыхъ, историческія сочиненія, апокрифы (непризнанныя церковью сказанія о лицахъ и событіяхъ ветхаго и новаго за-вѣта), нѣсколько философскихъ сочиненій и многочисленные сборники самаго разнообразнаго состава. Родиной всѣхъ этихъ произведеній была Византія, крестившая Русь, а южные славяне были лишь посредниками въ дѣлѣ передачи намъ византійской литературы.

Древнѣйшимъ, дошедшимъ до насъ, памятникомъ русской письменности является Остромировъ списокъ Евангелія. Онъ переписанъ съ древне-болгарскаго оригинала діакономъ Григоріемъ для Новгородскаго посадника Остромира въ 1056—1057 г. Языкъ Евангелія называется древне-болгарскимъ или древне-церковно-славянскимъ (въ отличіе отъ новаго церковно-славянскаго языка, на которомъ мы теперь читаемъ св. писаніе).

Произведенія собственно-русской книжной словесности могутъ быть раздѣлены на слѣдующіе отдѣлы; 1. Слова, поученія и посланія; 2. житія святыхъ; 3. лѣтописныя и историческія сочиненія; 4. хожденія или путешествія.

Со времени принятія христіанства нашимъ предкамъ пришлось усваивать новое міросозерцаніе, новыя нравственныя понятія. Принимая новую вѣру иногда подъ давленіемъ грубой силы, широкія массы населенія долго не могли забыть своего язычества, оставались „двоувѣрными“. На борьбу съ упорной языческой стариной выступили „книжныя“ сословія—князья, бояре и, главнымъ образомъ, духовенство. Орудіемъ борьбы были слова, поученія и посланія, носившія, сообразно цѣли ихъ авторовъ, различный характеръ: наставительный, если имѣлась въ виду нрав-

ВЕДУТЬСЯ ГОЛѢБА НА
САНКАХЪ ВРАЦѢКА
МЕНѢ...



Образецъ рукописной миниатюры изъ житія Св. Бориса и Глѣба.

ственная цѣль; догматической, когда авторъ объяснялъ какой-нибудь догматъ, основное положеніе христіанскаго вѣроученія; полемической, если преслѣдовалась цѣль защиты христіанства отъ его враговъ. Св. Илларионъ, митрополитъ кievскій (XI в.), Кириллъ, еп. туrowsкій (XI в.), св. Серапионъ, еп. владимирскій (XIII в.)—вотъ наиболѣе извѣстные проповѣдники древней Руси.

Житія святыхъ, изображавшія жизнь и подвиги людей строгой вѣры и благочестія, были любимымъ чтеніемъ нашихъ предковъ. Житія русскихъ святыхъ слагались по образцу подобныхъ произведеній, переходившихъ къ намъ изъ Византіи. Изъ русскихъ житій наиболѣе замѣчательно житіе преп. Феодосія, написанное Несторомъ. Проникнутое искреннимъ чувствомъ, оно

даетъ живую картину древне-русской жизни. Въ обстановкѣ далекой старины передъ нами развивается неумирающая тема о борьбѣ отцовъ и дѣтей въ лицѣ матери Θεодосія, лишь внѣшне усвоившей истины новой вѣры, и сына, глубоко проникнувшегося духомъ христіанства. Страницы, посвященныя игуменству Θεодосія въ Кіево-Печерской обители, обрисовываютъ громадную культурную роль древняго монастыря, который, будучи центромъ умственной жизни, не замыкался отъ міра, а, наоборотъ, шель въ міръ со смѣлымъ словомъ обличенія нравственной, а иногда и политической неправды.

Естественная потребность сохранить въ памяти потомства замѣчательныя событія въ жизни церкви и государства вызвала появленіе сочиненій лѣтописныхъ и историческихъ. Къ началу XII в. относится такъ называемая „Лѣтопись Нестора“, самое крупное историческое произведеніе древняго періода. „Лѣтопись Нестора“ не дошла до насъ въ отдѣльномъ видѣ, а составляетъ начало многихъ позднѣйшихъ лѣтописныхъ сводовъ, въ которыхъ она соединена съ разнообразными ея продолженіями. Въ основѣ лѣтописи лежатъ многочисленные устные и письменные источники: рассказы очевидцевъ, народныя преданія, мелкія календарныя замѣтки, книги священнаго писанія, житія святыхъ, исторія Кіево-Печерской обители, официальные документы, византійскія историческія сочиненія и пр. Авторъ лѣтописи начинается издалека. Онъ рассказываетъ о раздѣленіи земли между сыновьями Ноя послѣ потопа, о расселеніи людей, раздѣленныхъ Богомъ послѣ Вавилонскаго столпотворенія на 72 языка, даетъ очеркъ географіи древняго міра, излагаетъ исторію славянъ и ихъ расселенія на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ Россіи и переходитъ къ лѣтописи собственно русской разсказомъ о томъ, какъ въ 852 г. „приходиша Русь на Царь-городъ, якоже пишется въ лѣтописанѣ гречестѣмъ“. Съ этого мѣста лѣтописи впереди событій выставляются года, причемъ лѣтосчисленіе ведется отъ сотворенія міра. Особой подробностью и живостью отличается повѣствованіе о временахъ христіанскихъ, начиная съ Владимира св. Разсказъ доведенъ до 1110 г.

Вскорѣ послѣ принятія христіанства начались у насъ путешествія ко святымъ мѣстамъ, особенно въ Іерусалимъ, для поклоненія гробу Господню. Нѣкоторые изъ путешественниковъ, желая какъ бы приобщить къ своему душеполезному подвигу соотечественниковъ, оставляли описанія своихъ путешествій или хожденій. Таково, на примѣръ, описаніе игумена Даніила (XII в.).

Главными, почти исключительными, дѣятелями въ области древней русской литературы были лица духовныя. Они же несли на себѣ и трудъ списыванія книгъ (книгопечатаніе появилось у насъ лишь въ XIV в.). Списываніе книгъ на пергаментѣ, крупнымъ, четкимъ почеркомъ (уставомъ), было дѣломъ труднымъ и медленнымъ. Но сознаніе высокой важности работы, взгляды на нее, какъ на религиозный подвигъ, придавали силъ и побуждали трудности. Искреннимъ чувствомъ нравственнаго удовлетворенія проникнуты многія приписки, которыя дѣлались переписчиками въ концѣ рукописей. „Радуется купецъ“, пишетъ одинъ изъ нихъ, „прикупъ сотворивъ, и кормчій, въ отишье приставъ, и странникъ, въ отечество свое пришедъ, — также радуется и книжный писатель, дошедъ конца книгамъ“.

Преобладающей чертой, объединяющей всю древнюю письменность, является религиозная назидательность. Не говоря уже о проповѣдяхъ и житіяхъ святыхъ, она проникаетъ и историческія сочиненія, и путешествія. Лѣтописецъ на всѣ событія смотритъ съ религиозной точки зрѣнія. Міръ — арена борьбы Бога и дьявола; ихъ непрестанной враждой объясняются всѣ событія („вложи Богъ мысль добру въ русьскыѣ князи“ или: вражда между князьями произошла „отъ дьяволя на ученья“). Явленія внѣшней природы — это знаменья Божьи, посылаемыя, какъ предостереженія („знаменія бо бывають ово на зло, ово ли на добро“). Несчастія и бѣдствія, постигающія Русь, — это наказанія за грѣхи, „казни Божіи“. Игумена Даниила, посѣтившаго Палестину, совсѣмъ не интересуется ни жизнь чуждыхъ ему странъ, черезъ которыя онъ проходилъ, ни крупныя политическія событія, свидѣтелемъ которыхъ онъ былъ въ Иерусалимѣ: его кругозоръ стѣсненъ интересами исключительно религиозными. Напрасно стали бы мы искать въ произведеніяхъ древней письменности реальныхъ знаній о человѣкѣ, природѣ, жизни. Она объявляла все мірское грѣховнымъ („естъ бо воистину ненавистенъ міръ сей и мерзокъ“) и ни во что ставила „высокоуміе“ и „прелестный разумъ“.

При господствѣ религиозно-церковнаго направленія въ нашей древней письменности, всѣ поэтическія произведенія этого періода принадлежать къ области устной народной поэзіи. Единственнымъ исключеніемъ является „Слово о полку Игоревѣ“ — произведеніе, вышедшее изъ среды княжеской дружины. Неизвѣстный авторъ „Слова“, сохраняя живую связь съ народомъ, былъ, несомнѣнно, человѣкомъ просвѣщеннымъ, книжнымъ и обладалъ крупнымъ поэтическимъ талантомъ.

Найденное въ одномъ рукописномъ сборникѣ XV—XVI в., „Слово о полку Игоревѣ“ даетъ поэтическій рассказъ о неудачномъ походѣ Сѣверскихъ князей на половцевъ въ 1185 г.

Въ недобрый часъ выступилъ противъ степныхъ кочевниковъ Новгородъ-Сѣверскій князь Игорь съ сыномъ Владимиромъ и еще двумя князьями: солнечное затменіе предвѣщаетъ бѣду. Первая схватка съ врагами удачна для русскихъ: они „потоптали“ половцевъ и взяли богатую добычу. Во второй битвѣ они потерпѣли пораженіе, и Игорь съ сыномъ взяты въ плѣнъ. Пѣвецъ скорбитъ объ этомъ и съ горькимъ чувствомъ вспоминаетъ о княжескихъ междоусобіяхъ, которыя онъ считаетъ причиною бѣдствій русской земли. Затѣмъ пѣвецъ изъ степи переноситъ насъ на Русь. Кіевскій князь Святославъ рассказываетъ боярамъ свой вѣщій сонъ, исполненный дурныхъ предзнаменованій. Онъ упрекаетъ молодыхъ князей, необдуманно пошедшихъ на половцевъ, жалуется на русскихъ князей, дѣйствующихъ позорно, взываетъ къ ихъ патріотическому чувству, къ единодушнымъ дѣйствіямъ противъ общаго врага. А въ Путивлѣ, встрѣчая восходъ солнца на городской стѣнѣ, причитаетъ жена Игоря Ярославна, умоляя солнце, вѣтеръ, Днѣпръ, всю природу помочь ея милому мужу. Рассказъ о бѣгствѣ Игоря изъ плѣна и радостномъ возвращеніи домой заключаетъ „Слово“.

Проникнутое единствомъ настроенія, — скорбнымъ чувствомъ по поводу княжескихъ раздоровъ, губящихъ Русь, — „Слово“ поражаетъ прекрасными поэтическими картинами, въ рамки которыхъ вставлены описываемыя событія. Особенно богаты красотою описанія южной степи.

Стаи вороновъ и галокъ кружатся по равнинамъ. Парятъ орлы и соколы, стрекочутъ сороки. На водахъ плаваютъ лебеди и гоголи, а надъ ними носятся чайки. Трава шумитъ при движеніи шатровъ половецкихъ. Скрипятъ ночью половецкія телѣги, какъ „распущенные лебеди“. Надъ мягкой прибрежной травой рѣвки склоняются плакуція деревья. И вся природа живетъ, тѣсно связанная съ жизнью человѣка. Когда Игорь выступаетъ въ походъ, затменіе солнца предвѣщаетъ ему несчастье: „солнце тьмою путь ему заступаетъ; ночь, стонучи грозою, будитъ птицъ; звѣри ревутъ; зловѣщая птица Дивъ кличетъ на вершинѣ дерева“. „Кровавыя зори“ вѣщаютъ о пораженіи, а когда войско разбито и князья взяты въ плѣнъ, „никнетъ трава отъ жалости и дерево съ тоскою къ землѣ приклонилось“. Во время возвращенія Игоря изъ плѣна природа радуется, помогаетъ бѣглецу: „Донецъ лелѣетъ князя на волнахъ своихъ, одѣваетъ его теплою мглою, сте-

режетъ его гоголемъ на водѣ, чайками на струяхъ. Не каркають вороны, замолкають галки. Дятлы тектомъ путь къ рѣкѣ указываютъ, соловьи веселыми пѣснями о разсвѣтѣ говорить.

Близкое по своимъ поэтическимъ мотивамъ и художественнымъ приемамъ къ народной поэзіи, „Слово“ служить лучшимъ примѣромъ того, чѣмъ могла бы быть древняя русская литература, если бы, свободная отъ путь исключительно религіозныхъ вліяній, она стояла ближе къ родникамъ народнаго творчества.

II.

Литература Московской Руси и канунъ преобразованій.

Послѣ XIII в., съ нашествіемъ татаръ, опустошившихъ Кіевскую Русь, политической и литературный центръ перемѣстился на сѣверо-востокъ. Постоянно возвышаясь, во главѣ Великой Руси становится Москва, которая послѣ паденія Константинополя (1453 г.) являлась въ глазахъ всего православнаго міра единой хранительницей православія и византійско-русской старины. Наряду съ политическимъ ростомъ Москвы усиливалось національное самодовольство, замкнутость и враждебное отношеніе къ Западу, какъ хранителю „латинской мудрости“.

Политическому и церковному возвышенію Москвы, ея національному самодовольству далеко не соотвѣтствовало ея культурное состояніе. Просвѣщеніе стояло здѣсь гораздо ниже, чѣмъ, на примѣръ, въ Кіевѣ, и развивалось очень медленно. Грамотность и книжное просвѣщеніе сосредоточены были исключительно въ монастыряхъ и пустыняхъ. Въ монастырскихъ стѣнахъ не было и этого, даже въ кругу высшихъ сословій, и въ XV—XVI в.в. раздаются постоянныя жалобы на „двоевѣріе“ народа, безграмотность духовенства, отсутствіе школъ.

Литературная дѣятельность въ это время попрежнему направляется, главнымъ образомъ, религіозно-церковными интересами, но понемногу въ узкія рамки старыхъ литературныхъ формъ, подъ вліяніемъ жизни, начинаетъ проникать новое содержаніе. Наряду съ „добрословными“ поученіями, посланіями и житіями святыхъ появляются историческія повѣсти и произведенія политическаго характера. Таковы, на примѣръ, легенды, имѣвшія въ виду показать преемственную связь между павшей Византіей, колыбелью православія, и Москвой, ея единой хранительницей. Появляются произведенія, отражающія въ себѣ борьбу Москвы съ различными оппозиціонными теченіями русской жизни.

Эти теченія сказались прежде всего въ появленіи ересей. Онѣ зародились въ серединѣ XIV в. въ Новгородѣ и Псковѣ, издавна имѣвшихъ сношенія съ Западомъ, и подъ разными названіями (ересь стригольниковъ, жидовствующихъ и пр.) распространились по Руси, зайдя и въ Москву, гдѣ поддерживали броженіе религиозной мысли до XVI в. Весьма характерно для многихъ еретиковъ стремленіе предоставить разуму верховныя права въ дѣлахъ религіи и примѣнить свои религиозныя вѣрованія къ измѣненію общественныхъ отношеній. Дьякъ Курицынъ, близкій къ Ивану III человекъ, проповѣдовалъ, что „разумъ самовластенъ: стѣсняетъ его вѣра“, а еретикъ Башкинъ отпустилъ на свободу своихъ холоповъ, такъ какъ „и Христосъ всѣхъ братьями нарицаетъ“.

Наряду съ ересями въ Москвѣ XV и XVI вѣковъ появляются проповѣдники латинской вѣры и протестантства, распространяются западныя книги мірскаго содержанія, сказываются новыя теченія въ церковной живописи, стремящіяся приблизить ее къ настоящему художеству. Само правительство, нуждаясь въ образованныхъ техникахъ, мастерахъ, военныхъ, выписываетъ къ себѣ на службу иностранцевъ, которые образуютъ въ Москвѣ цѣлую „нѣмецкую слободу“.

Заколебались устои старой, кичливо замкнутой въ себѣ жизни, и все, что было въ ней энергичнаго, встало на защиту старины. Св. Геннадій, архіепископъ новгородскій, Іосифъ Санинъ, основатель Волоколамской обители, выступили на борьбу съ еретиками. Суровые защитники православія, они въ своихъ произведеніяхъ требовали жестокихъ казней для еретиковъ. Словно чувствуя необходимость хоть чѣмъ-нибудь оправдать эту жестокость, столь несогласную съ духомъ христіанства, Геннадій ссылается на примѣръ испанскаго короля Фердинанда Католика, который ввелъ инквизицію. Такъ, даже ревнителямъ старины приходилось пользоваться примѣромъ ненавистнаго имъ Запада.

Обличая и проклиная новшества, истые московскіе люди заботились также о томъ, чтобы собрать воедино, привести въ порядокъ и систему все то, чѣмъ жила благочестивая старина. Издаются „подлинники“, руководства для иконописцевъ, съ цѣлью оградить отъ вторженія новшествъ церковную живопись. Въ царствованіе Ивана Грознаго митрополитъ Макарій составляетъ Четьи-Минеи, сборникъ „богодуховенныхъ книгъ, кои въ русской землѣ обрѣтаются“, а „Домострой“ подробно излагаетъ, какъ должно идти „праведное, благоразсудливое и порядливое житіе“, „по заповѣди Господни, и по отеческому преданію, и по христіанскому закону“.

Въ XVII в. борьба старины и новизны обостряется: изъ юго-западной Руси въ Москву хлынула новая волна западнаго вліянія.

Юго-западная Русь въ серединѣ XVI в. вошла въ составъ Литовско-Польскаго государства. Близость къ Западу и Польшѣ способствовала проникновенію западныхъ вліяній, а непрестанная борьба съ католической проповѣдью побуждала православное населеніе къ заботамъ о распространеніи просвѣщенія. Съ послѣдней цѣлью возникаютъ при церквахъ православныя братства, основывающія школы, сначала низшія и среднія, а потомъ и высшія. Научное направленіе, господствовавшее въ юго-западныхъ школахъ, носитъ названіе схоластики, школьной науки, далекой отъ жизни. Знаніе славянскаго, латинскаго и польскаго языковъ, навыкъ писать на любую тему неуклюжіе стихи (вирши), умѣнье вести отвлеченные споры, объяснять догматы вѣры при помощи различныхъ умственныхъ хитросплетеній, знакомство съ древней философіей, принаровленной къ истинамъ священнаго писанія, и, какъ вѣнецъ всего, правила ораторскаго искусства и богословскія знанія, — вотъ что выносили изъ схоластической школы ея ученики. Это были знанія, отъ которыхъ Западная Европа уже отказалась въ пользу истинной науки и свободной философій, но для Руси Московскоя они были недосыгаемо велики.

То же надо сказать и о литературѣ юго-западной Руси. Здѣсь было много произведеній свѣтскаго характера, незнакомыхъ Руси Московскоя. Таковы, на примѣръ, сборники легкихъ „смѣхотворныхъ“, какъ ихъ называли, рассказовъ, рыцарскіе и любовные романы. Развивается здѣсь и драма, причемъ въ религіозные и поучительные сюжеты довольно рано начинается проникать народно-бытовое содержаніе.

Когда Кіевъ вмѣстѣ съ Малороссіей былъ присоединенъ къ Московскому государству, роль кіевскихъ ученыхъ, какъ борцовъ съ католичествомъ въ южной Руси, была окончена. Они перенесли свою дѣятельность въ Москву. Какъ ни подозрительно старая Москва относилась къ знанію, полученному изъ зараженнаго „латинствомъ“ источника, она вынуждена была прибѣгнуть къ помощи кіевскихъ ученыхъ, такъ какъ сама бѣдна была образованными людьми. Рядъ кіевлянъ принимаетъ участіе и въ оживившемся школьномъ дѣлѣ, и въ дѣлѣ исправленія церковныхъ книгъ, предпринятомъ патріархомъ Никономъ. Сказывается вліяніе кіевлянъ и въ литературѣ. Умножается количество учебниковъ, руководствъ, которые понадобились для новыхъ школъ. Подъ перомъ Симеона Полоцкаго зарождается драматическая литература, и при чинномъ дворѣ Московскаго царя устраиваются

театральныя представленія. Появляются повѣсти, дѣлающія попытки изобразить реальную жизнь („Повѣсть о горѣ-злосчастіи“, „Савва Грудцинь“, „Повѣсть о Фролѣ Скобѣевѣ“).

Появленіе кievскихъ ученыхъ усилило броженіе умовъ „Иностранные иноки“, какъ звали кievлянъ въ Москвѣ, не приносили съ собой уваженія къ преданіямъ и старинѣ русскаго народа. Гордые своимъ образованіемъ, они для защитниковъ старины не болѣе какъ еретики, и московскіе ревнители старой жизни хвастаютъ передъ ними своимъ невѣжествомъ, своей готовностью подчинить знаніе вѣрѣ. Близкій другъ царя Алексѣя Михайловича, бояринъ Матвѣевъ, сторонникъ новаго образованія, пришелъ гдѣ съ кievскимъ ученымъ Симеономъ Полоцкімъ къ прѣтопопу

Евакуму, вождю и вдохновителю старовѣровъ. „Стязаніе между ними было сильное: разошлись яко пьяни“, рассказываетъ современникъ. Полоцкій говорилъ: „Острота тѣлеснаго ума, а се не умѣетъ науки“. Авакумъ же въ свою очередь сказалъ Матвѣеву: „Ты ищешь въ словопреніи высокой науки, а я прошу у Христа моего поклонами и слезами. И мнѣ съ вами кое общеніе? Яко свѣту со тьмою или Христу съ Велиаромъ!“ — „Несообщно намъ съ тобою“, сквозь зубы молвилъ Матвѣевъ.

Эта маленькая сценка изъ тогдашней жизни ярко вскрываетъ сущность того броженія, которое колебало, раскалывало устой русской жизни, увлекаая однихъ въ сторону Запада, другихъ въ сторону „древляго“ благочестія. Въ состояніи такого броженія засталъ Русь Петръ Великій.

III.

Литература Петровской эпохи.

„Которая земля перестраиваетъ обычаи свои, и та земля недолго стоитъ“, говорили старые московскіе люди. Петръ Великій уничтожилъ опасенія близорукаго русскаго невѣжества, разрушилъ нашу самодовольную національную замкнутость. Онъ неопровержимо доказалъ русскому народу, что иноземцы во многихъ отношеніяхъ выше русскихъ, что ихъ нужно не презирать, а уважать, входить въ общеніе съ ними, учиться у нихъ. Твердой, иногда жестокой рукой подавивъ противодѣйствіе ревнителей старины, Петръ энергично принялся за работу обновленія всѣхъ сторонъ русской жизни.

Основавъ новый типъ свѣтской школы, преимущественно профессиональной, создавъ первую русскую газету („Русскія Вѣдомости“, первый номеръ которыхъ вышелъ 2 января 1703 г.),

заботясь о переводѣ книгъ техническихъ, историческихъ и политическихъ, Петрѣ далъ могучій толчокъ развитію русской литературы.

Дѣятельность духовныхъ писателей, кievскихъ ученыхъ, продолжалась и при Петрѣ Великомъ, но въ ихъ произведеніяхъ звучать уже новые мотивы. Такъ, въ проповѣдяхъ Стефана Яворскаго мы встрѣчаемъ отголоски обострившейся при Петрѣ борьбы

между церковью и государствомъ, указанія на тяжелое положеніе податныхъ массъ народа, выносившихъ на своихъ плечахъ всю стремительность Петровскихъ реформъ, а другой проповѣдникъ, Теофанъ Прокоповичъ, съ церковной кафедрой говоритъ о необходимости флота, о пользѣ путешествій въ чужія страны и на похоронахъ Петра въ рамки погребальнаго слова вкладываетъ цѣлую политическую программу.

Но особенное движеніе и жизнь замѣтны въ области литературы свѣтской, которая со времени Петра Великаго окончательно освободилась отъ вліянія церкви. Петровская эпоха дала историка Татищева и перваго русскаго публициста, Ивана Тихоновича Посошкова.

Проникнутый „презѣльной любовью къ отчеству“,

Посошковъ три года, „утаенно отъ зрѣнія людскаго“, трудился надъ своей книгой „О скудости и богатствѣ“. Всѣ основные вопросы русской жизни разобраны въ этомъ трудѣ крестьянина-самоучки, причѣмъ онъ не ограничивается только критикой существующаго порядка, а указываетъ и пути къ лучшему будущему. Успѣхъ раскола и паденіе благочестія Посошковъ приписываетъ малообразованности духовенства; онъ совѣтуетъ завести по епар-



Вѣдомости,

о военныхъ и иныхъ дѣлахъ
достоинныхъ знанія и памяти,
случившихся въ московско гартѣ, и во
иныхъ окрестны странахъ.
Начаты въ лѣто ш хртга
хлщг е, ш генваря,
а шконченны декабрѣмъ
шгшжг года.

Заглавный листъ „Вѣдомостей“ 1704 г.

хіямъ школы для дѣтей священнослужителей и обезпечить священниковъ жалованьемъ отъ казны, чтобы они „заботились болѣе о паствѣ, чѣмъ о пашнѣ, и на пенязи не склонялись“. Особое вниманіе Посошкова привлекаетъ крестьянство. „Крестьянское богатство—царственное богатство, а нищета крестьянская—оскуднѣе царственное“, говоритъ онъ и совѣтуетъ „блюсти“ крестьянъ. Для крестьянскихъ дѣтей Посошковъ требуетъ обязательнаго обученія грамотѣ: „Нехудо бѣ крестьянъ и поневолить, чтобы они дѣтей своихъ десяти лѣтъ и ниже отдавали дьячкамъ въ наученіе грамоты. И положить имъ крѣпкое опредѣленіе, чтобы безотложно дѣтей своихъ отдавали учить грамотѣ, и положить имъ срокъ года на три или на четыре. А буде въ четыре года дѣтей своихъ не научатъ, то какое ни есть положить на нихъ страхование“. Посошковъ высоко цѣнилъ дѣятельность Петра Великаго и скорбѣлъ о тѣхъ препятствіяхъ, которыя государь встрѣчалъ на каждомъ шагу. „Видимъ мы все“, писалъ онъ, „какъ великій нашъ монархъ трудитъ себя, да ничего не успѣетъ, потому что пособниковъ по его желанію немного: онъ на гору еще и самъ-десять тянетъ, а подъ гору миллионы тянутъ, то какое его дѣло спорозбудеть?“

Реформы Петра Великаго раздѣлили русское общество на нѣсколько враждующихъ партій. Самую многочисленную партію составляли упорные приверженцы старины, съ ненавистью относившіеся ко всемъ преобразованіямъ. Другая, тоже довольно многочисленная, партія состояла изъ людей, увлекшихся только внѣшней стороною западно-европейской жизни, старавшихся походить на своихъ образованныхъ сосѣдей костюмомъ, манерами, умнѣемъ говорить на иностранныхъ языкахъ, но въ сущности остававшихся невѣждами. Къ третьей партіи принадлежали сторонники Петра, понимавшіе сущность его преобразованій, смотрѣвшіе на жизнь, какъ на неустанное стремленіе къ общественному благу, основанному на истинномъ и свободномъ знаніи. Борьба между представителями этихъ партій, тяжелыя сомнѣнія за судьбу петровскихъ преобразованій нашли себѣ выраженіе въ литературной дѣятельности кн. А. Д. Кантемира. По происхожденію сынъ молдавскаго господаря, князь Антіохъ Дмитріевичъ Кантемиръ получилъ прекрасное образованіе и съ раннихъ лѣтъ почувствовалъ склонность къ литературной дѣятельности. Большую часть своей жизни онъ провелъ на дипломатической службѣ за границей. Наибольшій интересъ изъ всего имъ написаннаго представляютъ 9 сатиръ. Первая изъ нихъ даетъ живую картину русскаго обще-

ства въ послѣ-петровскую эпоху. Она озаглавлена: „На хулящихъ ученіе“ или „Къ уму своему“.

Авторъ обращается къ своему уму и проситъ „не побуждать къ перу его руки“, потому что изъ всѣхъ путей, ведущихъ къ славѣ, всѣхъ тяжелѣе тотъ, который связанъ съ литературной и научной дѣятельностью: отъ человѣка, идущаго этимъ путемъ, бѣгутъ, какъ отъ моровой язвы. У науки теперь много враговъ. Вотъ, „съ четками въ рукахъ“, Критонъ, который утверждаетъ, что „расколы и ереси науки суть дѣти“. Полагая истинное благочестіе въ безпрекословномъ и часто бессмысленномъ выполненіи обрядовъ, онъ жалуется, что, благодаря наукамъ, молодые люди теперь—

. . . . Библию честь стали,
Толкують, всему хотятъ знать поводъ, причину,
Мало вѣры подая священному чину...
Ужъ свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не знаютъ,
Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишну чаютъ.

Помѣщикъ Сильванъ—

Другую вину наукамъ находить:
Ученіе, говорить, намъ голодъ наводитъ;
Живали мы прежь сего, не зная латынь,
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ.

Перебравъ всѣ науки, Сильванъ приходитъ къ заключенію, что „трудиться надъ тѣмъ, съ чего вдругъ карманъ не толстѣетъ“, есть „вредное безумство“. Румяный гуляка Лука, взрослый недоросль, „трижды рыгнувъ“, вторитъ Сильвану:

Наука содружество людей разрушаетъ...
Въ весельи, въ пирахъ мы жизнь должны провождати,
И такъ она недолга,—на что коротати,
Крушиться надъ книгами и повреждать очи?
Не лучше ли съ кубкомъ дня прогулять и ночи?

Щеголь Медоръ—

Тужить, что черезчуръ бумаги исходить
На письма, на печать книгъ, а ему приходитъ,
Что не въ чемъ ужъ завертѣть завитые кудри.

Можно было бы пренебречь толками пустыхъ людей, но у науки есть другіе враги, болѣе вліятельные, занимающіе высокія мѣста въ духовной и свѣтской іерархіи, а за ними—густая толпа ихъ сторонниковъ во всѣхъ областяхъ государственной жизни. И вездѣ—

Науку невѣжество мѣстомъ ужъ посѣло,

и она бродитъ, изгнанная отовсюду, „ободрана, въ лоскутахъ обшита“... Видя положеніе науки, слыша хулы на нее, лучше

всего сидѣть „въ тихомъ своемъ углу, въ себѣ разсуждая пользу наукъ“.

Какъ эта, такъ и другія сатиры Кантемира направлены были противъ дѣйствительныхъ язвъ русской жизни. Благодаря этому, онѣ впервые были напечатаны за границей, во французскомъ переводѣ, и лишь при Екатеринѣ II, уже послѣ смерти ихъ автора, появились въ Россіи.

Одной изъ крупнѣйшихъ фигуръ среди сторонниковъ преобразовательной дѣятельности Петра Великаго является М. В. Ломоносовъ, великій русскій ученый и писатель, именемъ котораго иногда называютъ періодъ литературы, непосредственно слѣдующій за эпохой Петра Великаго.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ родился 8 ноября 1711 г. въ Архангельской губерніи, въ с. Денисовкѣ. Сынъ рыбака, онъ въ дѣтствѣ часто сопровождалъ отца въ его поѣздкахъ по Двинѣ и Бѣлому морю. Эти поѣздки развили въ мальчикѣ любовь къ природѣ, наблюдательность, мужество и предприимчивость. Научившись грамотѣ, онъ быстро перечиталъ все, что могъ достать въ деревнѣ. Жажда знанія, которой онъ не могъ удовлетворить дома, заставила его бѣжать въ Москву. Двадцатилѣтнимъ юношей Ломоносовъ поступилъ въ духовное училище, гдѣ учился съ малыми дѣтьми, вынося ихъ насмѣшки, терпѣлъ большую нужду, питаясь „хлѣбомъ и квасомъ на двѣ денежки въ день“. Какъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ, онъ попалъ въ Петербургъ, въ Академію Наукъ, а оттуда былъ командированъ за границу для продолженія образованія. Вернувшись въ Петербургъ, Ломоносовъ былъ назначенъ профессоромъ физики и химіи въ Академію. Здѣсь ему пришлось вести долгую и ожесточенную борьбу съ овладѣвшими академіей нѣмецкими профессорами, „непріятелями наукъ російскихъ“, недоброжелательно относившимися къ русскимъ ученымъ. Въ этой борьбѣ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, Ломоносовъ бывалъ часто неправъ и излишне рѣзокъ, но въ основѣ всѣхъ его дѣйствій лежала всегда горячая любовь къ родинѣ и ея просвѣщенію. „Я бы охотно молчалъ и жилъ въ покоѣ“, писалъ онъ одному знакомому, „да боюсь наказанія отъ Всемогущаго Промысла, который не лишилъ меня дарованія и прилежанія въ ученѣѣ, далъ терпѣніе и благородную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ отечествѣ, что мнѣ всего дороже“. Справедливость этихъ словъ Ло-

моносовъ доказаль всей своей научной дѣятельностью, нашедшей себѣ высокое признаніе даже среди европейскихъ ученыхъ. Его дѣятельность, захвативъ царствованіе Елизаветы Петровны, окончилась уже при Екатеринѣ II. Онъ скончался 4 апрѣля 1765 г.

Въ своей поэтической дѣятельности Ломоносовъ находился подъ вліяніемъ такъ называемой ложно-классической поэзіи.

Ложно-классическая поэзія возникла во Франціи во второй половинѣ XVI в., какъ слѣдствіе увлеченія литературами классическими, греческой и римской. Писатели ложно-классической школы подражали не только духу, содержанію, но и формѣ классическихъ произведеній. Ода, поэма и трагедія наполнили французскую литературу, причемъ писались онѣ по строгимъ правиламъ, сильно стѣснявшимъ свободу творчества. Холодность, разсудочность и напыщенность были отличительными чертами этой поэзіи. По содержанію она была строго аристократична. Создавшись въ придворныхъ кружкахъ, она старалась удовлетворить, главнымъ образомъ, вкусамъ высшаго общества. Вслѣдствіе этого героями ложно-классическихъ произведеній являются почти исключительно лица высокаго происхожденія и общественнаго положенія: цари, полководцы, рыцари. Изображались эти лица преимущественно въ исключительные моменты героической борьбы съ препятствіями или собственными страстями.

Среди поэтическихъ произведеній Ломоносова главное мѣсто занимаютъ оды: похвальные или торжественныя и духовныя. Въ первыхъ онѣ слѣдоваль ложно-классической теоріи. Такова, на примѣръ, его ода „На день восшествія на престолъ императрицы Елизаветы Петровны“. Здѣсь соблюдены всѣ требованія ложно-классической теоріи относительно оды: она дѣлится на опредѣленныя части, отличается „пареньемъ“, „лирическимъ безпорядкомъ“, т.-е. быстрыми, неожиданными переходами отъ одного предмета къ другому; восхваляемыя лица выведены изъ общаго людскаго уровня, почти обожествлены; имена боговъ классической древности пестрятъ всюду. Но сквозь всю эту ложно-классическую шумиху прорывается искреннее чувство, живая мысль тамъ, гдѣ Ломоносовъ прославляетъ Петра и Елизавету за ихъ заботы о просвѣщеніи, выражаетъ надежду, что Россія будетъ имѣть собственныхъ великихъ мыслителей и ученыхъ, и говоритъ о великой утѣшительницѣ челоуѣчества — наукѣ. Духовныя оды Ломоносова, свободныя отъ путъ ложно-классической теоріи, болѣе просты и проникнуты искреннимъ религіознымъ чувствомъ. Это — стихотворныя переложенія псалмовъ, отрывки изъ книги ода и самостоятельныя сочиненія Ломоносова, каковы, на-

примѣръ, „Утреннее и вечернее размышленія о Божіемъ величествѣ“.

Оцѣнивая значеніе поэтической дѣятельности Ломоносова, нужно имѣть въ виду не столько содержаніе или художественныя достоинства его произведеній, сколько ихъ формальную сторону. Здѣсь онъ былъ начинателемъ, творцомъ, доказавъ своими одами, что нашему языку свойственно стихосложеніе тоническое, основанное на правильномъ чередованіи слоговъ ударяемыхъ и неударяемыхъ.

Еще болѣе велики заслуги Ломоносова, какъ преобразователя нашего литературнаго языка. Онъ проводилъ мысль о необходимости очищенія литературной рѣчи отъ иностранныхъ примѣсей, во множествѣ вошедшихъ въ нее со времени Петра В. Средствомъ для такого очищенія должно служить изученіе церковно-славянскаго языка, который Ломоносовъ строго отграничилъ отъ языка русскаго. Изъ церковно-славянскаго языка Ломоносовъ совѣтуетъ черпать необходимый матеріалъ для языка литературнаго. Последній, въ зависимости отъ большаго или меньшаго количества церковно-славянскихъ реченій, дѣлится на три „штиля“: высокій, средній и низкій, изъ которыхъ каждый соотвѣтствуетъ извѣстному роду произведеній; для одъ, рѣчей о важныхъ предметахъ, должно употреблять высокій „штыль“, для стихотворныхъ дружескихъ писемъ, сатиръ, элегій—средній, для „писаній обыкновенныхъ дѣлъ“—низкій. Это дѣленіе удержалось до временъ Карамзина.

IV.

Русская жизнь въ царствованіе Екатерины II.

Петръ В. сдѣлалъ Россію великой военной державой и заставилъ Западную Европу измѣнить свой взглядъ на нее. Невѣдомая Московія, о которой Западъ изрѣдка узнавалъ диковинныя вещи въ разказахъ своихъ путешественниковъ, превратилась въ Россійскую имперію, способную помѣряться не только съ турками, но и со шведами. Вышнее значеніе Россіи, какъ военной европейской державы, было твердо установлено. Это было главной, существенной цѣлью всей дѣятельности Петра В. Для ея достиженія Петръ сблизался съ Западомъ, ѣздилъ туда самъ и посылалъ своихъ подданныхъ, выписывалъ инженеровъ, литейщиковъ, корабельныхъ мастеровъ и всякаго рода техниковъ. Этой же цѣлью Петръ руководился и въ своихъ заботахъ о просвѣщеніи, о школахъ, объ академіи наукъ,—словомъ, во всей своей преобразовательной дѣятельности. Ближайшіе преемники Петра

стремились къ тому же. Они заботились объ укрѣпленіи внѣшняго могущества государства, о его военномъ значеніи въ глазахъ сосѣдей. Вопросы просвѣщенія, какъ такового, отодвигались для нихъ на второй планъ.

Въ глазахъ своихъ современниковъ, отчасти и потомства, Екатерина II долго рисовалась въ образѣ государыни, стремившейся главнымъ образомъ къ тому, чтобы поднять внутреннее состояніе Россіи до высоты ея внѣшняго могущества. Отражая этотъ взглядъ, одинъ изъ писателей Екатерининскаго времени говорилъ:

Петръ далъ намъ бытіе, Екатерина душу.

И дѣйствительно, Екатерина II заводитъ школы, уже не профессиональныя, какъ при Петрѣ В., а общеобразовательныя, снаряжаетъ ученыхъ экспедиціи, покровительствуетъ Академіи наукъ и отдѣльнымъ ученымъ. Ее самое не занимаютъ науки военныя и техническія: ее влечетъ къ наукамъ политическимъ, общественнымъ. Она ведетъ обширную переписку съ иностранными учеными, поэтами, публицистами, покровительствуетъ русской литературѣ и сама въ ней участвуетъ, снисходя даже до печатной полемики со своими подданными. Въ ея литературныхъ произведеніяхъ, на страницахъ ея дневниковъ, во всѣхъ ея обращеніяхъ къ народу господствуютъ мысли самыя просвѣщенныя и гуманныя.

Въ запискахъ, писанныхъ для себя, но, несомнѣнно, съ мыслью о будущихъ читателяхъ, Екатерина называетъ себя „рыцаремъ свободы и законности“. Она призвана царствовать „на благо общества, чтобы обезпечить народу свободу, честь и собственность“. Въ тѣхъ же запискахъ она рѣзко и опредѣленно заявляетъ: „Противно христіанской религіи обращать въ рабство людей, которые родились свободными“. Сыну своему она даетъ завѣтъ: „Всегда государь виноватъ, если подданные на него огорчены. Изволь мѣряться на этотъ аршинъ“.

Съ особой выразительностью и силой взгляды Екатерины были выражены въ „Наказѣ“, данномъ ею для руководства выборнымъ людямъ, созданнымъ со всей Россіи для составленія проекта новаго уложенія.

Россія—страна самодержавная, и государь является въ ней источникомъ всякой власти и закона,—такъ начинается „Наказъ“. Первая задача законовъ, исходящихъ отъ власти, охранять гражданъ, охранять неприкосновенность ихъ личности. Законы должны быть равны для всѣхъ, и граждане должны бояться только законовъ, а не лицъ. Нарушеніе закона должно караться, но такъ какъ всякое наказаніе—зло, „трудъ и болѣзнь“, то

лучше всего стремиться къ тому, чтобы „страхъ позора“ удерживалъ людей отъ преступленій, чтобы самымъ большимъ наказаніемъ для человѣка было изобличеніе его въ проступкѣ. Если ужъ нужно прибѣгать къ наказанію, какъ къ печальной необходимости, то оно должно быть сколь возможно человѣчно и „строго уравнено съ преступленіемъ“. Тѣлесныя наказанія, а тѣмъ болѣе смертная казнь, должны быть уничтожены. Безъ суда никто не можетъ быть лишень свободы. Арестовывать гражданъ можно только въ исключительныхъ случаяхъ. Если есть арестованные до суда, то надо рѣшать дѣло какъ можно скорѣе, такъ какъ предварительное тюремное заключеніе есть уже наказаніе.

Немало страницъ „Наказа“ посвящено вопросамъ о свободѣ совѣсти и слова. Гоненія за вѣру не должны имѣть мѣста въ государствахъ: „гоненіе людскіе умы раздражаетъ, а дозволеніе каждому вѣровать по своему закону умягчаетъ и жестоковѣрныйя сердца“. Свободному слову, критикѣ существующаго порядка долженъ быть данъ широкій просторъ. Преслѣдовать за одни слова—беззаконно и неразумно: „слова не вмѣняются никогда въ преступленіе“. Опровергаетъ и разрушаетъ существующій строй не тотъ, кто говоритъ о немъ свободное, смѣлое слово, а тотъ, „кто изъ словъ дѣлаетъ преступленіе, смертной казни достойное“.

Таковы благородныя мысли „Наказа“, которыми должны были руководствоваться выборные люди, которыя они должны были провести въ жизнь въ видѣ закона. Екатерина рекомендовала выборнымъ почаще читать „Наказъ“, проникаться его освободительнымъ духомъ. За полтора года работъ, въ 203 засѣданіяхъ, выборные люди, несомнѣнно, исполнили совѣтъ императрицы, и тѣмъ не менѣе ихъ работа свелась къ нулю: они не только не составили проекта новаго уложенія въ его цѣломъ, но даже не выработали ни одного частнаго проекта, который касался бы той или другой отрасли законодательства. Среди цѣлага ряда причинъ, обусловившихъ неуспѣхъ работы выборныхъ, одна должна быть особенно подчеркнута. Имъ рекомендовалось создать законы, которые, въ концѣ концовъ, должны были обезпечить неприкосновенность личности, свободу совѣсти и слова. Эти законы должны были быть созданы для страны, въ которой господствовало, со всѣми его ужасами, крѣпостное право, накладывавшее тяжелый отпечатокъ на всѣ стороны русской жизни, воспитывавшее дворянство и чиновничество въ понятіяхъ самаго грубаго произвола. Задача была невыполнима, противорѣчіе безысходно.

Разрѣшенію этого противорѣчія самъ „Наказъ“ ни въ малой степени не помогъ. Въ первоначальномъ его текстѣ были главы

о смягченіи участи крѣпостныхъ, но въ окончательной редакціи онѣ были выпущены. То немногое, что осталось по этому поводу въ „Наказѣ“, сводится къ слѣдующему. Въ одной изъ главъ, гдѣ рѣчь идетъ о „размноженіи народа въ государствѣ“, говорится: „Мужики большею частью имѣютъ по двѣнадцати, пятнадцати и до двадцати дѣтей изъ одного супружества; однако рѣдко и четвертая часть оныхъ приходитъ въ совершенный возрастъ. Чего для непремѣнно долженъ тутъ быть какой-нибудь порокъ или въ пищѣ, или въ образѣ ихъ жизни, или въ воспитаніи, который причиняетъ гибель сей надеждѣ государства“. Въ другой статьѣ развивается мысль, что земледѣліе — „основа рукодѣлія и торговли“. Во всѣхъ этихъ словахъ о крѣпостныхъ крестьянахъ мы не найдемъ и тѣни тѣхъ человѣчныхъ мыслей, которыя проповѣдуетъ „Наказъ“, говоря о „гражданинѣ“ вообще.

Такимъ образомъ, коренное противорѣчіе между свободолобивыми замыслами Екатерины и существованіемъ крѣпостного права, лишавшаго сколько-нибудь сноснаго человѣческаго существованія большинство населенія, осталось въ „Наказѣ“ неразрѣшеннымъ. Мало того, съ полнымъ правомъ можно сказать, что Екатерина много сдѣлала для того, чтобы усилить указанное противорѣчіе. Число крѣпостныхъ въ ея царствованіе сильно увеличилось. Въ свободной до нея Малороссіи было утверждено крѣпостное право. Свыше одного милліона людей всѣхъ возрастовъ было обращено ею въ крѣпостное состояніе посредствомъ раздачъ любимцамъ. Народъ, своимъ потомъ создававшій внѣшнее величіе и блескъ Екатерининскаго царствованія, задыхался подъ игомъ помѣщиковъ, ропталъ, доходилъ до бунтовъ, бѣжалъ „отъ матери отечества“, какъ прозвали Екатерину, и приставалъ къ буйнымъ ватагамъ Пугачева.

Немало противорѣчій между словами и дѣлами дала русская жизнь Екатерининскаго времени и въ другихъ областяхъ, особенно въ области литературной, гдѣ, какъ мы это увидимъ на судьбѣ Новикова и Радицева, либеральныя заявленія о свободѣ совѣсти и слова смѣнились самыми жестокими репрессіями.

Причина разлада между либеральными словами и жестокими дѣлами Екатерининскаго царствованія лежитъ въ слѣдующемъ.

Дѣло сближенія съ Западомъ, начатое Петромъ В., ко времени Екатерины II сдѣлало большіе успѣхи, а, главное, измѣнилось въ своей сущности. При Петрѣ это сближеніе было предпринято государственной властью съ единственной цѣлью — воспользоваться опытомъ и наукой Запада для увеличенія внѣшняго

могущества Россіи. Теперь, при Екатеринѣ, этого сближенія искало уже не одно государство, а и общество, и искало со своими особыми цѣлями, не справляясь съ желаніемъ и мнѣніемъ государственной власти. Въ большинствѣ верхній слой русскаго общества, дворянство, освобожденное Екатериной отъ обязательной службы и сильное своимъ матеріальнымъ благосостояніемъ, набросилось на внѣшнюю сторону европейской жизни. Но было меньшинство, которое, сближаясь съ Западомъ, увлекалось не внѣшностью европейской жизни, а тѣми мыслями и чувствами, которыми жили передовые умы Европы.

Въ умственной жизни Европы совершался въ то время (середина и конецъ XVIII в.) громадный, безпримѣрный переворотъ, центромъ котораго была Франція. Западъ словно пробуждался, кипѣлъ молодыми, свѣжими силами. Всѣ стороны старой жизни были серьезно и строго пересмотрѣны, осуждены на уничтоженіе и на замѣну ихъ новыми, болѣе совершенными. Правда, старина уступила не вездѣ, новизна во многихъ случаяхъ осталась въ области далекой и прекрасной мечты, но тѣмъ горячѣе и нетерпѣливѣе было стремленіе къ этой мечтѣ.

Старыя формы государственнаго устройства были осуждены: онѣ давили человѣческую личность съ ея неотъемлемыми правами. Основой новаго государственнаго порядка провозглашена была личность и ея права. Всѣ стѣсненія личности должны быть уничтожены, на чемъ бы они ни были основаны: на религіи, на преданіи, на исторіи, на разныхъ жалованныхъ грамотахъ, укрѣплявшихъ преимущества одного сословія въ ущербъ благу другихъ. Все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе заявляется мысль о народовластіи. Появляются новыя науки: право естественное и право народное; первая учила о правахъ человѣка, вторая — о правахъ народа.

Подверглись пересмотру и религіозныя воззрѣнія. И здѣсь на первое мѣсто поставлена личность человѣка и его разумъ. Измѣнился самый взглядъ на сущность религіи. На ряду съ религіей откровенія стала проповѣдоваться религія разума, которая исключала откровеніе и все, лежащее за предѣлами человѣческаго познанія.

Пересмотръ религіозныхъ воззрѣній былъ связанъ съ освобожденіемъ философіи, которая до сихъ поръ была „прислужницей богословія“. Освобожденная отъ гнета философія ревностно занялась изгнаніемъ изъ области человѣческаго знанія всего, что или было недоступно непосредственной повѣркѣ опытомъ, или лежало внѣ познавательныхъ способностей человѣческаго ума.

Сильно развились экономическія ученія, и мысль изслѣдователей съ особеннымъ вниманіемъ останавливалась на вопросахъ о распредѣленіи богатства. Выработаны были такіе экономическіе идеалы, которыхъ не осуществилъ и весь XIX вѣкъ.

Печать сдѣлалась великой силой, органы ея размножились, потребность въ чтеніи проникла въ широкіе круги народа.

Новыя мысли, новая литература, новые идеалы прежде всего привлекли вниманіе высшаго общества. Блескъ этого новаго движенія мысли и литературы, ѣдкость и остроуміе нападокъ на старый строй нравились французской аристократіи: она смотрѣла на все это, какъ на пріятную приправу своей легкомысленной жизни, какъ на изысканное модное развлеченіе; она не задумывалась надъ тѣмъ, что будетъ, когда новыя мысли и вызываемыя ими настроенія выйдутъ за порогъ гостиныхъ, проникнуть въ бѣдную, угнетенную и давно недовольную массу, гдѣ будутъ уже не предметомъ остроумныхъ разговоровъ, а толчкомъ къ рѣшительной борьбѣ за лучшее будущее. Великая французская революція показала европейской аристократіи истинную цѣну новыхъ умственныхъ теченій.

Когда въ 1862 г. Екатерина II вступила на престолъ, до грозныхъ раскатовъ французской революціи оставалось еще много времени. Освободительная философія и литература не проникли еще въ массу, не перешли еще за порогъ аристократическихъ гостиныхъ, хозяевамъ которыхъ доставляли даже славу высокихъ покровителей просвѣщенія. Екатерина, еще до вступленія на престолъ внимательно слѣдившая за умственной жизнью Запада, зачитывалась произведеніями французской литературы. Ея самолюбію, какъ государыни, льстило въ глазахъ всего міра выступить покровительницей европейской освободительной мысли. Вскорѣ послѣ вступленія на престолъ она узнала, что знаменитая французская энциклопедія, имѣвшая цѣлью провести въ широкіе слои общества новые взгляды на государство, религію и философію, осуждена французскимъ парламентомъ за безбожіе. Екатерина не задумалась предложить Вольтеру и Дидро, стоявшимъ во главѣ дѣла, перенести ихъ изданіе въ Россію, въ Ригу. „Наказъ“ Екатерины, съ которымъ мы познакомились выше, написанъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ освободительной литературы и въ значительной своей части представляетъ даже прямое заимствованіе изъ книгъ Монтескьё „О духъ законовъ“ и Беккариа „О преступленіи и наказаніи“. Екатерина сама сознавалась въ этомъ. Посылая экземпляръ „Наказа“ француззу Д’Аламберу, она писала: „Вы увидите (изъ „Наказа“), какъ для пользы

своей имперіи я обобрала г. Монтескьё, не называя его. Надѣюсь, что, если онъ съ того свѣта увидитъ мою работу, то проститъ мнѣ этотъ литературный грабежъ для блага двадцати миллионовъ людей, какое изъ того должно послѣдовать“.

Таковъ былъ источникъ свободолюбія Екатерины и ея придворныхъ подражателей. Оно быстро исчезло при первыхъ же признакахъ французской революціи или французской „перемѣны“, какъ выражались наши газеты того времени. Въмѣсто покровительства французскимъ вольнодумцамъ появился преувеличенный страхъ передъ самыми обыкновенными пересказами мыслей самой Екатерины. Въ началѣ своего царствованія Екатерина писала: „Самодержавіе, не сдерживаемое въ государѣ, царствующемъ самодержавно, есть такое зло, которое многимъ пагубнымъ послѣдствіямъ непосредственно бываетъ причиною“. Писатель Николевъ въ одной изъ своихъ трагедій, написанныхъ до революціи, пересказалъ эти слова такъ:

Исчезни навсегда сей пагубный уставъ,
Который заключенъ въ одной монаршей волѣ!
Лъзя-ль ждаты блаженства тамъ,
Гдѣ гордость на престолѣ,
Гдѣ властью одного всѣ скованы сердца?

Цензура запретила было эти слова, но Екатерина велѣла напечатать трагедію въ академическомъ изданіи, а автору было выражено высочайшее благоволеніе. Княжнинъ перефразировалъ приведенныя выше слова Екатерины такъ:

Самодержавіе, повсюду бѣды содѣтель,
Вредитъ и самую чистѣйшу добродѣтель,
И невозбранные пути открывъ страстямъ,
Даетъ свободу быть тиранами царямъ.

За это четверостишіе Княжнинъ подвергся жестокому преслѣдованію: онъ писалъ послѣ революціи.

Не для всѣхъ слоевъ русскаго общества освободительная литература и наука Запада были блестящей погремушкой, которая ни къ чему не обязываетъ, которую, по приказу свыше, такъ же легко бросить, какъ взять въ руки. Часть русскаго общества,— правда, небольшая,— усвоила себѣ выводы освободительной мысли Запада и попыталась примѣнить ихъ къ тому, чтобы въ ихъ свѣтѣ оцѣнить русскую дѣйствительность, опредѣлить свое отношеніе къ ней и выработать новое міросозерцаніе. Для этой части русскаго общества наступила пора настоящаго сближенія съ Западомъ на почвѣ умственныхъ интересовъ.

Такова была русская действительность Екатерининского времени, определявшая в значительной мѣрѣ характеръ и содержаніе русской литературы конца XVIII и начала XIX в.в.

V.

Г. Р. Державинъ. Д. И. Фонвизинъ.

Гавріиль Романовичъ Державинъ, навсегда связавшій свое имя съ вѣкомъ Екатерины II, былъ сынъ офицера и родился въ Казани 3 іюля 1749 г. Не получивъ сколько-нибудь правильнаго образованія, Державинъ въ ранней юности поступилъ на военную службу и пробылъ десять лѣтъ рядовымъ гвардіи. Дослужившись до офицерскаго чина, онъ принималъ участіе въ усмиреніи Пугачевского бунта. Затѣмъ онъ перешелъ на гражданскую службу и быстро сталъ повышаться по служебной лѣстницѣ, особенно послѣ того, какъ Екатерина II обратила вниманіе на его поэтическую дѣятельность. При Павлѣ I онъ былъ назначенъ министромъ юстиціи. При Александрѣ I Державинъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи въ Новгородской губерніи, гдѣ и умеръ 12 іюля 1816 г.

Хотя у Державина много разнообразныхъ стихотвореній, посвященныхъ обыкновеннымъ явленіямъ жизни, картинамъ русской природы, извѣстность его основана главнымъ образомъ на одахъ. Въ нихъ онъ вдохновлялся первыми, лучшими годами царствованія Екатерины II, ея либеральными начинаніями. Такова его ода „Фелица“, въ которой онъ прославляетъ Екатерину, какъ правительницу и человѣка, и въ то же время легкими сатирическими штрихами очерчиваетъ пустую, праздную жизнь окружавшей ее придворной знати. Легкій, мѣстами шуточный и чисто народный языкъ этого произведенія, его подкупающая искренность были совершенной новостью въ русской поэзіи того времени, которая привыкла видѣть въ одахъ лишь холодную торжественность ложноклассицизма. „Фелица“ имѣла громаднѣйшій успѣхъ и обратила на Державина вниманіе Екатерины II. Она пожаловала поэту цѣнный подарокъ и разсылала оду тѣмъ вельможамъ, противъ которыхъ были направлены сатирическіе выпады Державина, подчеркивая строки, заключавшія въ себѣ намекъ на то или другое лицо. „Фелица“ задѣла много самолюбій, а ея успѣхъ возбудилъ зависть къ Державину. Раздавались голоса, упрекавшіе его въ неискренности. Защищаясь отъ этихъ обвиненій, Державинъ написалъ оду „Видѣніе Мурзы“. Здѣсь онъ говоритъ:

. . . пусть имъ здѣсь докажетъ муза,
Что я не изъ числа льстецовъ,
Что сердце моего товаровъ
За деньги я не продаю,
И что не изъ чужихъ амбаровъ
Наряды я тебѣ крою...
Не лезть я пѣлъ и не мечты,
А то, чему весь міръ свидѣтель...

Безъ искренняго чувства Державинъ никогда не могъ воодушевиться. Онъ самъ говорилъ, что когда Екатерина приблизила его ко двору, и когда роль придворнаго пѣвца могла бы быть для него особенно выгодна, онъ, подъ вліяніемъ придворныхъ впечатлѣній, „почти ничего не могъ написать горячимъ, чистымъ сердцемъ въ похвалу Государыни“. Въ это именно время вырвалось у него четверостишіе—

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой.
Пищитъ бѣдняжка вмѣсто свисту,
А ей твердятъ:—Пой, птичка, пой!—

Быть можетъ, лучшимъ доказательствомъ благородной поэтической искренности Державина служить его ода „Властителямъ и судіямъ“, представляющая изъ себя переложение 81 псалма. Въ энергическихъ стихахъ этой оды Державинъ обращаетъ къ земнымъ царямъ грозный голосъ карающаго Бога, напоминающаго, что ихъ долгъ

. . . сохранять законы,
На лица сильныхъ не взирать,
Безъ помощи, безъ обороны
Сиротъ и вдовъ не оставлять...
Не внемлютъ!—видятъ и не знаютъ!
Покрыты мздою очеса:
Злодѣйствомъ землю потрясають,
Неправда зыблетъ небеса!..
Воскресни, Боже, Боже правыхъ!
И ихъ моленію внемли:
Приди, суди, карай лукавыхъ
И будь Единъ царемъ земли!

Ода появилась въ 1795 г., и враги Державина намекнули Екатеринѣ, что ода эта революціоннаго содержанія. Надъ головой поэта собиралась гроза. Объяснительная записка Державина разъяснила неудовольствіе императрицы и уничтожила происки его враговъ. Онъ, между прочимъ, пишетъ въ запискѣ такъ: „Ничто столько не дѣлаетъ государей и вельможъ любезными народу и не прославляетъ ихъ въ потомствѣ, какъ то, когда они

позволяютъ говорить себѣ правду и принимаютъ оную великодушно. Сплетеніе пріятныхъ только реченій, безъ аттической соли и нравоученія, бываетъ вяло, подозрительно и непрочно. Похвала укрѣпляетъ, а лесть искореняетъ добродѣтель. Истина одна только творитъ героевъ безсмертными, а зеркало красавицъ не можетъ быть противно“.

Державинъ былъ нашимъ первымъ крупнымъ лирическимъ поэтомъ XVIII в. Онъ писалъ свыше 45 лѣтъ, примыкая съ одной стороны къ Ломоносову, у котораго учился тоническому стихосложенію и съ которымъ его роднитъ торжественный тонъ нѣкоторыхъ одъ, съ другой — соприкасаясь съ Жуковскимъ, которому онъ „отдалъ въ наслѣдіе ветху лиру“. Поэзія Державина, проникнутая искренностью, отражающая и въ содержаніи, и въ языкѣ народный складъ его души, инстинктивно порывающая пути ложноклассицизма, служить какъ бы переходной ступенью къ простотѣ сюжетовъ и формъ, которыми ознаменовался слѣдующій періодъ нашей поэзіи.

Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ родился въ Москвѣ въ 1774 г., въ семьѣ небогатаго помѣщика. Отецъ сначала самъ занимался обученіемъ сына, а затѣмъ опредѣлилъ его въ университетскую гимназію, по окончаніи которой Фонвизинъ поступилъ въ университетъ. Выйдя изъ университета, Фонвизинъ поступилъ на гражданскую службу въ качествѣ переводчика при иностранной коллегіи. Фонвизинъ рано обнаружилъ склонность къ литературной дѣятельности. Начавъ съ переводовъ и передѣлокъ, онъ въ 1766 г. пишетъ оригинальную комедію „Бригадиръ“, упрочившую его литературную извѣстность. Въ 1782 г. появилась вторая его комедія „Недоросль“. Въ 1777—1778 гг. Фонвизинъ побывалъ за границей, дѣлаясь въ письмахъ къ друзьямъ своими впечатлѣніями. Принималъ онъ участіе и въ журналахъ Екатерининскаго времени. Въ 1788 г. онъ задумалъ самъ издавать журналъ, но лучшіе годы Екатерининскаго царствованія были уже позади, взглядъ императрицы на литературу и журналистику измѣнился, и журналъ Фонвизину не былъ разрѣшенъ. Въ 1785 г. Фонвизинъ былъ разбитъ параличемъ и умеръ въ 1792 г., не покидая до самой смерти литературныхъ занятій.

Комедіи Фонвизина „Бригадиръ“ и „Недоросль“, на которыхъ главнымъ образомъ основана его слава, интересны съ двухъ точекъ зрѣнія: какъ картины дворянскаго быта Екатерининскаго времени и какъ выраженіе взглядовъ передовыхъ людей тогдашней интеллигенціи.

Освобожденное отъ обязательной государственной службы, дворянство Екатерининскаго времени въ громадномъ большинствѣ поселилось на постоянное жительство въ своихъ помѣстьяхъ, что способствовало усиленію самыхъ тяжелыхъ формъ помѣщичьяго произвола. Европейское образованіе было усвоено лишь меньшинствомъ дворянства и не проникло въ цѣлое сословіе, которое или увлекалось лишь внѣшнимъ европеизмомъ, или только подъ давленіемъ правительства и въ цѣляхъ матеріальной выгоды кое-чему учило своихъ дѣтей, не сознавая истинной цѣны просвѣщенія. Полное отсутствіе общественныхъ интересовъ направляло дѣятельность дворянъ исключительно въ сферу интересовъ личныхъ. Эти условія опредѣлили собою ту художественную картину дворянской жизни, которую даетъ Фонвизинъ въ своихъ комедіяхъ.

Главная сила насмѣшки въ „Бригадирѣ“ направлена на галломанію (слѣпое подражаніе французамъ) нѣкоторой части Екатерининскаго дворянства. Иванушка, сынъ бригадира, получилъ образованіе въ пансіонѣ французскаго кучера, затѣмъ съѣздилъ въ Парижъ и вернулся оттуда совершеннымъ „петиметромъ“ (щеголемъ). Ему грустно при мысли, что онъ русскій, и утѣшаетъ его только то, что хотя „тѣло его родилось въ Россіи, но душа его принадлежитъ коронѣ французской“. Иванушка вывезъ изъ-за границы самые модные взгляды на отношенія дѣтей къ родителямъ, на семью, на бракъ. „Щенокъ не обязанъ респектовать того пса, кто былъ ему отецъ“, говоритъ Иванушка на своемъ русско-французскомъ языкѣ въ доказательство того, что и онъ не обязанъ уважать своего отца. Когда ему по поводу брака говорятъ, что „Богъ сочетаетъ—человѣкъ не разлучаетъ“, онъ съ изумленіемъ спрашиваетъ: „Развѣ въ Россіи Богъ въ такія дѣла мѣшается? По крайней мѣрѣ, государи мои, во Франціи Онъ оставилъ на людское произволеніе — любить, измѣнять, жениться и разводиться“. Подстать Иванушкѣ и совѣтница, модная щеголиха, все горе которой только въ томъ, что она не была во Франціи. Въ обрисовкѣ ея характера сатира Фонвизина принимаетъ болѣе серьезный тонъ, касаясь уже не одной галломаніи. „Мы всѣ дворяне, мы всѣ равны“, говоритъ она и дѣлится родъ человѣческой на дворянъ и скотовъ. Когда бригадирша, женщина простая и хозяйственная, спрашиваетъ совѣтницу: „Что у васъ идетъ людямъ: застольное или деньгами? Свой ли овесъ ѣдятъ лошади или купленный?“—она отвѣчаетъ: „Я почему знаю, что ѣсть вся эта скотина!“

„Недоросль“ направленъ главнымъ образомъ противъ произвола помѣщичьей власти. Осуждая этотъ произволь, Фонвизинъ косвенно произноситъ приговоръ и самому крѣпостному праву. Воплощеніемъ крѣпостного произвола является въ комедіи помѣщица Простакова. Она сама говоритъ про свое обращеніе съ крѣпостными: „Все сама управляюсь, мой батюшка! Съ утра до вечера, какъ за языкъ повѣшена: то бранюсь, то дерусь, тѣмъ только и домъ держится“. Старая, преданная нянька говоритъ, что вся ея „благодѣянія“ въ домѣ Простаковой состоитъ изъ „пяти рублей на годъ, да изъ пяти пощечинъ на день“. Указъ о вольности дворянства, освободившій дворянъ отъ обязательной государственной службы, Простакова понимаетъ, какъ дарованіе помѣщикамъ права дѣлать съ крестьянами все, что угодно. Когда Простаковой докладываютъ, что горничная Палашка больна, лежитъ въ жару и бредитъ, она съ негодованіемъ восклицаетъ: „Лежитъ! ахъ, она bestia! Лежитъ, какъ будто благородная! Бредитъ, bestia, какъ будто благородная!“

У Простаковой есть сынъ Митрофанъ, любимое ея чадо. Поглощенная заботами объ его здоровьѣ, о томъ, чтобъ онъ возможно болѣе ѣлъ, мечтая женить его на богатой и доставить впослѣдствіи важное и доходное мѣсто, Простакова вынуждена учить сына, такъ какъ теперь безъ образованія нельзя начать службу. Отставной сержантъ Цифиркинъ, преподающій ариметику, дьячокъ Кутейкинъ, обучающій грамотѣ, и бывшій кучеръ Вральманъ, взявшійся преподавать иностранные языки и „всѣ науки“, составляютъ штатъ учителей Митрофана. Результаты ихъ педагогической дѣятельности очень невелики: и сами они мало знаютъ, и ученикъ ихъ „не хочетъ учиться, хочетъ жениться“, а главное — Простакова смотритъ на ученіе только какъ на печальную необходимость и увѣрена, что и безъ науки, которая только утомляетъ дитя, можно „достаточекъ нажить и сохранить“.

Въ обѣихъ своихъ комедіяхъ Фонвизинъ не ограничился только сатирическимъ изображеніемъ дворянскаго быта: онъ вывелъ еще рядъ лицъ, которыя являются выразителями міросозерцанія передовыхъ людей Екатерининскаго времени. Таковы Добролюбовъ въ „Бригадирѣ“ и Правдинъ и Стародумъ въ „Недорослѣ“. Всѣ они не столько дѣйствуютъ, сколько разсуждаютъ, и съ художественной точки зрѣнія совершенно блѣднѣютъ передъ остальными лицами комедій, но зрителямъ XVIII в. нравились больше всего именно они.

Самый интересный из них Стародумъ. Имя его показываетъ, что онъ мыслить постарому, предпочитая прежнее время своему. Подъ старымъ временемъ онъ разумѣетъ Петровскую эпоху, когда жизнь была проще, люди дѣло дѣлали, „придворные были воины, да воины не были придворные“. Впрочемъ Стародумъ не вполне оправдываетъ данное ему имя, такъ какъ онъ нечуждъ и новыхъ идей. Онъ отвергаетъ родовые предрасудки и тщеславіе знатностью. По поводу крѣпостного права онъ говоритъ, что каждый долженъ искать своего счастья и выгодъ въ томъ одномъ, что законно, а „угнетать рабствомъ себѣ подобныхъ — незаконно“. Въ своихъ рѣчахъ о воспитаніи и образованіи онъ повторяетъ мысли западно-европейскихъ писателей. Міросозерцаніе Стародума не отличается достаточной глубиной. Протестуя противъ общественныхъ неурядицъ, онъ средство для ихъ искорененія видитъ только въ самоусовершенствованіи личности и говоритъ, что если бы „такъ должность исполняли, какъ о ней твердятъ,— всякое состояніе людей осталось бы при своемъ любочестіи и было бы совершенно счастливо“.

Недостатокъ серьезности и глубины мысли Фонвизина сказанъ не только въ проповѣдяхъ Стародума, но и въ письмахъ автора „Недоросля“ изъ Франціи. Фонвизинъ былъ тамъ въ послѣдніе годы стараго, до-революціоннаго строя, видѣлъ и ярко описалъ язвы общественныхъ порядковъ и государственнаго устройства, но разглядѣть основныя причины французской разрухи ему совершенно не удалось. Его мысль часто возвращается къ роднымъ порядкамъ, и сравненіе ихъ съ заграничными приводитъ его только къ такому наивному и узкому выводу: „Я увидѣлъ, что во всякой землѣ худого больше, нежели добраго, что люди вездѣ люди, что умные люди вездѣ рѣдки, что дураковъ вездѣ изобильно,—словомъ, что наша нація не хуже никоторой“ и что мы дома можемъ наслаждаться истиннымъ счастіемъ, за которымъ пѣтъ нужды шататься въ чужихъ краяхъ“.

Несмотря на то, что Фонвизину не удалось выработать законченнаго, цѣльнаго міросозерцанія, его заслуги передъ русской литературой очень значительны. Въ своихъ комедіяхъ онъ далъ рядъ живыхъ, типичныхъ лицъ, являющихся первыми опытами художественнаго реализма. Его взглядъ на писателя, какъ на „стража общаго блага“, поднималъ значеніе литературы, на которую въ то время большинство смотрѣло, какъ на пріятную забаву, лишенную всякаго общественнаго значенія. Наконецъ, никогда не будутъ забыты его смѣлыя обличенія крѣпостнаго права.

VI.

Н. И. Новиковъ. А. Н. Радищевъ.

Николай Ивановичъ Новиковъ, занимающій безспорно первое мѣсто въ исторіи нашей журналистики, родился 27 октября 1744 г. въ селѣ Авдотинѣ, Бронницкаго уѣзда, Московской губерніи. Обучившись грамотѣ у деревенскаго дьячка, Новиковъ



Н. И. Новиковъ.

комиссіи Новиковъ вышелъ въ отставку и сдѣлался журналистомъ.

Періодическая печать, созданная у насъ при Петрѣ В. и существовавшая первоначально, главнымъ образомъ, при различныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ, очень развилась при Екатеринѣ II, перейдя въ большинствѣ случаевъ въ частныя руки. На развитіе журналистики оказали вліяніе указъ о вольныхъ типографіяхъ, давшій право частнымъ лицамъ заводить книгопечатни, а затѣмъ примѣръ самой императрицы, принимавшей участіе въ журналѣ „Всякая всячина“, и ея либеральныя обѣщанія не стѣснять свободы мысли и слова. Преобладающее

былъ опредѣленъ въ Московскую университетскую гимназію. Онъ не окончилъ курса и въ 1762 г. перѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ въ Измайловскій полкъ. Во время переворота, возведшаго на престоль Екатерину II, Новиковъ сдѣлался ей извѣстенъ, былъ произведенъ въ офицеры, а когда собралась комиссія для составленія проекта новаго уложенія, былъ назначенъ однимъ изъ ея секретарей. Здѣсь онъ близко познакомился съ русской жизнью, какъ она вскрывалась въ рѣчахъ депутатовъ, съѣхавшихся со всѣхъ концовъ Россіи. По окончаніи работъ

направленіе журналовъ было сатирическое, причеиъ въ самомъ характерѣ сатиры ясно обозначились два теченія: во главѣ перваго стояла „Всякая всячина“, признававшая сатиру только въ „улыбательномъ“ родѣ, отрицавшая нападки не только на „особь“, но и на пороки, „чтобы не оскорблять челоѡѡчество“, и ставившая свою цѣлью не одно обличеніе, но и восхваленіе „твердаго блюстителя вѣры и закона, сына отечества, пылающаго любовью и вѣрностью къ государю“; другое теченіе давало сатиру, бичевавшую коренные недостатки русскаго общественнаго быта, направленную противъ могущественнаго тогда дворянскаго сословія, не останавливавшуюся ни передъ пороками, ни передъ „особами“. Второе теченіе представляли, главнымъ образомъ, журналы Новикова: „Трутенъ“, „Живописецъ“ и „Кошелекъ“.

„Трутенъ“ на первыхъ же порахъ своего существованія вступилъ въ полемику съ органомъ императрицы „Всякая всячина“ изъ-за задачъ и пріемовъ сатиры. Отрицая „улыбательный“ тонъ сатиры, Новиковъ смѣло выступалъ съ обличеніями вліятельныхъ сферъ, возставалъ противъ злоупотребленій помѣщичьей власти, неправосудія и взяточничества, причеиъ его сатирическіе очерки не были отвлеченными моральными разсужденіями, а имѣли живую связь съ русскою дѣйствительностью. „Трутенъ“ вынужденъ былъ прекратиться. Неудача не смутила Новикова, и черезъ два года онъ выступилъ съ „Живописцемъ“. Предметы сатиры здѣсь тѣ же, что и въ „Трутенѣ“, но тонъ обличеній, направленныхъ противъ крѣпостнаго права, еще рѣзче и почувствованнѣе. „Бѣдность и рабство повсюду встрѣчались со мною въ образѣ крестьянъ“, говорится въ одной статьѣ „Живописца“, а ропотъ на невыносимое положеніе можно услышать только изъ устъ грудныхъ младенцевъ. „Кричите, бѣдныя твари!“ продолжаетъ авторъ: „Наслаждайтесь послѣднимъ симъ удовольствіемъ въ младенчествѣ: когда возмужаете, тогда и сего утѣшенія лишитесь...“ „Живописецъ“ тоже прекратился помимо воли Новикова и былъ замѣненъ „Кошелькомъ“. Программа этого журнала была нѣсколько уже, но и онъ прекратился на десятомъ номерѣ, а Новиковъ подвергся крупнымъ неприятностямъ.

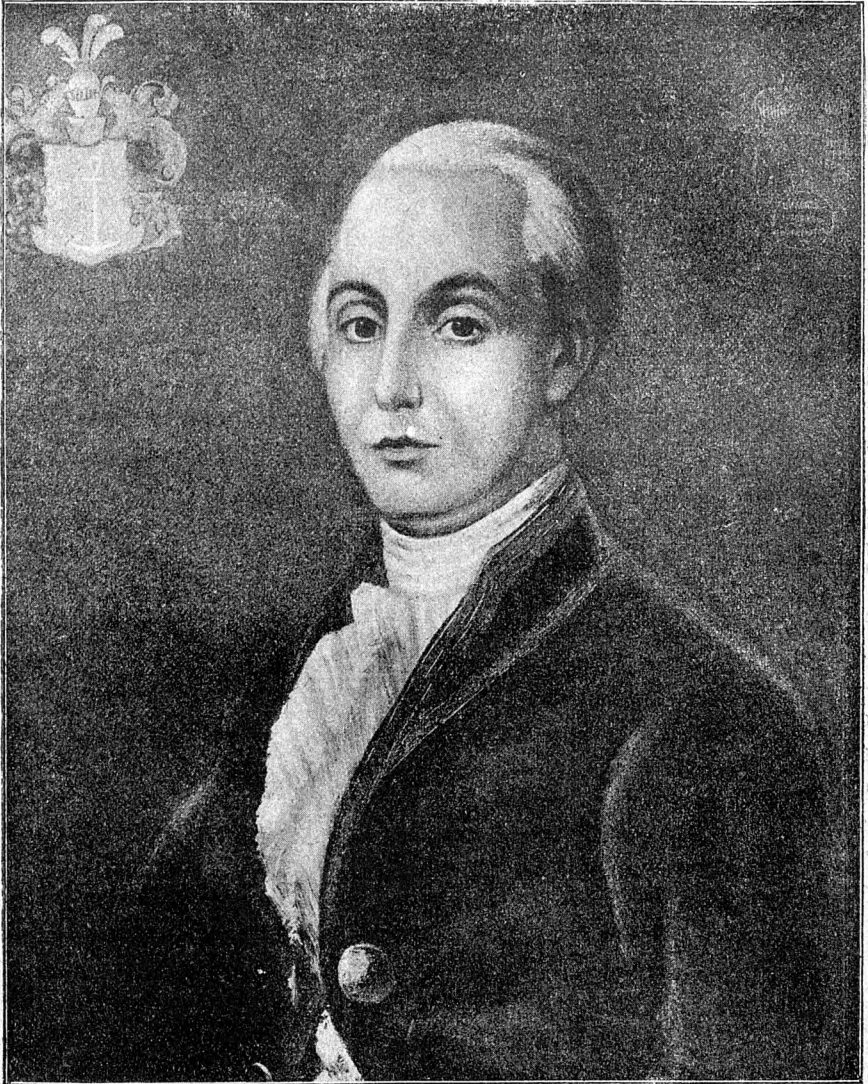
Своей журнальной дѣятельностью въ Петербургѣ Новиковъ пріобрѣлъ почетную извѣстность, и въ 1792 г. попечитель Московскаго университета предложилъ ему взять въ аренду университетскую типографію съ издававшимися при ней „Московскими Вѣдомостями“. Новиковъ принялъ это предложеніе и переѣхалъ въ Москву. Онъ расширилъ и улучшилъ содержаніе газеты и развилъ дѣятельность типографіи настолько, что она за шесть лѣтъ выпу-

стила книгъ болѣе, чѣмъ за всѣ предшествующіе годы своего существованія. Въ Москвѣ Новиковъ выступилъ на широкое поле общественной дѣятельности. Около него сгруппировался кружокъ единомышленниковъ, которые образовали сначала „Дружеское ученое общество“, а затѣмъ „Типографическую компанію“. Безъ единой копейки правительственной субсидіи Новиковъ и его друзья учредили учительскую семинарію для подготовки преподавателей, посылали лучшихъ изъ ея питомцевъ за границу, бесплатно разсылали учебники по провинціальнымъ школамъ, печатали массу русскихъ и переводныхъ изданій въ собственной типографіи, покрыли почти всю Россію сѣтью книжныхъ лавокъ, первые подали примѣръ общественной помощи голодающимъ и т. д.

Свободная общественная дѣятельность Новикова, который не справлялся съ взглядами и вѣяніями правящихъ сферъ, вызвала противъ него преслѣдованія. Ближайшимъ поводомъ къ нимъ послужило изданіе одной переводной книжки противъ іезуитовъ, которымъ тогда покровительствовала Екатерина. Вскорѣ были опечатаны типографія и книжныя лавки, и арестованный Новиковъ былъ отданъ въ руки знаменитаго Екатерининскаго слѣдователя Шешковскаго, при одномъ имени котораго далеко не робкіе люди падали въ обморокъ. Теперь, когда дѣло Новикова извѣстно во всѣхъ подробностяхъ, можно смѣло сказать, что слѣдствіе не дало суду никакихъ данныхъ для обвиненія Новикова. Тѣмъ не менѣе осужденіе было произнесено, и притомъ очень строгое: Новиковъ былъ приговоренъ къ 15 годамъ заключенія въ Шлиссельбургской крѣпости. Онъ высидѣлъ тамъ четыре года, вплоть до воцаренія Павла. Войдя въ двери крѣпостного каземата полнымъ силъ и энергіи, Новиковъ вышелъ оттуда дряхлымъ старикомъ и, почти совсѣмъ отказавшись отъ общественной дѣятельности, скончался 18 іюля 1818 г.

Александръ Николаевичъ Радищевъ происходилъ изъ дворянской семьи и родился 20 августа 1749 г. въ селѣ Преображенскомъ, Кузнецкаго уѣзда, Саратовской губ. Его отецъ, человекъ по тому времени весьма просвѣщенный, заботился о воспитаніи сына, и послѣдній въ деревенской глуши имѣлъ учителя-француза. Затѣмъ мальчикъ продолжалъ свое ученіе въ Москвѣ, въ домѣ однихъ родственниковъ, гдѣ сильное вліяніе имѣлъ на него одинъ французскій эмигрантъ. Въ 1762 г. Радищевъ былъ отвезенъ въ Петербургъ, въ пажескій корпусъ. Въ 1766 г. онъ

вмѣстѣ съ пятью товарищами-пажами и еще шестью дворянскими юношами былъ отправленъ въ Лейпцигъ, чтобы, прослушавъ тамъ университетскій курсъ, подготовиться къ служебной дѣя-



А. Н. Радищевъ.

тельности. Несмотря на крайне тяжелыя внѣшнія условія заграничной жизни, Радищевъ много и успѣшно занимался, приобрѣтя основательныя знанія въ наукахъ общественныхъ, естественно-историческихъ, а также въ медицинѣ. По его собственнымъ сло-

вамъ, главную роль въ его развитіи сыграли французскіе писатели XVIII вѣка. По возвращеніи изъ-за границы Радищевъ поступилъ на государственную службу. Перебѣнивъ нѣсколько мѣстъ, онъ окончательно устроился на таможенной службѣ, довольно быстро дослужившись до должности управляющаго петербургской таможенной. Отдавая свои досуги литературѣ, Радищевъ въ 1790 г. выпустилъ изъ собственной типографіи книгу „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“. Книга вызвала жестокія гоненія противъ ея автора. Радищевъ былъ заключенъ въ Петропавловскую крѣпость, и вскорѣ надъ нимъ начался судъ, причемъ передъ судьями былъ, собственно говоря, не обвиняемый, а уже осужденный самой императрицей человекъ. Радищевъ былъ приговоренъ къ смертной казни, замѣненной ему ссылкой въ Сибирь, откуда онъ былъ возвращенъ при воцареніи Павла. Проживъ подъ надзоромъ полиціи въ деревнѣ до вступленія на престолъ Александра I, Радищевъ, не измѣнившій свободолюбивымъ взглядамъ своей юности, вновь принялся за служебную и литературную дѣятельность. Рѣзкія столкновенія съ начальствомъ разстроили его здоровье, и безъ того распатанное ссылкой, и онъ скоропостижно умеръ 12 сентября 1802 г.

Литературное наслѣдіе Радищева довольно велико, но все имъ написанное меркнетъ передъ главнымъ трудомъ его—„Путешествіемъ изъ Петербурга въ Москву“.

При первомъ знакомствѣ книга Радищева можетъ показаться слишкомъ мозаичной, пестрой. Въ ней нѣтъ связнаго развитія какого-нибудь опредѣленнаго сюжета. Разбивъ свой рассказъ на главы, названныя именами почтовыхъ станцій, лежавшихъ между Петербургомъ и Москвой, авторъ передаетъ свои дорожныя впечатлѣнія и встрѣчи, перевивая изложеніе размышленіями, личными и историческими воспоминаніями, выдержками изъ найденныхъ на дорогѣ дневниковъ и записокъ. Но если присмотрѣться внимательнѣе, изъ-за кажущейся пестроты главъ выступаетъ нѣчто цѣльное и стройное,—міросозерцаніе автора, та точка зрѣнія, съ которой онъ оцѣниваетъ человѣческую жизнь вообще, современную ему русскую дѣйствительность въ частности.

По религіознымъ воззрѣніямъ Радищевъ деистъ, т.-е. послѣдователь того религіознаго ученія, въ основѣ котораго лежитъ признаніе верховнаго существа. Это верховное существо, благостно правящее міромъ, не имѣетъ характера библейскаго Іеговы или сходства съ Богомъ-Отцомъ новаго завѣта. Вѣру въ это верховное существо деисты находили у всѣхъ безъ исключенія народовъ, считали ее естественно прирожденной всякому чело-

вѣку. Эта общая всѣмъ людямъ вѣра въ верховное существо объединяетъ человѣчество въ одну великую семью; съ точки зрѣнія деизма, нѣтъ разницы между народами, просвѣщенными свѣтомъ христіанства, и оставшимися внѣ его вліянія. „Егова, Юпитеръ, Брама, Богъ Авраама, Богъ Моисея, Богъ Конфуція, Богъ Зороастра, Богъ Сократа, Богъ Марка Аврелія, Богъ христіанъ, о Богъ мой! Ты одинъ повсюду!“—воскликаетъ Радищевъ. Разумѣется, деизмъ Радищева объясняется западно-европейскимъ вліяніемъ.

Подъ тѣмъ же вліяніемъ сложились его взгляды на возникновеніе государства, на роль въ немъ человѣка. Здѣсь онъ цѣликомъ принимаетъ господствовавшее тогда на Западѣ ученіе объ „общественномъ договорѣ“. „Человѣкъ рождается въ міръ равенъ во всемъ одинъ другому. Всѣ одинаковые имѣемъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю“. Слѣдовательно, человѣкъ, взятый самъ по себѣ, вполне свободенъ, не можетъ ни отъ кого зависѣть. Но какъ только возникаетъ общество, какъ нѣчто цѣлое, люди соглашаются, договариваются слѣдовать не одной только своей волѣ, а устанавливаемой ими власти. Этой власти каждый членъ общества какъ бы уступаетъ частицу своихъ правъ. Для чего же сдѣлана людьми эта уступка? Единственно въ цѣляхъ личной выгоды, для созданія силы, охраняющей ихъ права. Какъ только эта власть забываетъ свое прямое назначеніе и начинаетъ употреблять свои силы не на защиту гражданъ и ихъ правъ, а для своихъ цѣлей, гражданинъ долженъ встать на защиту своей свободы.

Въ полномъ соотвѣтствіи съ религіозными воззрѣніями Радищева стоитъ его защита безусловной свободы въ области религіозной мысли. Пусть даже чей-нибудь слабый умъ заблуждается,—не надо преслѣдованій, надо „дозволить всякому заблужденію быть явнымъ“: тѣмъ скорѣе оно будетъ опровергнуто. Для Радищева нѣтъ религіозныхъ преступленій. „Если ты думаешь“, говоритъ онъ воображаемому противнику, „что хуленіемъ Всевышній оскорбится, то урядникъ ли благочинія будетъ за него истецъ?“

Радищевъ безусловный сторонникъ полной свободы слова. Говорятъ, что цензура полезна, защищая отдѣльныя личности отъ оскорбленій печати. Но для защиты оскорбленной личности есть судъ. Говорятъ, что цензура нужна, чтобы преслѣдовать все, „противное естеству, религіи и откровенію“. Но, запрещая свободу слова, „робкія правительства не богохуленія боятся, а боятся сами имѣть порицателей“. Этой боязни нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ власть „шествуетъ стезею, ей назначенной“.

Таковы основные, общие взгляды Радищева, выработанные имъ подь несомнѣннымъ вліяніемъ западно-европейской мысли. Посмотримъ, какъ примѣнялъ онъ ихъ къ оцѣнкѣ русской дѣйствительности.

Великое зло русской жизни, на все накладывавшее свою тяжелую руку,—крѣпостное право,—привлекаетъ къ себѣ самое пристальное вниманіе Радищева. Онъ показываетъ читателю цѣлый рядъ картинъ. Онъ ѣдетъ мимо пашни въ воскресенье и видитъ крестьянина за работой. „Крестьянинъ пашетъ съ великимъ тщаніемъ... Соху поворачиваетъ съ удивительною легкостью“.— „Ты, конечно, раскольникъ, что пашешь по воскресеньямъ?“—спрашиваетъ Радищевъ.— „Нѣтъ, баринъ, я прямымъ крестомъ крещусь“, отвѣчалъ крестьянинъ. „Въ недѣлѣ-то, баринъ, шесть дней, а мы шесть разъ въ недѣлю ходимъ на барщину да подь вечерокъ возимъ оставшее въ лѣсу сѣно на господскій дворъ“...— „Такъ ли ты работаешь на господина своего?“— „Нѣтъ, баринъ, грѣшно бы было такъ же работать. У него на пашнѣ сто рукъ для одного рта, а у меня двѣ для семи ртовъ. Самъ ты счетъ знаешь“.— На почтовой станціи Радищевъ дѣлается свидѣтелемъ аукціона дворовыхъ людей, среди которыхъ продаются съ молотка дядька, кормилица, любовница и сынъ помѣщика. Вотъ дворовый, по барской прихоти получившій образованіе и тѣмъ мучительнѣе переносящій свою неволю. Вотъ крестьяне, осужденные за убійство семьи помѣщика. Этотъ помѣщикъ, вышедшій въ люди изъ придворныхъ истопниковъ, обезземелилъ, ограбилъ, истерзалъ побоями своихъ крестьянъ, безчестилъ ихъ женъ и дочерей. Но что за дѣло закону до причинъ убійства! „Законъ судить о дѣяніяхъ, не касаясь причинъ, оныя производившихъ“, говоритъ съ грустью Радищевъ. „Да“, пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ: „крестьянинъ въ законѣ мертвъ. Законъ узнаетъ его только по дѣламъ уголовнымъ. Членъ общества становится только тогда извѣстенъ правительству, его охраняющему, когда нарушаетъ союзъ общественный, когда становится злодѣй! Сія мысль всю кровь во мнѣ воспалила!“

Вниманіе Радищева останавливаютъ и тѣ, чья обязанность хранить законъ,—чиновники всѣхъ степеней. Всюду, съ верху до низу чиновничьей лѣстницы, казнокрадство, явное нарушеніе закона, угнетеніе слабыхъ и потворство богатымъ и сильнымъ.

Знаетъ ли высшая въ государствѣ власть про все, что дѣлается въ странѣ, видитъ ли попираемый законъ, слышитъ ли стоны угнетаемыхъ? Отвѣтъ на это Радищевъ нашелъ во снѣ. Онъ увидѣлъ себя царемъ, владыкой міра, сидящимъ на престо-

лѣ и окруженнымъ раболѣпной толпой придворныхъ. Его льстиво увѣряютъ въ благоденствіи его царства: государство богатѣетъ, процвѣтаетъ торговля, широко распространяется просвѣщеніе, законы дѣйствуютъ справедливо и милостиво, войска совершаютъ блестящія завоеванія. Вдругъ изъ толпы выходитъ скромно одѣтая странница, называющая себя Истиной. Она подходитъ къ царю, снимаетъ съ глазъ его бѣльма. Онъ прозрѣлъ, онъ видитъ, какъ онъ обманывался. „Властитель міра“, заключаетъ Радищевъ рассказъ о своемъ снѣ, „если, читая сонъ мой, ты улыбнешься съ насмѣшкою или нахмуришь чело, вѣдай, что видѣнная мною странница отлетѣла отъ тебя далеко и чертоговъ твоихъ гнушается“.

Радищевъ указывалъ для своей родины и путь къ новому, лучшему будущему. Путь одинъ—уничтоженіе крѣпостного права, отъ котораго въ большей или меньшей степени зависѣли всѣ неурядицы русской жизни. Не ограничиваясь общими соображеніями о томъ, что крѣпостное право нарушаетъ основныя права человѣка, задерживаетъ ростъ богатства страны и ростъ народонаселенія, Радищевъ набрасываетъ въ „Путешествіи“ и самый планъ освобожденія, какъ онъ выражается, „путь къ постепенному освобожденію земледѣльцевъ въ Россіи“. Настаивая здѣсь на освобожденіи крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ, Радищевъ далеко опередилъ не только своихъ современниковъ, но и многихъ изъ людей позднѣйшаго поколѣнія, которымъ пришлось участвовать въ реформѣ 1861 г.

Печальна была судьба Радищева, печальна была и судьба его книги: до самаго послѣдняго времени она была подъ запретомъ, и только недавно вновь появилась передъ русскими читателями съ своимъ обветшалымъ языкомъ и неумирающей искренностью гуманной проповѣди.

VII.

Общественныя и умственные теченія первой половины XIX в.

„Дней Александровыхъ прекрасное начало“,—такъ характеризовалъ Пушкинъ первые годы царствованія императора Александра I, отмѣченные живымъ общественнымъ и умственнымъ движеніемъ. Преемственно связанное съ западно-европейскими идеями, пустившими у насъ прочныя корни въ Екатерининскую эпоху, оживленіе общественной и умственной жизни въ началѣ XIX в. въ значительной степени зависѣло отъ дѣятельности са-

мого правительства. Александръ I, воспитанный республиканцемъ Лагарпомъ, полный благородныхъ замысловъ, окруженный образованными единомышленниками и друзьями, предпринимаетъ рядъ либеральныхъ мѣръ. Правда, коренной вопросъ русской жизни — крѣпостное право — остался неразрѣшеннымъ, но для поднятiя и дальнѣйшаго развитiя просвѣщенiя въ Россiи сдѣлано было довольно много. Открытiе четырехъ новыхъ университетовъ, основанiе гимназiй во всѣхъ почти губернскихъ городахъ, многочисленныхъ школъ для взаимнаго обученiя (такъ называемыя „Ланкастерскiя школы“), смягченiе цензуры, разрѣшенiе безпрепятственнаго ввоза иностранныхъ книгъ, — все это вызвало значительное оживленiе въ жизни тогдашняго русскаго общества и подняло въ немъ интересъ къ наукѣ и просвѣщенiю.

Тяжелая борьба съ Наполеономъ остановила правительство на пути его просвѣтительныхъ начинанiй. Къ этому присоединилась общая европейская реакцiя, наступившая послѣ низверженiя Наполеона и вызвавшая образованiе такъ называемаго „священнаго союза“ для неуклоннаго поддержанiя монархической власти и для борьбы съ идеями, породившими французскую революцiю. Въ Россiи, влiятельной участницѣ „священнаго союза“, дѣло осложнилось еще тѣмъ, что Александръ I, вынеся тяжелую борьбу съ внѣшнимъ врагомъ и переживъ одну изъ самыхъ смутныхъ эпохъ русской исторiи, все болѣе и болѣе поддавался власти мистическаго религiознаго настроенiя, въ свѣтѣ котораго всѣ начинанiя первой поры царствованiя казались ему суетой и гордыней. Мѣсто прежнихъ либеральныхъ совѣтниковъ и сотрудниковъ заняли люди, умѣвшiе учестъ и перемѣну общаго политическаго настроенiя Европы, и измѣненiе душевнаго строя государя. Самымъ виднымъ лицомъ въ управленiи дѣлается Аракчеевъ, грубый, необразованный человекъ, гордившiйся тѣмъ, что „учился грамотѣ по часослову, а не по писаннымъ картамъ“, понимавшiй порядокъ лишь какъ выраженiе жестокой военной дисциплины во всѣхъ областяхъ жизни. Министръ народнаго просвѣщенiя кн. Голицынъ предпринимаетъ цѣлый походъ противъ молодого русскаго просвѣщенiя. Строгости цензуры были увеличены имъ до невѣроятныхъ размѣровъ. Ему всюду грезились слѣды „французской заразы“, бѣда отъ „западныхъ лжеученiй“, и онъ изгонялъ изъ преподаванiя естествознанiе, естественное и гражданское право, политическую экономiю и философию, допущенныя въ наши высшiя школы при Екатеринѣ II и въ первые годы царствованiя Александра I. Правда, Голицынъ и его помощники дѣлали видъ, что не искореняютъ

науку, а только направляютъ ее къ общественному благу, но на практикѣ они, въ лучшемъ случаѣ, возвращали русское общество къ научнымъ понятіямъ допетровской старины. Такъ, Магницкій, попечитель Казанскаго учебнаго округа, требовалъ изученія исторіи по однимъ лишь Четымъ-Минеямъ, запрещалъ касаться вопроса о геологическомъ строеніи земли на лекціяхъ естествознанія, а въ области политической экономіи—вопроса о накопленіи и распредѣленіи богатствъ, рекомендуя вмѣсто того указывать на заповѣдь: „въ потѣ лица твоего съѣси хлѣбъ твой“.

Наряду съ этими фактами слѣдуетъ указать, что реакціонное направленіе второй половины царствованія Александра I нашло своихъ пророковъ и защитниковъ и въ средѣ русскихъ литераторовъ. Любопытно отмѣтить, что проповѣдь нѣкоторыхъ изъ нихъ раздалась впервые тогда, когда правительство не повернуло еще на путь реакціи. Въ 1808 г. началъ выходить журналъ Ѳ. И. Глинка „Русскій Вѣстникъ“. Врагъ западнаго просвѣщенія, Глинка говорилъ, что для него истинное просвѣщеніе заключается „въ простотѣ нравовъ, въ любви и усердіи къ Богу, вѣрѣ, царю и отечеству“. Поклоняясь допетровской старинѣ, онъ въ произведеніяхъ древней русской литературы находилъ сходство съ мыслями чуть не всѣхъ мудрецовъ древняго и новаго міра и законодательную мудрость человѣчества отъ Солона до Монтеस्कѣ. Другимъ выразителемъ реакціи былъ Н. М. Карамзинъ. Въ 1811 г. имъ была составлена „Записка о старой и новой Россіи“. Въ ней Карамзинъ возстаетъ противъ отмѣны крѣпостнаго права, находитъ, что высшее образованіе стѣснительно для дворянъ, а низшее—опасно для массы. Дѣло не въ измѣненіи внѣшнихъ формъ и учреждений, а въ лицахъ. Благодарный монархъ и умѣло выбранные губернаторы съ успѣхомъ замѣняютъ любую писаную конституцію. Для страны важнѣе хорошіе священники, чѣмъ народныя школы.

Мы отмѣтили время отечественной войны, какъ грань, за которой началась правительственная реакція. Въ иномъ значеніи должно быть отмѣчено это время, если мы перейдемъ къ тѣмъ слоямъ общества, которые преименно продолжали дѣло русскаго просвѣщенія, науки и литературы.

Война 1812 г., поднявъ въ русскомъ обществѣ пламенный патріотизмъ, спаявъ всѣ сословія общимъ національнымъ дѣломъ, тѣмъ самымъ заставила молодую, болѣе образованную и вдумчивую часть русскаго общества ближе взглянуть въ положеніе низшихъ классовъ населенія. За изгнаніемъ французовъ изъ

Россіи послѣдовали заграничные походы. Три года наиболѣе образованная часть дворянской молодежи, служившая въ войскахъ, провела въ Европѣ. Тамъ она имѣла возможность близко познакомиться съ болѣе совершенными формами государственной и общественной жизни. Сравненіе съ тѣмъ, что было оставлено дома, запрашивалось на каждомъ шагу, и, по возвращеніи домой, во время все нараставшей реакціи, выводы изъ этого сравненія давали сильный толчокъ общественной мысли. Сначала это сказывалось въ небываломъ до того времени интересѣ къ серьезному чтенію, къ занятіямъ общественными науками, въ частности политической экономіей. Затѣмъ стали являться попытки примѣнить новые взгляды на дѣль, — прежде всего въ наиболѣе близкой области военного дѣла: изгоняются изъ солдатскаго обихода розги и палки, заводятся полковныя школы и пр. Вскорѣ эти мелочи перестали удовлетворять наиболѣе живую, энергичную часть молодежи: она стала стремиться къ болѣе широкой дѣятельности. Все возраставшая реакція ставила этимъ стремленіямъ преграды, и общественная мысль, получившая властный призывъ къ движенію отъ самой жизни, ушла въ подполье: образовался послѣдовательный рядъ тайныхъ обществъ, поставившихъ себѣ на первомъ планѣ уже чисто политическія цѣли и приведшихъ къ заговору и возстанію декабристовъ.

Въ тайныя общества ушла наиболѣе энергичная въ политическомъ отношеніи часть русской молодежи Александровскаго времени. Другая часть, болѣе склонная къ вопросамъ отвлеченной мысли, оставила свой слѣдъ въ исторіи той эпохи въ видѣ кружка „любомудровъ“ (буквальный переводъ слова „философы“). Во главѣ кружка стояли два замѣчательныхъ по своему образованію, дарованіямъ и рѣдкой душевной чистотѣ чловѣка: кн. В. А. Одоевскій и юноша — поэтъ Д. В. Веневитиновъ. Главнымъ предметомъ занятій кружка была философія (преимущественно нѣмецкая), гонимая въ университетахъ. Оторванные въ уединеніи своего кружка отъ политическихъ интересовъ, „любомудры“ тѣмъ не менѣе задумывались о томъ, какъ повліять на общество въ смыслѣ поднятія его умственнаго и нравственнаго уровня. Къ сожалѣнію, они были людьми мало дѣятельными и непрактичными. Послѣ долгихъ сборовъ и разговоровъ о журналѣ, который освѣтилъ бы явленія жизни, науки и литературы съ точки зрѣнія ихъ философскихъ идей, они выпустили сборникъ „Мнемозина“, но онъ не имѣлъ успѣха, такъ какъ издатели не сумѣли примѣниться къ уровню читающей публики. Кружокъ распался въ 1825 г., въ грозное для русской общественности время.

Кровавой трагедіей декабристовъ началось царствованіе императора Николая I. Въ отличіе отъ царствованій Екатерины II и Александра I, которыя въ области правительственной дѣятельности отмѣчены чередованіемъ прогресса и реакціи, эпоха Николая I носить пѣльный характеръ: реакціонное теченіе заполнило все это царствованіе. „Священный союз“, заговоръ декабристовъ, а въ концѣ царствованія Николая I революціонныя вспышки на Западѣ — вотъ основныя причины непрерывной реакціи этого времени.

Существенной особенностью правительственной реакціи Николаевской эпохи, кромѣ ея непрерывности, служить еще то, что она сложилась въ стройную систему, господствовавшую 30 лѣтъ и составившую опредѣленный и законченный кругъ официально признанныхъ понятій, подъ тяжелымъ гнетомъ которыхъ находилась вся русская жизнь. Кругъ этихъ понятій уже давно получилъ названіе „системы официальной народности“. Православіе, самодержавіе и народность, какъ незыблемыя основы русской жизни,—таково было основное положеніе системы. Надо замѣтить, что творцами и послѣдователями системы слово „народность“ понималось совсѣмъ не такъ, какъ оно понимается теперь. Тогда понятіе народности, „официальной народности“, давшей имя всей системѣ, выводилось изъ слѣдующихъ разсужденій. Россія — совершенно особое государство, не похожее ни на одно изъ западныхъ. Русскій народъ—тоже особый народъ, не похожій ни на какой другой. Въ силу этого и русскій государственный строй, и строй народной жизни должны быть у насъ свои, рѣзко отличные отъ западныхъ. Всѣ свободныя учрежденія, всѣ улучшенія общественной жизни, которыми гордится Западная Европа,—результатъ французскаго вольнодумства, революціи, опасныя заблужденія. Въ Россіи не было подобныхъ заблужденій, потому что она въ чистотѣ сохранила вѣру, заимствованную изъ Византіи, гдѣ въ неприкосновенности были сохранены преданія христіанской церкви. Нашъ бытъ вполне отвѣчаетъ нашимъ патріархальнымъ, но чистымъ нравамъ. Нашъ крѣпостной живетъ лучше, чѣмъ западно-европейскій крестьянинъ: о немъ заботится помѣщикъ. Западъ, правда, опередилъ насъ въ наукѣ, но зато наша наука не приноситъ вреда, а только пользу: объ этомъ заботится цензура. То же и съ литературой: цензура не допускаетъ опасныхъ умствованій, колеблющихъ коренные наши устои. Поэтому въ Россіи наилучшій порядокъ вещей: она процвѣтаетъ, внутренне спокойна, внѣшне сильна. Одинъ изъ хранителей системы „официальной народности“,

гр. Бенкендорфъ, говорилъ въ 30-хъ годахъ такъ: „Прошедшее Россіи прекрасно, настоящее ея болѣе, чѣмъ великолѣпно, а что касается будущаго, то оно выше всего, что можетъ представить себѣ самое пылкое воображеніе“.

Посмотримъ теперь, какъ отражалась эта система на русской жизни, наукѣ и литературѣ.

Первое, что надо отмѣтить въ тогдашней жизни, это крѣпостное право. Для правительства оно было незыблемо. Министръ народнаго просвѣщенія графъ Уваровъ заявлялъ, что „такъ же, какъ незыблемо самодержавіе, незыблемо и крѣпостное право“. Мы не будемъ характеризовать сущность крѣпостныхъ отношеній между помѣщиками и крестьянами, осуществлявшихся въ видѣ ничѣмъ неограниченнаго права первыхъ и полнѣйшаго безправія послѣднихъ. Скажемъ лишь, что весь ужасъ былъ не въ какихъ-нибудь чрезвычайныхъ случаяхъ помѣщичьяго произвола и жестокости, а въ томъ, что порядокъ вещей нисколько не препятствовалъ ихъ возникновенію, въ томъ, что легкая возможность каждый моментъ послать человѣка на конюшню, легкая воля дворянскимъ рукамъ налагали отпечатокъ на весь дореформенный бытъ въ его обыденномъ теченіи. Необычайная грубость нравовъ во всѣхъ областяхъ жизни была слѣдствіемъ свободы личнаго насилія.

Если мы обратимся къ дореформенному суду и наказаніямъ, насъ поразитъ та же тяжелая картина жестокости и униженія человѣческаго достоинства. Императрица Елизавета номинально уничтожила смерную казнь, но до 1845 г. существовалъ страшный кнутъ, которымъ искусные палачи убивали жертву съ одного удара. Въ войскахъ господствовали шпицрутены,—нѣмецкое изобрѣтеніе, усовершенствованное Аракчеевымъ. Каковъ былъ судъ, съ этимъ, помимо многочисленныхъ произведеній художественной литературы, знакомятъ насъ воспоминанія современниковъ. Такъ, И. С. Аксаковъ рассказываетъ про окончившееся оправданіемъ подсудимаго дѣло одного помѣщика, обвинявшагося въ томъ, что онъ велѣлъ крѣпостнымъ высѣчь гувернантку дѣтей, засѣкъ до смерти крестьянина и продавалъ фальшивыя рекрутскія квитанціи. Характернѣе всего, что подсудимый былъ оправданъ безъ помощи обычныхъ тогда взятокъ, а лишь потому, что сумѣлъ пустить въ ходъ благонамѣренныя рѣчи о видахъ правительства, поддерживающаго авторитетъ дворянства.

Тяжело было при господствѣ системы официальной народности положеніе науки. Университеты всецѣло находились въ рукахъ попечителей округовъ, и ихъ судьбы рѣшались въ кан-

целяріяхъ чиновниками, не имѣвшими часто понятія о наукѣ и университетѣ. Если не брать исключеній, только подчеркивающихъ и отбѣняющихъ общую неприглядность картины, средній типъ профессора былъ исполнительный чиновникъ, читавшій по старымъ тетрадкамъ или по переводному учебнику, предварительно одобренному начальствомъ, читавшій буква въ букву, запятая въ запятую. По волѣ начальства одинъ и тотъ же профессоръ читалъ то математику, то физику, то философію, то литературу.

Еще тяжелѣе было положеніе литературы. Цензура чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась суровѣе. „Ревизоръ“ Гоголя попалъ на сцену только благодаря самому императору. О напечатаніи „Мертвыхъ душъ“ долго хлопотали вліятельныя лица, да и то, въ концѣ разсматриваемаго періода, переизданіе 1-го тома поэмы Гоголя не было разрѣшено. Каждое вѣдомство, почти каждая канцелярія съ конца 40-хъ годовъ имѣла свою собственную цензуру. Были годы, когда, кромѣ общей, существовало еще 17 специальныхъ цензуръ. Нѣкоторые рассказы о жестокости и бессмысленности тогдашней цензуры могутъ показаться вымысломъ: до того они невѣроятны.

При такихъ условіяхъ совершенно свободно могли выражаться въ печати только тѣ идеи, которыя входили въ понятіе официальной народности. Ихъ [проповѣдниками были петербургскія изданія: „Библиотека для чтенія“, „Сѣверная пчела“, „Маякъ“ и московскій журналъ „Москвитянинъ“. Редакторомъ „Сѣверной пчелы“ былъ знаменитый Ѡаддей Булгаринъ, навсегда заклеенный бичующими эпиграммами Пушкина. „Москвитянинъ“ издавался московскими профессорами М. П. Погодинымъ и С. П. Шевыревымъ, наиболѣе ярко отражавшими идеи официальной народности. Возрѣнія противоположнаго характера могли выражаться въ литературѣ лишь изрѣдка, да и то въ искаженномъ видѣ. Основать новый журналъ челоуѣку, заподозрѣнному въ несочувствіи къ официальной народности, было почти невысказано. „Не надо“,—была краткая, но выразительная резолюція, положенная въ 1846 г. на прошеніи Т. Н. Грановскаго о разрѣшеніи ему издавать новый журналъ.

Въ эту печальную эпоху, какъ и во вторую половину царствованія Александра I, здоровая и живая общественная мысль должна была скрываться. Она не исчезла совсѣмъ, но, не находя себѣ выраженія въ литературѣ, жила и развивалась въ тѣсныхъ дружескихъ кружкахъ, среди десятка—другого молодыхъ людей, почти мальчиковъ. Два изъ такихъ кружковъ сыграли

выдающуюся роль въ исторіи русской мысли: кружокъ Н. В. Станкевича и кружокъ А. И. Герцена.

Кружокъ Станкевича возникъ въ университетѣ, и въ него входили, кромѣ самого Станкевича, историкъ Строевъ, поэты Ключниковъ и Красовъ, К. С. Аксаковъ, поэтъ и публицистъ, и будущій знаменитый критикъ В. Г. Бѣлинскій. Черезъ два года послѣ того, какъ члены кружка разстались съ университетомъ, къ нимъ примкнули еще четыре крупныхъ дѣятеля эпохи: М. А. Бакунинъ, М. Н. Катковъ, В. П. Боткинъ и Т. Н. Грановскій. Всѣхъ этихъ лицъ спланивало въ одно цѣлое обаяніе необыкновенно свѣтлой личности Станкевича. По своей литературной дѣятельности Станкевичъ не имѣетъ почти никакого значенія, и не здѣсь надо искать источникъ его вліянія. Онъ вліялъ на своихъ друзей тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, большимъ и яснымъ умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ. Благодаря этому, Станкевичъ давалъ окружающимъ могущественныя духовныя побужденія, заставлялъ работать въ нихъ лучшія силы ума и чувства. Въ 1837 г. болѣзнь и жажда поучиться привели Станкевича за границу. Онъ подолгу жилъ въ Берлинѣ, гдѣ занимался философіей и завязалъ дружескія отношенія съ нѣкоторыми западно-европейскими учеными и писателями. Въ это время подружился съ нимъ и подпалъ его вліянію И. С. Тургеневъ и Т. Н. Грановскій. Въ 1840 г., 27 лѣтъ отъ роду, Станкевичъ умеръ въ Италіи. Его ранняя смерть окружила для друзей его имя еще большимъ ореоломъ.

Предметомъ изученія въ кружкѣ Станкевича была нѣмецкая философія и, главнымъ образомъ, тѣ ея ученія, которыя интересовали „любомудровъ“. Члены кружка познакомились съ ней въ изложеніи Станкевича, живомъ и увлекательномъ, а также изъ статей „любомудровъ“: Веневитинова, кн. Одоевскаго, проф. Павлова и др.. Увлечение нѣмецкой философіей было глубоко-благодарно для молодежи кружка Станкевича: расширяя умственный кругозоръ, идеалистическая философія поселяла въру въ высокое призваніе чловѣка, стремленіе къ нравственному совершенствованію. Но была и обратная сторона: уводя молодежь въ область отвлеченностей, отрывая ихъ отъ реальныхъ запросовъ жизни, философія часто дѣлала ихъ людьми слишкомъ книжными, лишенными живого, непосредственнаго чувства. Къ занятіямъ философіей присоединилось увлеченіе нѣмецкой романтической литературой,—главнымъ образомъ, Гофманомъ, авторомъ крайне мечтательныхъ и фантастическихъ произведеній.

Одновременно съ кружкомъ Станкевича возникъ кружокъ Герцена. Здѣсь занимались преимущественно общественно-политическими вопросами. Герценъ и его друзья увлекались Сень-Симономъ, однимъ изъ величайшихъ предшественниковъ современнаго социализма, фанатикомъ науки съ вдохновеннымъ языкомъ пророка, когда онъ ополчался противъ аристократіи и духовенства. На судъ его ученія было поставлено крѣпостное право. Члены кружка не отвергали нѣмецкой литературы, съ уваженіемъ относились къ ея геніямъ; но не философы, поэты и художники привлекали ихъ вниманіе, а люди строгой, точной науки.

Въ 1834 г. надъ кружкомъ Герцена разразилась административная гроза, и члены его разсѣялись въ разныя стороны. Около этого времени распался и кружокъ Станкевича. Но въ началѣ 40-хъ годовъ участники обоихъ кружковъ вновь собрались въ Москвѣ, причемъ къ нимъ примкнули новыя силы, — молодые ученые, только что вернувшіеся изъ-за границы, чтобы занять кафедры въ Московскомъ университетѣ. Члены обоихъ кружковъ на нѣкоторое время объединились: русская дѣйствительность до нѣкоторой степени отрезвила друзей Станкевича отъ ихъ чрезмѣрнаго мечтательнаго идеализма, а Герценъ съ друзьями заинтересовались въ это время философіей Гегеля, которой увлекались и члены перваго кружка. Такимъ образомъ, создалась, до нѣкоторой степени, общая почва, а мягкая личность Грановскаго, молодого, блестящаго профессора исторіи, вносила примиряющую ноту въ горячіе споры. Тѣмъ не менѣе во взглядахъ двухъ объединившихся группъ на нѣкоторые общественные и историческіе вопросы была столь большая разница, что сошедшіеся на время кружки снова распались въ 1846 г. Съ этого времени окончательно опредѣлились два крупнѣйшихъ теченія русской общественной мысли — западничество и славянофильство.

Основное положеніе западничества состоитъ прежде всего въ признаніи непререкаемой цѣнности западно-европейской культуры. Съ этой точки зрѣнія, реформа Петра В. представлялась западникамъ величайшимъ фактомъ русской исторіи, а необходимымъ условіемъ дальнѣйшаго правильнаго развитія Россіи они считали полное усвоеніе всѣхъ основъ и формъ западно-европейской жизни. Главнѣйшими представителями западничества въ изображаемую нами эпоху были Т. Н. Грановскій, А. И. Герценъ и В. Г. Бѣлинскій, нашедшіе многочисленныхъ послѣдователей и продолжателей ихъ дѣла. Въ своихъ журналахъ „Отечественныя Записки“ и „Современникъ“ западники дѣятельно знакомили русское

общество съ важнѣйшими явленіями европейской жизни, науки и литературы, обращая больше всего вниманія на общественно-политическіе вопросы, волновавшіе въ то время Францію. Подъ вліяніемъ западниковъ въ широкихъ кругахъ русскаго общества развился интересъ къ сочиненіямъ французскихъ мыслителей (упомянутаго уже Сень-Симона, Кабэ, Фурье), явившихся предтечами современнаго социализма: недаромъ, уже въ самомъ концѣ разсматриваемаго нами періода, преслѣдуя кружокъ такъ называемыхъ петрашевцевъ, изучавшихъ этихъ мыслителей, русское правительство, устами одного изъ своихъ агентовъ, заявляло, что „идеи ихъ (петрашевцевъ) посѣяны и принесли болѣе или менѣе плоды въ разныхъ мѣстахъ государства“. Западникамъ обязано русское общество также широкимъ знакомствомъ съ выдающимися европейскими писателями, какъ англичане Диккенсъ и Теккерей, французы Гюго, Бальзакъ и Жоржъ-Зандъ. Двое послѣднихъ привлекали особенное вниманіе русскаго общества: первый—мастерскимъ, реальнымъ изображеніемъ будничныхъ интересовъ буржуазнаго французскаго общества, вторая—проповѣдью освобожденія женщины отъ гнета семейныхъ и общественныхъ предразсудковъ, проповѣдью социализма въ духѣ Сень-Симона и правдивымъ изображеніемъ деревенской жизни.

Въ противоположность западникамъ славянофилы отстаивали самостоятельное значеніе русской культуры, ставили ее, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, выше западной. Реформу Петра В. славянофилы считали пагубной ошибкой, такъ какъ насильственное сближеніе съ Западомъ остановило естественное развитіе русскаго народа. Не впереди горѣлъ свѣтъ славянофильскаго идеала, а назадъ, въ допетровской Руси, которая часто изображалась ими въ краскахъ, совсѣмъ не отвѣчавшихъ исторической правдѣ, особенно когда они начинали сравнивать древнюю Русь съ соответствующими эпохами западно-европейской исторіи. Славянофилы вѣрили, что въ основныхъ своихъ чертахъ допетровскій идеалъ живъ въ быту и понятіяхъ простаго народа, который послѣ петровской реформы жилъ своей особой жизнью, отличной отъ жизни образованныхъ классовъ. Въ бытѣ русскаго крестьянства особое вниманіе славянофиловъ привлекала русская община, деревенскій „міръ“; они противопоставляли проникающій эти особенности народнаго хозяйства духъ солидарности и единенія сухому личному началу, господствующему, по ихъ мнѣнію, на Западѣ. Считая православную церковь единственной хранительницей истиннаго христіанства и высказываясь за неограниченное самодержавіе, славянофилы не признавали для народа нужными

политическія права, участіе въ дѣлахъ правленія; они признавали за народомъ лишь право нравственнаго воздѣйствія на правительство, что, по ихъ мнѣнію, осуществлялось въ допетровской Руси на земскихъ соборахъ.

Взгляды крайнихъ славянофиловъ вырождались иногда въ узкій націонализмъ, въ которомъ странно смѣшивалась необузданная гордость съ проповѣдью смиренія, какъ основной черты русскаго народнаго характера. Бывало и такъ, что нѣкоторыя заявленія крайнихъ славянофиловъ звучали совершенно въ духъ программы „официальной народности“. Но было бы ошибкой на основаніи этихъ крайностей оцѣнивать общественное значеніе славянофильства. При всѣхъ своихъ разногласіяхъ съ западниками, славянофилы (наиболѣе видные изъ нихъ: братья И. В. и П. В. Кирѣевскіе, братья К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяковъ) раздѣляли съ ними мечту объ освобожденіи крестьянъ, желали для Россіи полной вѣротерпимости, свободы слова.

Позднѣе, когда западники и славянофилы сошлись вмѣстѣ уже не для теоретическихъ споровъ, а для великой работы надъ освобожденіемъ крѣпостнаго народа, А. И. Герценъ такъ вспоминалъ о славянофилахъ: „Да, мы были противниками, но очень странными: у насъ была одна любовь, но не одинакая. У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, страстное чувство,—чувство безграничной, охватывающей все существованіе, любви къ русскому народу... Время, исторія, опытъ сблизили насъ, не потому, чтобы они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а потому, что и они, и мы ближе къ истинному возрѣнію теперь, чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ жунальныхъ статьяхъ, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи или они въ нашей“.

Въ исторіи русской литературы первая половина XIX вѣка является самой замѣчательной эпохой. Въ эти годы, сбросивъ съ себя иго чужеземныхъ вліяній, русская литература окончательно выходитъ на путь самостоятельнаго развитія въ твореніяхъ Пушкина. Искони присущее ей стремленіе къ художественному реализму окончательно укрѣпляется Гоголемъ. Въ эти же годы появляются первыя произведенія Гончарова, Щедрина, Некрасова, Тургенева, Островскаго, Достоевскаго, Толстого,—тѣхъ писателей, которые во вторую половину вѣка стали нашей гордостью и славой передъ лицомъ всего цивилизованнаго міра.

VIII.

Н. М. Карамзинъ. В. А. Жуковскій.

Въ самомъ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка въ русской литературѣ появляется направленіе, которое носить имя сентиментализма. Какъ и ложноклассицизмъ, сентиментальное направленіе не было явленіемъ, самостоятельно возникшимъ на русской почвѣ: оно было отголоскомъ литературной жизни западной Европы.

Мы отмѣтили въ своемъ мѣстѣ (гл. III) основныя черты ложноклассицизма: холодную разсудочность, своеобразный аристократизмъ содержанія, пристрастіе къ изображенію исключительныхъ моментовъ человѣческой жизни. Въ противоположность ложноклассикамъ, писатели сентиментальнаго направленія преобладающее мѣсто отводили чувству (отсюда и названіе этого направленія: „сентиментальный“ значитъ „чувствительный“), героями своихъ произведеній брали людей средняго и низшаго сословій, рисуя ихъ въ будничной, повседневной обстановкѣ, знакомя съ ихъ внутренней, душевной жизнью и очень часто окрашивая свое повѣствованіе нравственнымъ поученіемъ. Сентиментализмъ на Западѣ съ наибольшей силой выразился въ романѣ и драмѣ, хотя его вліяніе сказалось и въ лирической поэзіи: она сдѣлалась болѣе грустной по содержанію и стала отводить много мѣста выраженію личныхъ, интимныхъ переживаній автора, часто навѣянныхъ глубокимъ чувствомъ природы.

На смѣну сентиментализму на Западѣ пришелъ романтизмъ, — направленіе, сущность котораго вызывала много споровъ, не оконченныхъ и до сихъ поръ. Въ общемъ, наибольшимъ признаніемъ пользуется опредѣленіе романтизма, какъ такого литературнаго направленія, которое сильно и ярко выразило вѣчно присущее человѣческому духу стремленіе нарушить границы, связывающія жизнь его ума, воли и чувства. Умъ человѣческій ограниченъ, скованъ въ своемъ стремленіи проникнуть дальше того, что доступно его пониманію, — пусть его замѣнитъ чувство, какъ высшая духовная способность, при помощи которой человѣкъ можетъ перешагнуть въ область таинственнаго, сверхъестественнаго, недоступнаго уму. Отсюда тяготѣніе романтиковъ ко всему чудесному, таинственному. Воля человѣческая въ своемъ неудержимомъ стремленіи сдавлена понятіями о добрѣ и злѣ, — пусть будетъ ей больше простора. Отсюда пристрастіе романтиковъ къ изображенію людей съ мощной, титанической

волей, великихъ и въ добрѣ, и въ злѣ. Мелки, ничтожны и опутаны сѣтью условностей проявленія человѣческихъ чувствъ, — пусть же будетъ дана свобода человѣческому чувству, особенно любви. И романтики дали образы людей, одаренныхъ небывалою, почти нечеловѣческою силою чувства.

Въ непосредственной связи съ этимъ стоитъ отрицаніе романтиками современной имъ европейской культуры. Они противопоставляли ей простую, безыскусственную жизнь людей среди природы, внѣ стѣснительныхъ условностей цивилизованнаго общества, или жизнь отдаленной старины, которая часто представлялась романтикамъ въ преувеличенно-привлекательномъ видѣ.

Еще рѣшительнѣе, чѣмъ сентименталисты, боролись романтики противъ условныхъ литературныхъ правилъ, которыми ложноклассицизмъ сковывалъ творчество писателя. Они провозгласили ничѣмъ не стѣсняемую свободу творчества, признали за поэтомъ право изображать всѣ стороны жизни и притомъ такъ, какъ подсказываетъ ему его вдохновеніе. Благодаря этому, широко раздвинулись рамки художественнаго изображенія жизни и ярко стала выступать въ литературныхъ произведеніяхъ личность ихъ авторовъ.

Въ русской литературѣ, которая къ началу XIX в. еще не вышла на путь самостоятельнаго развитія, нашли свое отраженіе оба только что характеризованныя направленія.

Главнымъ представителемъ сентиментализма въ русской литературѣ является Н. М. Карамзинъ. Правда, первыя вліянія западно-европейскаго сентиментализма можно отмѣтить у насъ и до Карамзина, но появленіе сентиментализма, какъ литературной школы, связано исключительно съ его именемъ.

Николай Михайловичъ Карамзинъ родился 1 декабря 1766 г. въ Симбирской губерніи, въ имѣніи отца, отставнаго капитана. Унаслѣдовавъ отъ матери „тихій нравъ“ и склонность къ мечтательности, Карамзинъ рано сталъ проявлять любовь къ природѣ, чувствительность и религіозное настроеніе. Мирныя картины Поволжья, одинокое дѣтство и чтеніе романовъ много способствовали развитію этихъ чертъ его характера. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ неоконченная автобіографическая повѣсть „Рыцарь нашего времени“, гдѣ Карамзинъ изобразилъ себя подъ именемъ Леона. На 14 году Карамзинъ поступилъ въ одинъ изъ московскихъ пансіоновъ, откуда вышелъ съ хорошимъ знаніемъ иностранныхъ языковъ, но съ образованіемъ, которое нельзя на-

звать законченнымъ. По окончаніи пансіона Карамзинъ поѣхалъ въ Петербургъ и записался прапорщикомъ въ Преображенскій полкъ. Литературныя знакомства, завязанныя въ Петербургѣ, побудили Карамзина испытать свои силы въ роли переводчика. Послѣ смерти отца Карамзинъ вышелъ въ отставку и поѣхалъ на родину. Здѣсь онъ было увлекся разсѣянной и пустой жизнью, но случайная встрѣча съ И. П. Тургеневымъ, обратившимъ вниманіе на талантливаго юношу, спасла Карамзина. Онъ оставилъ провинцію и переехалъ въ Москву. Черезъ Тургенева Карамзинъ познакомился съ Н. И. Новиковымъ и его кружкомъ и сдѣлалъ



Н. М. Карамзинъ.

ся дѣятельнымъ членомъ „Дружескаго ученаго Общества“. Въ это время окончательно опредѣляется его литературное призваніе. Въ 1789 г. Карамзинъ отправился на четыре года за границу и посѣтилъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію. По возвращеніи изъ-за границы Карамзинъ снова поселился въ Москвѣ и сталъ издавать „Московскій Журналъ“, выходящій въ теченіе двухъ лѣтъ. Здѣсь имъ были напечатаны „Письма русскаго путешественника“, повѣсти „Бѣдная Лиза“ и „Наталья боярская дочь“ и длинный рядъ статей и замѣтокъ, посвященныхъ литературѣ и театру. Послѣ перерыва въ десять лѣтъ Карамзинъ вновь занялся журнальной дѣятельностью, начавъ издавать „Вѣстникъ Европы“. Интересъ къ исторіи, сказывавшійся въ Карамзинѣ еще въ юности, заставилъ его въ 1803 г. передать изданіе журнала въ другія руки, чтобы исключительно заняться русской исторіей. 13 лѣтъ посвятилъ Карамзинъ работѣ надъ первыми восемью томами „Исторіи государства русскаго“. Они вышли въ 1818 г. и имѣли громаднѣйшій, небывалый дотошъ успѣхъ. Карамзинъ принялся за продолженіе „Исторіи“. Въ званіи придвор-

наго исторіографа онъ поселился въ Петербургѣ, гдѣ былъ очень близокъ ко двору императора Александра I. Окончить свой историческій трудъ Карамзину не удалось. Смерть застала его за работой надъ двадцатымъ томомъ. Скончался Карамзинъ 22 мая 1826 г.

Первымъ крупнымъ литературнымъ трудомъ Карамзина были „Письма русскаго путешественника“, составившіяся изъ путевого дневника, который онъ велъ во время путешествія, и изъ писемъ, посылавшихся съ чужбины московскимъ друзьямъ.

Германская наука и литература, природа и люди Швейцаріи, общественная жизнь Франціи и государственныя учрежденія Англии, — вотъ къ чему сводится главное содержаніе „Писемъ русскаго путешественника“. Описывая культурную жизнь Запада, Карамзинъ полонъ искренняго желанія приобщить къ ея интересамъ своихъ соотечественниковъ. Если онъ рассказываетъ о своихъ знакомствахъ и бесѣдахъ съ учеными, писателями, онъ не пропускаетъ никогда случая познакомить читателей съ сущностью ихъ научной и литературной дѣятельности, вставляетъ въ письма подробные отчеты о разговорахъ на эти темы, испещряетъ ихъ выписками и указаніями на печатные труды своихъ новыхъ знакомыхъ. Если онъ рассказываетъ, какъ германскіе ученые проводятъ свои досуги, бесѣдуя за стаканомъ вина объ успѣхахъ науки и литературы, читатель невольно чувствуетъ, какъ между строкъ письма встаетъ передъ авторомъ воспоминаніе объ оставленной имъ русской дѣйствительности. Когда онъ говоритъ о пьесахъ французскаго театра или о драмахъ Шекспира, видно, что русскій театръ и отношеніе къ нему русскаго общества заставляютъ автора освѣтить тѣ, а не другія стороны предмета.

Политическая сторона Западно-европейской жизни мало интересовала Карамзина. Такъ, онъ былъ во Франціи въ то время, когда уже раздались первые раскаты французской революціи, видѣлъ короля и королеву, вскорѣ такъ трагически окончившихъ свои дни, бывалъ на засѣданіяхъ Національнаго Собранія, но грандіозный политическій смыслъ развертывавшихся передъ нимъ событій остался внѣ поля его зрѣнія. „Говорить ли о французской революціи“, пишетъ Карамзинъ изъ Парижа въ апрѣлѣ 1790 г.: „вы читаете газеты, слѣдственно происшествія вамъ извѣстны“. Изумившись возможности этихъ „происшествій“ въ странѣ „зефирныхъ“ французовъ и рассказавъ нѣсколько незначачихъ анекдотовъ, Карамзинъ переходитъ къ общимъ разсужденіямъ о „насильственныхъ потрясеніяхъ“. „Всякое гражданское общество, вѣками твержденное, есть святыя для добрыхъ гражданъ, и въ самомъ

несовершеннѣйшемъ надо удивляться чудесной гармоніи, благоустройству, порядку“. Лучшее будущее можетъ быть достигнуто лишь „непримѣтнымъ дѣйствіемъ времени, посредствомъ медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія, добрыхъ нравовъ. Когда люди увѣрятя, что для собственнаго ихъ счастья добродѣтель необходима, тогда настанетъ вѣкъ золотой, и во всякомъ правленіи человѣкъ насладится мирнымъ благополучіемъ жизни. Всякія же насильственныя потрясенія гибельны, и каждый бунтовщикъ готовитъ себѣ эшафотъ“.

„Поэтому“, — заключаетъ свое разсужденіе Карамзинъ, — „предадимъ себя во власть Провидѣнію: Оно, конечно, имѣетъ свой планъ, въ его рукѣ сердца Государей,—и довольно“.

Въ этомъ разсужденіи ясно видны основы тѣхъ положеній, которыя въ 1811 г. Карамзинъ высказалъ въ своей „Запискѣ о старой и новой Россіи“, отмѣченной нами выше, въ главѣ VII. Надо добавить, впрочемъ, что въ годы заграничнаго путешествія Карамзинъ былъ чуждъ національной исключительности. Въ одномъ ученомъ Парижскомъ обществѣ онъ познакомился съ Лебекомъ, авторомъ „Россійской исторіи“ на французскомъ языкѣ. Приведя слова Лебека, что Петра В., „можетъ быть, по справедливости не хотятъ назвать великимъ умомъ, такъ какъ онъ, желая образовать свой народъ, только подражалъ другимъ народамъ“, Карамзинъ возстаетъ противъ этого мнѣнія и горячо защищаетъ Петра. „Путь образованія или просвѣщенія“, говоритъ онъ, „одинъ для всѣхъ народовъ; всѣ они идутъ имъ вслѣдъ другъ за другомъ... Всѣ жалкія іереміады объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной фізіономіи или не что иное, какъ шутка, или происходятъ отъ недостатка въ основательномъ размышленіи... Все народное ничто передъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ!“ Что касается общаго тона „Писемъ“ Карамзина, то, при несомнѣнномъ вліяніи на нихъ западно-европейской сентиментальной литературы, они отличаются своеобразной чувствительностью. Она сказывается въ повышенной душевной настроенности автора, въ интересѣ его къ своимъ внутреннимъ переживаніямъ и въ восторженной любви къ природѣ, что особенно ярко сказалось въ письмахъ изъ Швейцаріи.

Еще ярче, чѣмъ въ „Письмахъ“, проявился сентиментализмъ Карамзина въ его повѣстяхъ, особенно въ „Бѣдной Лизѣ“. Сюжетъ этой повѣсти, имѣвшей въ свое время громадныя успѣхы,

очень несложенъ и сводится къ печальной исторіи любви крестьянской дѣвушки Лизы и богатаго молодого человѣка Эраста. Убѣдившись въ томъ, что Эрастъ разлюбилъ ее и хочетъ, для поправленія своихъ дѣлъ, жениться на богатой вдовѣ, Лиза бросается въ прудъ и погибаетъ. Этотъ сюжетъ вставленъ въ такую бытовую рамку, которая теперь поражаетъ невѣрнымъ, искусственнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности. вмѣсто изображенія трудовой крестьянской жизни и характерныхъ особенностей быта, мы находимъ въ повѣсти какую-то приторно-слащавую картину существованія Лизы и ея матери, причемъ обѣ онѣ, а особенно Лиза, говорятъ языкомъ героинь сентиментальныхъ романовъ. Но не сюжетъ „Бѣдной Лизы“ нравился современникамъ Карамзина. Нравилось ея общее гуманное настроеніе, мысль о томъ, что „и крестьянки чувствовать умѣютъ“, что для любви нѣтъ сословныхъ преградъ; нравились прочувствованныя слова о сердцѣ, его волненіяхъ и страданіяхъ, проникнутыя грустью описанія природы,—словомъ, все то, что было незнакомо читателямъ изъ холодныхъ и напыщенныхъ произведеній ложноклассиковъ. Оцѣнивая „Бѣдную Лизу“ съ исторической точки зрѣнія, Бѣлинскій назвалъ ее „важнымъ памятникомъ, дѣломъ ума человѣка необыкновеннаго“. И дѣйствительно, съ исторической точки зрѣнія значеніе „Бѣдной Лизы“, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сентиментальнаго направленія вообще, очень велико. Впервые русская литература вступила на путь изображенія жизни низшихъ классовъ, расширивъ тѣмъ рамки художественнаго творчества; впервые такъ ясно сказалось на страницахъ художественнаго произведенія отраженіе душевныхъ переживаній автора; наконецъ, при всей приторности слащаваго тона повѣсти, она все же представляетъ поворотный пунктъ къ болѣе простому и искреннему изображенію дѣйствительности.

Какъ въ „Письмахъ“, повѣстяхъ, такъ и въ остальныхъ своихъ трудахъ, особенно же въ журнальныхъ статьяхъ, Карамзинъ является не только главой новаго литературнаго направленія, но и преобразователемъ русскаго литературнаго языка. Мы знаемъ уже тѣ искусственныя рамки, которыми сковала литературный языкъ Ломоносовская теорія трехъ стилей. Главнѣйшимъ ея слѣдствіемъ было разобщеніе языка литературнаго и разговорнаго. Къ уничтоженію этого разобщенія и стремился Карамзинъ въ своей реформѣ языка. Тщательно изгоняя изъ обихода литературной рѣчи славянскіе слова и обороты, Карамзинъ ввелъ много новыхъ словъ, частью заимствованныхъ изъ иностранныхъ языковъ, частью вновь созданныхъ отъ русскихъ корней. Измѣ-

нили Карамзинъ и самое построение литературной рѣчи, подражая болѣе легкому слогу французскихъ писателей. Нововведенія Карамзина, найдя многочисленныхъ послѣдователей, вызвали также немало яростныхъ нападокъ со стороны приверженцевъ старины. Послѣдніе группировались въ литературномъ обществѣ „Бесѣда любителей русскаго слова“, а молодые послѣдователи Карамзина составили литературный кружокъ подъ названіемъ „Арзамасъ“.

Большую часть своей жизни Карамзинъ отдалъ работѣ надъ „Исторіей государства російскаго“. Въ нашу задачу не входитъ указывать на крупныя достоинства этого труда и на его недостатки съ точки зрѣнія современной намъ исторической науки. Въ литературномъ отношеніи „Исторія“ Карамзина останавливаетъ на себѣ вниманіе художественностью нѣкоторыхъ характеристикъ, отголосками сентиментализма, наконецъ языкомъ, въ которомъ Карамзинъ показалъ свое рѣдкое умѣнье пользоваться словами и оборотами старинной рѣчи въ цѣляхъ художественныхъ.

Василій Андреевичъ Жуковскій, съ именемъ котораго обыкновенно связываютъ появленіе романтизма въ русской литературѣ, родился 29 января 1793 г. въ селѣ Мишенскомъ, Бѣлевскаго уѣзда Тульской губерніи. Сынъ помѣщика Бунина и плѣнной турчанки, онъ получилъ отчество и фамилію своего крестнаго отца. Раннее дѣтство Жуковскій провелъ въ деревнѣ, среди женскаго общества, что не осталось безъ вліянія на развитіе въ немъ нѣжной мечтательности, которой проникнуто его творчество. Образование Жуковскій получилъ въ Московскомъ благородномъ университетскомъ пансіонѣ, воспитанники котораго много занимались литературой. По окончаніи курса Жуковскій поступилъ было на службу, но вскорѣ оставилъ ее и уѣхалъ на родину. Къ этому времени относятся его первые литературные опыты, отмѣченные вліяніемъ Державина и Карамзина. Занимаясь воспитаніемъ своихъ племянницъ, Жуковскій полюбилъ одну изъ нихъ, хотѣлъ на ней жениться, но встрѣтилъ препятствіе со стороны ея матери. Отголоски этого романа слышны во многихъ его произведеніяхъ на всеъ протяженіи его литературной дѣятельности („Теонъ и Эсхинъ“, „Узникъ“, „Вѣрность до гроба“ и др.). Въ 1812 г. Жуковскій поступилъ въ московское ополченіе, но вскорѣ заболѣлъ и оставилъ службу. Передъ сраженіемъ при Тарутинѣ у него явилась мысль написать поэму „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“. Это произведеніе сдѣлало Жуковскаго извѣст-

нымъ при дворѣ. Онъ занимаетъ мѣсто тѣца при императрицѣ Маріи Теодоровнѣ, потомъ назначается учителемъ русскаго языка одной изъ великихъ княженъ, а по вступленіи на престолъ Николая I его приглашаютъ на должность воспитателя наслѣдника Александра Николаевича, будущаго царя-освободителя. Живя въ Петербургѣ и поддерживая тѣсныя связи съ русскими писателями, Жуковскій принималъ участіе въ образованіи уже упомянутого нами „Арзамаса“—общества молодыхъ литераторовъ. Къ этому времени относится большинство его переводовъ съ нѣмецкаго, которые онъ дѣлалъ для своей ученицы, а потомъ издалъ въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ подъ названіемъ „Для немногихъ“. Съ 1821 г. начинается рядъ его путешествій по Европѣ, еще болѣе сблизившихъ его съ міромъ нѣмецкой поэзіи. Въ 1837 году онъ совершилъ вмѣстѣ съ Наслѣдникомъ большое путешествіе по Россіи, причемъ по ходатайству наслѣдника, бывшаго подъ сильнымъ вліяніемъ Жуковскаго, нѣсколько смягчена была участь декабристовъ. Въ 1841 г. Жуковскій женился за границей и остатокъ своей жизни прожилъ въ Германіи, гдѣ и умеръ въ 1852 г.



В. А. Жуковскій.

Оставляя въ сторонѣ школьныя попытки Жуковскаго, первымъ его серьезнымъ произведеніемъ надо считать элегію „Сельское кладбище“. Эта пьеса—переводъ изъ англійскаго поэта Грея, но Жуковскій не рабски скопировалъ подлинникъ, а сдѣлалъ выпуски, добавленія, измѣненія, придавъ элегіи въ значительной степени личную окраску. Въ этой пьесѣ Жуковскій не выходитъ изъ рамокъ сентиментализма. Ночной пейзажъ, съ луной, крикомъ совы, полуразвалившейся башней, съ деревьями, осѣ-

няющими могилы „праотцевъ села“,—все это какъ нельзя лучше настраиваетъ чувство автора на элегическій ладъ, а чувство окрашиваетъ и мысль автора, направляя ее къ разсужденіямъ о тлѣнности всего земного, о ничтожествѣ человѣческой жизни. Смерть уравниваетъ всѣхъ: царя, „любимца славы“, и поселянина, мирно почивающаго на родномъ кладбищѣ. Для чего же тогда гордость, презрѣніе къ бѣднымъ и ничтожнымъ? „Рабы суетъ“ не должны ихъ презирать еще и потому, что эти скромные люди,—быть можетъ, носители прекрасныхъ возможностей, которыхъ они не могли осуществить только потому, что—

Ихъ рокъ обременилъ убожества цѣпями,
Ихъ геній строгою нуждою умерщвленъ.

Конецъ стихотворенія, гдѣ наиболѣе сказывается личная окраска, приданная Жуковскимъ переводу, посвященъ размышленіямъ поэта о собственной своей судьбѣ. Ему грезится близкая смерть, могила, на которую „чувствительный придетъ, мечтой сопровождаемый“. Онъ представляетъ себѣ, какъ пастухъ-поселянинъ будетъ говорить путнику о его любви къ природѣ, о его „горести безпечной, молчаливой“. Слова поселянина подтвердить надгробная надпись: онъ скажетъ, что здѣсь лежитъ прахъ юноши, не знавшаго счастья въ жизни, отмѣченнаго „печатью меланхоли“, съ кроткимъ сердцемъ и „чувствительной душой“.

Можно указать еще цѣлый рядъ стихотвореній, въ которыхъ Жуковскій является типичнымъ сентименталистомъ, но слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что грустное чувство, проникающее эти стихотворенія, не было слѣдствіемъ простаго подражанія, а явилось въ результатѣ глубокихъ и искреннихъ переживаній. Особенно слѣдуетъ это сказать про тѣ стихотворенія Жуковского, въ которыхъ отразились различные моменты его неудачной любви („Эолова арфа“, „Жалоба пастуха“, „Нина“, „Къ Эммѣ“).

Грустное чувство, которымъ проникнуты эти стихотворенія, не носятъ безнадежнаго отчаянія: память о прошломъ, „святое прежде“, и надежды на счастье [„тамъ“, за предѣлами земной жизни,] придаютъ настроенію поэта мягкій, мечтательно-задумчивый характеръ.

Эта особенность элегическаго настроенія Жуковскаго ясно видна въ его стихотвореніи „Теонъ и Эхинъ“. Юный Эхинъ, долго бродившій по свѣту въ поискахъ за счастьемъ, возвращается домой. Въ его душѣ „скука смѣнила надежду“. Его другъ Теонъ въ задумчивости сидитъ на берегу „багрянаго“ моря, близъ мраморной гробницы; его взоръ „прискорбенъ, но ясенъ“.

Пришлецъ изливаетъ передъ другомъ горькія жалобы на обманувшія его надежды. Теонъ, схоронившій свое счастье въ мраморной гробницѣ, далека отъ безнадежнаго отчаянія своего друга и объясняетъ его настроеніе тѣмъ, что онъ искалъ въ жизни „измѣняющихся благъ“, „наслажденій минутныхъ“, забылъ о другихъ, „нетлѣнныхъ“ благахъ: о любви и о „сладости возвышенныхъ мыслей“. Надъ этими благами невластны ни судьба, ни время, ни самая смерть: „для сердца прошедшее вѣчно“, какъ вѣчно и неистребимо въ человѣческой душѣ стремленіе къ возвышенной цѣли. Теонъ сберегъ въ своей душѣ эти блага, и потому онъ чуждъ отчаянія, онъ знаетъ,

Что гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ
Погибшее намъ возвратится...
Въ сей сладкой надеждѣ я выше судьбы,
И жизнь мнѣ земная священна;
При мысли великой, что я человѣкъ,
Всегда возвышаюсь душою.
Сей гробъ—затворенная къ счастью дверь.
Отворится... Жду и надѣюсь...

Стихотвореніе оканчивается бодрымъ аккордомъ, въ которомъ вскрывается религіозная основа всего міросозерцанія Теона, устами котораго говоритъ самъ Жуковскій:

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,
Все въ жизни—къ великому средство;
И горе, и радость—все къ цѣли одной:
Хвала живодавцу Зевесу!

Кромѣ вліянія сентиментализма, въ раннихъ произведеніяхъ Жуковского замѣтны также отраженія ложноклассицизма. Нельзя, напримѣръ, не отмѣтить, что даже въ „Теонъ и Эсхинъ,“ перенеся дѣйствіе въ Грецію, сдѣлавъ Теона, грека по имени, выразителемъ чисто христіанскаго міросозерцанія, Жуковскій отдалъ дань ложноклассическимъ вѣяніямъ. Особенно замѣтно вліяніе ложноклассицизма въ его патріотическихъ стихотвореніяхъ, напримѣръ, въ „Пѣснѣ барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей“ и въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“. Правда, въ послѣднемъ стихотвореніи есть и искреннія мѣста, особенно тамъ, гдѣ пѣвецъ воспоминаетъ родину и оставшихся тамъ милыхъ, но всетаки генералы двѣнадцатаго года изображаются въ видѣ греческихъ и римскихъ героевъ, со шлемами и щитами, а главное—изъ-за вождей, разукрашенныхъ на древне-геронической ладъ, поэтъ совсѣмъ не разглядѣлъ народа, напрягавшаго всѣ свои силы въ борьбѣ съ величайшимъ противникомъ. Это было уже

совершенно во вкусѣ ложноклассицизма, не умѣвшего спускаться съ героическихъ вершинъ до уровня жизни обыкновенныхъ людей.

Литературной формой, которой наиболѣе охотно пользовался Жуковскій, была баллада. Громадное большинство балладъ Жуковского представляютъ изъ себя передѣлки или переводы балладъ иностранныхъ авторовъ.

Едва ли не наибольшій успѣхъ имѣла баллада Жуковского „Людмила“, представляющая вольный переводъ баллады Бюргера „Ленора“. Изъ похода возвращаются воины, но тщетно Людмила ищетъ среди нихъ своего милаго. Въ отчаяніи она ропщетъ на Бога и зоветъ смерть. Наступаетъ ночь, и въ ея „свѣтломъ сумракѣ“ передъ Людмилой появляется милый, примчавшійся изъ чужой земли, покинувшій свой домъ. А домъ его—

Хладенъ, тихъ, уединенный,
Свѣжимъ дерномъ покровенный...
Саванъ, крестъ и шесть досокъ.

Прильнувъ къ милому, Людмила скачетъ съ нимъ при свѣтѣ мѣсяца. Въ полѣ вспыхиваютъ огни. Слышится шорохъ тѣней, „свивающихся въ воздушный хороводъ“. При первомъ мерцаніи утра путники примчались къ могилѣ и упали въ нее. Людмила видитъ трупъ своего милаго. Онъ зоветъ ее, манитъ къ себѣ. А изъ могилы поднялись тѣни усопшихъ, и—

... страшный хоръ завылъ:
„Смертныхъ ропотъ безразсуденъ,
Царь всевышній правосуденъ,
Твой услышалъ гласъ Творецъ;
Часъ твой бить, насталъ конецъ!“

Въ „Людмилѣ“ сказались всѣ достоинства и недостатки самостоятельныхъ или передѣланныхъ балладъ Жуковского: легкая, изящная форма, а въ содержаніи чрезмѣрное нагроможденіе чисто внѣшнихъ ужасовъ, за которыми совсѣмъ исчезаетъ изображеніе душевныхъ движеній дѣйствующихъ лицъ.

Особое мѣсто среди балладъ Жуковского занимаютъ его многочисленные переводы изъ Шиллера, любимаго его нѣмецкаго поэта. Шиллеровскія баллады по содержанію можно раздѣлить на двѣ группы: на греческія и средневѣковыя.

Одухотворенный взглядъ на природу („Жалоба Цереры“), сознание непрочности человѣческаго счастья передъ неотвратимой силой судьбы, омрачающее ликующую красоту греческой жизни („Поликратовъ перстень“, „Торжество побѣдителей“),—вотъ основ-

ныя темы балладъ первой группы. Въ средневѣковыхъ балладахъ Шиллеръ даетъ картины рыцарской жизни, представленныя въ свѣтѣ тѣхъ воззрѣній, которыя сложились въ средніе вѣка. Здѣсь любовь, охватывающая все существо человѣка, неутолимая ни шумомъ битвы, ни тишиной монашеской кельи („Рыцарь Тогенбургъ“), любовь, заставляющая кинуться въ пучину, чтобы заслужить руку красавицы („Кубокъ“). Здѣсь благочестивый рыцарь, будущій императоръ, въ набожномъ смиреніи склоняющійся передъ сельскимъ пастыремъ („Графъ Габсбургскій“), или отважный юноша, побѣждающій чудовище, губившее родину, и смиренно цѣлующій руку начальника, который осудилъ его за нарушение правилъ рыцарскаго ордена („Сраженіе со змѣемъ“).

Нетрудно замѣтить и въ греческихъ, и въ средневѣковыхъ балладахъ Шиллера мотивы, созвучные душевному настроенію Жуковскаго. Немудрено поэтому, что его легкіе музыкальные переводы Шиллеровскихъ балладъ производятъ иногда впечатлѣніе самостоятельныхъ вдохновеній. Это примѣнимо ко всѣмъ переводамъ Жуковскаго. Онъ самъ писалъ однажды: „У меня наиболѣе свѣтлыхъ мыслей тогда, когда надо ихъ импровизировать въ возраженіе или дополненіе чужихъ мыслей. Мой умъ, какъ огниво, которымъ нужно ударить о камень, чтобы выскочила искра—это вообще характеръ моего авторскаго творчества: у меня все чужое или по поводу чужого—и все, однако, мое“.

Мы уже упомянули, что съ именемъ Жуковскаго связываютъ появленіе романтизма въ русской литературѣ. Взглядъ этотъ нуждается въ нѣкоторыхъ ограниченіяхъ. Мы видѣли, что по мотивамъ своей интимной лирики Жуковскій стоитъ всего ближе къ сентиментальному направленію. Переводя романтическія баллады Шиллера, онъ свѣтилъ не самостоятельнымъ, а отраженнымъ свѣтомъ. А если мы обратимся къ представленной въ началѣ главы характеристикѣ романтизма, какъ литературнаго направленія, наиболѣе ярко и сильно выразившаго вѣчное стремленіе человѣка освободиться отъ путъ, связывающихъ его въ области ума, чувства и воли, и взглянемъ на Жуковскаго съ этой точки зрѣнія,—мы не найдемъ въ его поэзіи многихъ основныхъ чертъ, характерныхъ для романтизма. Лишь одна черта дѣйствительно прочно роднитъ Жуковскаго съ романтиками: его возвышенный взглядъ на поэзію и призваніе поэта. Этотъ взглядъ съ особенной выразительностью сказался въ драматической поэмѣ „Камоэнсъ“. Устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ поэмы Жуковскій говоритъ о поэтическомъ служеніи, какъ о подвигѣ. Посвятившій себя ему долженъ быть—

.... крыломъ могучимъ,
Подъемлющимъ родныя... сердца
На высоту; зарей, побѣду дня
Предвозвѣщающей; великихъ думъ
Воспламенителемъ, глаголомъ правды,
Лѣкарствомъ душъ, безвѣриемъ крушимыхъ,
И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
Которою предъ нами горній міръ
Задернуть, чтобъ порой для смертныхъ глазъ
Ее приподнимать и святость жизни
Являть во всей ея красѣ небесной..

Проповѣдь такого романтическаго взгляда на поэзію большая заслуга Жуковскаго, такъ какъ до него смотрѣли на поэзію, въ лучшемъ случаѣ, какъ на благородную забаву, „украшающую“ жизнь.

Въ общемъ, опредѣляя значеніе Жуковскаго въ исторіи русской литературы, приходится говорить не столько объ его романтизмѣ, сколько о томъ, что онъ пріобщилъ насъ къ сокровищницѣ западно-европейской поэзіи, а въ мелодическихъ и легкихъ стихахъ своихъ самостоятельныхъ стихотвореній показалъ великую цѣнность поэтическаго выраженія переживаній идеально-настроенной души.

IX.

К. Ѡ. Рылѣевъ.

Среди русскихъ поэтовъ первой четверти XIX в., которыхъ коснулись романтическія вѣянія, К. Ѡ. Рылѣевъ занимаетъ совершенно особое мѣсто, являясь единственнымъ поэтомъ той эпохи, который мотивами своихъ произведеній избралъ гражданское чувство и политическую мысль.

Кондратій Ѡеодоровичъ Рылѣевъ родился 18 сентября 1795 г. въ небольшой деревушкѣ своего отца, недалеко отъ Петербурга.

Тяжелое дѣтство подъ гнетомъ строгаго, иногда жестокаго отца смѣнилось суровой жизнью кадетскаго корпуса, куда Рылѣева отдали въ 1801 г. Въ 1814 году Рылѣевъ былъ выпущенъ изъ корпуса прапорщикомъ артиллеріи и почти сейчасъ же былъ отправленъ въ дѣйствующую армію. Какъ участникъ заграничныхъ походовъ, Рылѣевъ побывалъ въ Швейцаріи, Германіи и Франціи, и впечатлѣнія, вынесенныя изъ-за границы, оставили глубокіе слѣды въ его душѣ. Женившись и выйдя въ отставку, Рылѣевъ въ 1820 г. поселился въ Петербургѣ. Съ этого времени начинается его литературная дѣятельность, отъ которой

его не отвлекли ни служба по судебному вѣдомству, ни занятія въ одномъ крупномъ торговомъ предпріятіи. Блестящія дарованія Рылѣева, одушевлявшія его гражданскія чувства скоро сблизили его съ руководителями такъ называемаго „Сѣвернаго Общества“, изъ котораго вышли главные дѣятели возстанія декабристовъ. Рылѣевъ быстро занялъ тамъ одно изъ видныхъ мѣстъ. Нельзя сказать, чтобы политическая программа Рылѣева отличалась полной опредѣленностью, можно лишь отмѣтить яркую демократичность его убѣждений. Въ день 14 декабря 1825 г. Рылѣевъ одинъ изъ первыхъ явился на площадь, одѣтый въ солдатское платье и готовый стать въ ряды возставшихъ войскъ. Рылѣевъ былъ арестованъ въ ту же ночь и послѣ допроса во дворцѣ отвезенъ въ Алексѣевскій равелинъ Петропавловской крѣпости. 13 іюля 1826 г. Рылѣевъ былъ повѣшенъ.

Начало литературной дѣятельности Рылѣева относится къ 1820 г., когда появилось его стихотвореніе „Временщику“. Читаящая публика легко узнала подъ покровомъ этого заглавія всесильнаго Аракчеева, и въ кружкахъ либерально настроенной молодежи стихотвореніе сразу создало Рылѣеву извѣстность. Начинается оно крайне энергичными стихами:

Надменный временщикъ, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый лстецъ и другъ неблагодарный,
Неистовый тиранъ родной страны своей,
Внесенный въ важный санъ пронырствами злодѣй!
Ты на меня взирать съ презрѣніемъ дерзашь
И въ грозномъ взорѣ мнѣ свой ярый гнѣвъ являешь.
Твоимъ вниманіемъ не дорожу, подлецъ!
Изъ устъ твоихъ хула—достойныхъ хвалъ вѣнецъ!

Поэту вспоминаются герои сѣдой древности, спасавшіе согражданъ отъ тирановъ. Онъ съ восторгомъ воспѣлъ бы того, кто освободитъ его родину отъ временщика. Но если такого человѣка нѣтъ, все равно: народъ отмститъ самъ за себя, „разъяренный тиранствами“, и если даже—

...Злобный рокъ, злодѣя полюбя,
Отъ справедливой мзды и сохранить тебя,—
Все трепещи, тиранъ! За зло и вѣроломство
Тебѣ свой приговоръ произнесетъ потомство!

Въ 1824 г. появились „Думы“ Рылѣева. Это былъ стихотворный сборникъ историческихъ картинъ. Значительная идеализация, приукрашенность старины, пристрастіе къ исключительно сильнымъ личностямъ,—вотъ романтическія черты этихъ произведеній Рылѣева.

Сюжеты для думъ выбраны съ опредѣленной, ярко бьющей въ глаза цѣлью: автору хотѣлось дать своимъ современникамъ уроки гражданской доблести, уроки наглядные, воплощенные въ историческихъ личностяхъ. Передъ нами проходитъ полулегендарный новгородецъ Вадимъ, который сѣтуетъ „на хладъ убійственный согражданъ къ правамъ своимъ“ и желаетъ „насилъственно“ спасти ихъ отъ власти пришельцевъ-варяговъ; Мстиславъ Удалой, готовый пожертвовать собой за родину, выходя на страшное единоборство; Ермакъ, удалой разбойникъ, искупающій грѣхи буйной молодости патріотическимъ дѣломъ; благородный гражданинъ Волынской, казненный по повелѣнію Анны Иоановны, а рядомъ съ нимъ сама императрица, которой среди шума пировъ является кровавый призракъ и зоветъ „къ Творцу, на судъ священный, гдѣ каждый восприметъ мзду: равны тамъ рабъ и царь надменный“. Художественная сторона „Думъ“ Рылѣва довольно слаба: мѣстами онѣ прозаичны и страдаютъ длиннотами, но эти недостатки искупаются искренностью и силой гражданского чувства, которыми проникнуты эти историческія картины.

Въ двухъ поэмахъ Рылѣва—„Войнаровский“ и „Наливайко“, особенно въ послѣдней, звучатъ чисто политическіе мотивы. Первая поэма на фонѣ величественной и суровой природы сѣвера Сибири рисуется намъ судьбу Войнаровскаго, родственника Мазепы, принявшаго участіе въ борьбѣ за свободу Украйны и гибнущаго въ ссылкѣ. Герой второй поэмы—Наливайко, борецъ за освобожденіе казачества отъ власти ляховъ. Образъ Наливайка удался Рылѣву болѣе всѣхъ другихъ, имъ созданныхъ. Наливайко рѣшается поднять свой мечъ для освобожденія родины и, какъ набожный христіанинъ, очищаетъ свою душу исповѣдью въ Кіево-Печерской обители. Инокъ-духовникъ говоритъ ему о грѣхѣ кровопролитія. Наливайко знаетъ это, но ради освобожденія родины онъ готовъ принять на свою душу и не такую тяжесть. Онъ не скрываетъ отъ себя, что его ждетъ гибель:

Извѣстно мнѣ: погибель ждетъ
Того, кто первый возстаетъ
На утѣснителей народа;
Судьба меня ужъ обрекла.
Но гдѣ, скажи, когда была
Безъ жертвъ искуплена свобода?

Въ концѣ своей недолгой литературной дѣятельности Рылѣвъ почти оставилъ историческія темы, перейдя къ чисто-лирическимъ стихотвореніямъ, которыя болѣе отвѣчали и свойствамъ

его таланта, и его политическому настроенію, годъ отъ года повышавшемся. Въ этихъ стихотвореніяхъ много пламеннаго гражданскаго чувства, много энергичнаго негодованія. Романтическія грезы, неопредѣленные мечтанія, дружба, даже любовь не находятъ отклика въ сердцѣ поэта:

Мнѣ не любовь теперь нужна,
Занятя нужны мнѣ иныя,
Отраднa мнѣ одна война,
Однѣ тревоги боевыя.
Любовь никакъ нейдетъ на умъ.
Увы! Моя отчизна страждетъ:
Душа въ волненьи тяжкихъ думъ
Теперь одной свободы жаждетъ.

Онъ пишетъ прочувствованные стихи на смерть Байрона, которой „рады одни тираны и рабы“, но онъ вспоминаетъ въ нихъ не Байрона-поэта, а Байрона, борца за свободу возставшей Греціи. Наконецъ, предвосхищая энергію Лермонтовскаго стиха и высокой тонъ гражданскихъ мотивовъ Некрасова, онъ въ декабрѣ 1825 г., незадолго до кровавой развязки заговора декабристовъ, пишетъ свое политическое и вмѣстѣ поэтическое завѣщаніе:

Я ль буду въ роковое время
Позорить гражданина санъ
И подражать тебѣ, избѣженное племя
Переродившихся славянъ?
Нѣтъ, неспособенъ я въ объятяхъ сладострастья,
Въ постыдной праздности влачить свой вѣкъ молодой
И изнывать кипящую душой
Подъ тяжкимъ игомъ самовластья!
Пусть юноши, не разгадавъ судьбы,
Постигнуть не хотятъ предназначенья вѣка
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу челоуѣка.
Пусть съ хладнокровіемъ бросаютъ хладный взоръ
На бѣдствія страдающей отчизны
И не читаютъ въ нихъ грядущій свой позоръ
И справедливыя потомковъ укоризны.
Они раскаются, когда народъ, возставъ,
Застанетъ ихъ въ объятяхъ праздной нѣги
И, въ бурномъ мятежѣ ища свободныхъ правъ,
Въ нихъ не найдетъ ни Брута, ни Ріеги.

„Онъ идетъ своей дорогой“, писалъ про стихи Рылѣева Пушкинъ. И дѣйствительно, Рылѣевъ оставилъ свой, „неподражательный“ слѣдъ въ литературѣ Александровскаго времени, дополнивъ ея сентиментальное и мечтательно-романтическое настроеніе звуками, внушенными бодрымъ, боевымъ гражданскимъ и политическимъ чувствомъ.

X.

И. А. Крыловъ. А. С. Грибоѣдовъ.

Одновременно съ писателями, отразившими въ своихъ произведеніяхъ вліянія западно-европейскаго сентиментализма и романтизма, выступаютъ писатели, творчество которыхъ и по содержанию, и по духу отличается замѣтной самостоятельностью. Ихъ произведенія близко воспроизводятъ русскую жизнь и отмѣчены яркимъ отпечаткомъ русскаго національнаго характера. Быть можетъ, яснѣе всего этотъ національный характеръ сказался въ сатирическомъ, обличительномъ направленіи ихъ произведеній. Этими писателями были И. А. Крыловъ и А. С. Грибоѣдовъ.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ родился 2 февраля 1768 года въ семьѣ бѣднаго армейскаго офицера, служившаго затѣмъ нѣкоторое время чиновникомъ въ тверскомъ губернскомъ магистратѣ. Не получивъ никакого правильнаго образованія, Крыловъ рано началъ самостоятельную трудовую жизнь, которая близко познакомила его съ народной средою. Въ 1782 г. Крыловъ перѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ на службу въ казенную палату. Въ Петербургѣ ему посчастливилось завязать знакомства съ представителями театральнаго и литературнаго міра. Онъ увлекся театромъ и вскорѣ самъ выступилъ въ качествѣ драматурга съ комической оперой „Кофейница“. Пробовалъ Крыловъ писать и трагедіи въ господствовавшемъ тогда ложно-классическомъ духѣ, но онѣ успѣха не имѣли. Въ 1789 г. Крыловъ выступилъ на журнальное поприще, издавая до 1793 г. послѣдовательно журналы: „Почта духовъ“, „Зритель“ и „С.-Петербургскій Меркурій“. Съ 1793 г., прекративъ журнальную дѣятельность, Крыловъ до 1806 г. скитался по Россіи,—большею частью, безъ опредѣленныхъ занятій. Въ 1806 г. Крыловъ вернулся въ Петербургъ и въ томъ же году напечаталъ первую свою басню „Дубъ и Трость“, переведенную изъ французскаго писателя Лафонтена. Съ этихъ поръ онъ пишетъ почти исключительно басни. Первое ихъ изданіе, вышедшее въ 1809 г., имѣло громадный успѣхъ. Почетный гость въ литературныхъ кругахъ, писатель, извѣстный при дворѣ,—Крыловъ въ 1812 г. получилъ мѣсто въ Публичной библіотекѣ и съ тѣхъ поръ до самой смерти велъ спокойную, лѣнливую жизнь созерцателя, со спокойной насмѣшкой глядящаго со стороны на все его окружающее. Онъ скончался 9 января 1844 г.

Литературная дѣятельность Крылова началась еще въ Екатеринскую эпоху и выразилась, главнымъ образомъ, въ статьяхъ, помѣщенныхъ имъ въ сатирическихъ журналахъ. Слѣдное при- страстіе ко всему французскому и, какъ слѣдствіе этого явленія, упадокъ семейной нравственности, взяточничество, неправосудіе и безконечная волокита тогдашнихъ судовъ, тяжелое положеніе крестьянъ подъ властью помѣщиковъ,—вотъ главные темы журнальныхъ статей Крылова. Изъ нихъ особеннымъ остроуміемъ отличается „Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ“, съ удивительно тонкимъ юморомъ осмѣивающая нравы и бытъ стариннаго дворянства. Надо замѣтить, что общій тонъ статей Крылова отличается большой смѣлостью, силой, даже страстностью, составляя рѣзкій контрастъ съ добродушно-лукавымъ спокойствіемъ Крылова-баснописца.

Окончательно, какъ говорится, нашелъ себя Крыловъ уже во второй половинѣ жизни, къ концу четвертаго десятка, когда занялся исключительно баснями. Нѣтъ надобности говорить о содержаніи громаднаго большинства басенъ Крылова: онѣ давно уже стали достояніемъ всѣхъ грамотныхъ людей, особенно тѣхъ изъ нихъ, которые осмѣиваютъ общечеловѣческіе пороки и слабости: черствый эгоизмъ („Лягушки и Юпитеръ“, „Стрекоза и Муравей“), неблагодарность („Волкъ и Журавль“), невѣжество и глупость („Мартышка и Очки“, „Свинья подъ дубомъ“, „Оселъ и Соловей“), надутую спѣсь („Гуси“) и пр. Въ этихъ басняхъ Крыловъ затронулъ русскую жизнь лишь постольку, поскольку русскіе являются людьми вообще.

Повторяя въ значительной степени мотивы своихъ журнальныхъ статей, но облачая ихъ въ болѣе мягкую форму, Крыловъ касается въ нѣкоторыхъ своихъ басняхъ и спеціально-русскихъ золъ: взяточничества судей, ихъ стремленія запутать истину пустыми формальностями и крючкотворствомъ („Крестьянинъ и Овца“, „Щука“, „Лисица и Сурокъ“), тяжелаго положенія низшихъ классовъ, отданныхъ во власть глупыхъ или продажныхъ чиновниковъ („Слонъ на воеводствѣ“, „Крестьянинъ и Рѣка“), нелѣпой постановки воспитанія („Крестьянинъ и Змѣя“, „Кукушка и Горленка“).

Къ этому отдѣлу близко примыкаютъ басни, обязанныя своимъ появленіемъ историческимъ лицамъ и событіямъ,—главнымъ образомъ, изъ эпохи отечественной войны („Волкъ на псарнѣ“, „Ворона и Курица“, „Обозъ“, „Щука и Котъ“).

Сатирикъ, обличитель по складу своей природы и особенно- стямъ дарованія,—Крыловъ слабъ въ тѣхъ басняхъ, гдѣ отъ жи-

вой, реальной дѣйствительности онъ переходитъ къ отвлеченному рѣшенію основныхъ вопросовъ общественной жизни: о цѣнности знанія, о свободѣ слова, о политической свободѣ. Быть можетъ, здѣсь сказалось скучное и несистематическое образованіе, полученное Крыловымъ.

Когда въ баснѣ „Червонецъ“ Крыловъ, отвѣчая на вопросъ: „Полезно-ль просвѣщеніе?“—говорить намъ:

Полезно, слова нѣтъ о томъ;
Но просвѣщеніемъ зовемъ
Мы часто роскоши прельщеніе
И даже нравовъ развращеніе,—

для насъ ясно, что Крыловъ отвергаетъ мнимую, наружно-европейскую образованность. Но басня „Водолазы“, отвѣчающая на тотъ же вопросъ, уже не такъ проста и вызываетъ совсѣмъ другое къ ней отношеніе. Какой-то царь впалъ въ страшное сомнѣніе:

Не болѣе-ль вреда, чѣмъ пользы отъ наукъ?
Не расслабляетъ ли сердце и руки
Ученіе?

И не разумнѣе-ль поступить онъ,
Когда ученыхъ всѣхъ изъ царства выплеть вонъ?

Сомнѣнія царя разрѣшаетъ пустынный, рассказывающій ему притчу о рыбацкѣ и трехъ его сыновьяхъ. Послѣ смерти отца они бросили его промыселъ и, въ жаднѣ быстрого обогащенія, занялись добываніемъ жемчуга. Одинъ изъ нихъ, лѣнивый, собиралъ лишь тотъ жемчугъ, который выбрасывали на берегъ волны; другой, „умѣя выбирать по силѣ глубину“, отыскивалъ жемчугъ на днѣ и „жилъ, всечасно богатѣя“; третій, желая разбогатѣть сразу, бросился въ страшную глубину и погибъ тамъ. Пустынный заключилъ свою притчу такъ:

Хотя въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину,
Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ,
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

Этой неудачной притчей, приравнивающей научную жажду къ жаднѣ матеріальныхъ благъ, Крыловъ ясно говоритъ о своемъ враждебномъ отношеніи къ пытливой, смѣлой и творческой работѣ научной мысли, которую онъ подмѣниваетъ умѣреннымъ стремленіемъ къ полужнанію. Въ баснѣ „Огородникъ и Философъ“ научнымъ познаніемъ послѣдняго противопоставлена смекалка простого русскаго работника, „прилежность и навыкъ“. Правда, философъ былъ „недоученный, лишь изъ книгъ болтавшій про

огороды“, но не въ томъ дѣло, что онъ недоучка, а въ томъ, что у него отсутствуетъ опытъ,—„пошлый опытъ, умъ глушцовъ“, по крылатому слову Некрасова. Такимъ же умѣреннымъ и осторожнымъ является Крыловъ въ вопросахъ о свободѣ слова и свободѣ политической („Сочинитель и разбойникъ“, „Конь и всадникъ“). Не надо снимать узды съ ретиваго коня: онъ сброситъ и разобьетъ сѣдока. Держите въ уздѣ и народъ:

Какъ ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мѣра не дана.

Сочинитель вреднѣе разбойника: разбойникъ умеръ, и насталъ конецъ его злодѣянιάмъ, а сочинитель губитъ людей и послѣ своей смерти,—своими сочиненіями, въ которыхъ „разлить тонкій ядъ“ безвѣрія, разврата, разрушенія всѣхъ вѣками признанныхъ устоевъ жизни. Крыловъ ничего не говоритъ здѣсь о своемъ отношеніи къ свободѣ слова, но практической выводъ изъ басни слишкомъ былъ ясенъ, чтобы нуждаться въ указаніяхъ, особенно въ условіяхъ тогдашней русской дѣйствительности.

Уже много лѣтъ басни Крылова—любимое достояніе русскаго общества. И такъ будетъ, вѣроятно, еще долго. На чемъ же основана ихъ неизмѣнная притягательная сила? Не на томъ, конечно, что онѣ уносятъ насъ въ область высокаго идеала, заставляютъ забывать о прозѣ жизни, не на тѣхъ отвѣтахъ, которые онѣ даютъ на вопросы общественные и политическіе, а на томъ, что, съ рѣдкой художественностью изображая обыденную жизнь, онѣ даютъ намъ почувствовать за этими изображеніями трезвую мысль, простое, чуждое хитросплетеній пониманіе дѣйствительности. Не говоримъ про общій ихъ складъ, про языкъ, блещущіе всѣми красками колоритной народной рѣчи: въ этомъ отношеніи ихъ притягательная сила едва ли когда будетъ превзойдена.

Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ родился въ Москвѣ 4 января 1795 г. въ богатой, аристократической семьѣ. Послѣ прекрасной домашней подготовки Грибоѣдовъ 15 лѣтъ поступилъ въ Московскій университетъ. Обладая разносторонними и блестящими способностями, Грибоѣдовъ, будучи въ университетѣ, занимается и музыкой, и литературой, и языками. Въ 1812 г. Грибоѣдовъ поступилъ на военную службу, но участвовать въ военныхъ дѣйствіяхъ ему не пришлось. Въ 1816 г. Грибоѣдовъ вышелъ въ отставку и поселился въ Петербургѣ, поступивъ на

службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. Увлеченіе театромъ сблизило его съ тогдашними драматическими писателями, а вскорѣ онъ и самъ испробовалъ свои силы, передѣлавъ съ французскаго нѣсколько пьесъ и написавъ самостоятельную комедію „Студентъ“. Въ 1819 г. Грибоѣдовъ отправился въ Персію и поселился въ Тавриздѣ, занимая должность секретаря русскаго посольства. Здѣсь онъ усиленно занялся работой надъ комедіей „Горе отъ ума“, наброски которой были сдѣланы еще въ Россіи. Тяготясь жизнью на чужбинѣ, Грибоѣдовъ перевелся въ Тифлисъ. Въ 1823 г. онъ уѣхалъ въ Европейскую Россію. Въ Москвѣ знакомыя впечатлѣнія съ новой силой нахлынули на Грибоѣдова, и



А. С. Грибоѣдовъ.

въ 1824 г. „Горе отъ ума“ было окончено. Разойдясь въ массѣ списковъ, возбудивъ восторгъ молодежи и негодованіе московскаго служилаго барства, комедія Грибоѣдова не была при его жизни ни напечатана (цѣликомъ), ни поставлена на сценѣ. Переѣхавъ въ Петербургъ, куда его влекли дружескія и литературныя связи, Грибоѣдовъ хотѣлъ окончательно выйти въ отставку. Онъ мечталъ о путешествіи за границу, о литературныхъ занятіяхъ. Уступая настояніямъ матери, Грибоѣдовъ оставилъ свои планы и отправился снова служить на Кавказъ. Здѣсь въ началѣ 1826 г. онъ былъ арестованъ, благодаря знакомствамъ съ нѣкоторыми изъ декабристовъ, и привезенъ въ

Петербургъ. Дѣло кончилось ничѣмъ, и Грибоѣдовъ снова вернулся къ служебной дѣятельности. Благодаря рѣдкой энергіи, знацію быта и языковъ Востока, Грибоѣдовъ скоро достигъ высокаго поста полномочнаго министра при персидскомъ дворѣ въ Тавриздѣ. Здѣсь 30 января 1829 г. онъ былъ убитъ взбунтовавшейся персидской чернью.

Почетное мѣсто въ ряду величайшихъ русскихъ писателей дала Грибоѣдову его комедія „Горе отъ ума“. Интрига комедіи крайне проста. Пылкій энтузіастъ Чацкій любитъ Софью Фамусову, дочь богатаго московскаго барина. Три года заграничной жизни не охладили его чувства. Онъ вернулся въ Москву, спѣшитъ въ домъ любимой дѣвушки и застаётъ ее „въ какомъ-то

строгомъ чинѣ“: она холодна съ нимъ, не хочетъ понять его, принимая его естественное оживленіе за злость свѣтскаго говоруна. „Ни на волосъ любви!“ Въ чемъ же разгадка ея поведенія?—цѣлый день спрашиваетъ себя Чацкій. Разгадка въ томъ, что Софья любить другого,—Молчалина, секретаря своего отца, живущаго у нихъ въ домѣ. Въ угодность Софья Молчалинъ разыгрываетъ влюбленнаго и въ то же время ухаживаетъ за ея горничной Лизой. Софья узнаетъ все, случайно подслушавъ ихъ разговоръ. Находитъ желанную разгадку и Чацкій и покидаетъ навсегда когда-то близкій ему домъ, унося въ сердцѣ „милліонъ терзаній“.

Въ рамку этого несложнаго анекдота вставлена изумительная по яркости и силѣ сатирическая картина московскаго общества 20-хъ годовъ XIX вѣка. Центральное мѣсто на этой картинѣ принадлежитъ Павлу Аванасьевичу Фамусову, представителю родовитаго московскаго барства. Онъ человѣкъ стараго вѣка, и для него недосыгаемымъ идеаломъ служить дядя Максимъ Петровичъ, „случайный“ человѣкъ Екатерининскаго двора, надменный, важный вельможа, не удостоивавшій низшихъ даже презрительнаго кивка, но умѣвшій „сгибаться въ перегибъ“, когда бывало нужно „подслужиться“. Фамусовъ служитъ, т.-е. подписываетъ бумаги, которыя составляютъ и переписываютъ Молчалинъ да состоящіе при немъ „сестрины, свояченицы дѣтки“, за что онъ, свято чтущій родственныя чувства, при случаѣ представляетъ ихъ „къ крестинкѣ или къ мѣстечку“. Фамусовъ хорошій семьянинъ, заботится о дочери: послѣ смерти жены онъ для маленькой Софьи „сумѣлъ принанять въ мадамъ Розѣ вторую мать“, а когда француженку „за лишнихъ въ годъ пятьсотъ рублей“ сманили другіе, онъ беретъ для дочери иностранцевъ-учителей „и въ домъ, и по билетамъ“, чтобы они учили ее „и танцамъ, и пѣнью, и нѣжностямъ, и вздохамъ“. Правда, иногда онъ негодуетъ на „Кузнецкій мостъ и вѣчныхъ французовъ“, но это въ минуту раздраженія и — главное — наединѣ. На людяхъ онъ этого никогда не скажетъ: его тогда засмѣютъ княгиня Марья Алексѣевна, Ирина Власѣевна, Татьяна Юрьевна и прочія московскія дамы, которыя „судьи всему, вездѣ“. Фамусовъ былъ бы вполне доволенъ и собой, и клубомъ, гдѣ каждый вечеръ такіе же, какъ онъ, старики собираются „поспорить, пошумѣть“, и Москвой съ ея родинами, крестинами, обѣдами, балами,—словомъ, всёмъ укладомъ московской жизни, если бы не нарушали его спокойствія беспокойные молодые люди, которые „рыскаютъ по свѣту, бьютъ баклуши, воротятся—отъ нихъ поряд-

ка жди!“ Будь въ его рукахъ власть, онъ „строжайше бь запретилъ“ этой молодежи „на выстрѣль подбѣзжать къ столицамъ“. А отчего развелись эти безпокойные люди? „Ученье—вотъ чума, ученость—вотъ причина!“ Найдена причина, готово и рѣшительное средство для ея устранения: „ужь коли зло пресѣчь, забрать всѣ книги бы да сжечь!“

Фамусовъ не одинокъ со своими взглядами и чувствами. Въ его же домѣ, „въ чуланчикѣ“, живетъ Молчалинъ, его „дѣловой“ секретарь. И для Молчалина умѣнье „подслужиться“—главное въ жизни. Онъ умѣетъ вовремя погладить москку вліятельной старухи, составить ей партію въ карты, заѣхать къ Татьянѣ Юрьевнѣ, которой родня всѣ „чиновные и должностные“. Онъ еще въ небольшихъ чинахъ, скромнень и тихъ, сознаетъ, что въ его лѣта „не должно смѣть свое сужденіе имѣть“, нужно только „угождать всѣмъ людямъ безъ изытатя“, но когда онъ „дойдетъ до степеней извѣстныхъ“, онъ повторитъ въ своей особѣ Фамусова. Низкій негодай, Молчалинъ „по должности“ притворяется влюбленнымъ въ Софью, а за ея спиной ухаживаетъ за горничной Лизой. Жалкій трусь, онъ боится, какъ бы Фамусовъ не открылъ его отношеній къ дочери и не прогналъ его изъ дому, и ползаетъ на колѣняхъ передъ Софьей, когда у нея открылись глаза на любимаго человѣка.

Фамусову хочется „включить въ семью“ еще одного единомышленника: онъ прочитъ свою дочь за полковника Скалозуба. Этого „трехъ сажень удалецъ“ обладаетъ даромъ человѣческой рѣчи только тогда, когда говоритъ „о фронтѣ, о рядахъ“. Онъ признаетъ одно знаніе,—знаніе мундировъ, „выпушекъ, погончиковъ, петличекъ“ и съ радостью сообщаетъ Фамусову, что есть проектъ—

Насчетъ лицеевъ, школъ, гимназій:

Тамъ будутъ лишь учить по-нашему: разъ, два!

А книги сохранять такъ, для большихъ оказій.

Фамусовъ, вѣроятно, не хуже Софьи знаетъ, что Скалозубъ „слова умнаго не выговорилъ съ роду“, и тѣмъ не менѣе, не справляясь съ желаніемъ дочери, прочитъ ей его въ женихи: вѣдь Скалозубъ—„золотой мѣшокъ и мѣтитъ въ генералы“.

А за этими тремя лицами, составляя какъ бы фонъ картины, движется, шумитъ, злобствуетъ пестрая толпа родныхъ, друзей и знакомыхъ Фамусова. Здѣсь женщины, занятія сплетнями, модами, вздыхающія о Франціи, „повторяя урокъ, который былъ имъ съ дѣтства затвержень“. Здѣсь Загорѣцкій, негодай чистой воды, „лгунишка, картежникъ, воръ“, котораго однако охотно

вездѣ принимаютъ, потому что онъ „мастеръ услужить“, а рядомъ съ нимъ Горичевъ, когда-то лихой военный, добрый малый, близкій пріятель Чацкаго, а теперь—„мужъ - мальчикъ, мужъ-слуга изъ жениныхъ пажей“, готовый повѣрить злой клеветѣ на Чацкаго только потому, что „всѣ такъ говорятъ“. Всю эту пеструю толпу объединяетъ одно: „неукротимая вражда“ къ просвѣщенію, къ побѣгамъ новой, молодой жизни, и какое-то судорожное стремленіе удержать формы стараго строя.

И вотъ въ затхлую атмосферу этого общества врывается ненавистная ему новая жизнь въ лицѣ Чацкаго...

Онъ дѣтство и юность провелъ въ Москвѣ, связанъ съ нею воспоминаніями, любовью къ Софѣ, первыми мечтами объ общественной дѣятельности. Онъ собирался служить „по штатской“, побывалъ въ военной службѣ и только недавно „отрекся отъ нѣжности“ къ мундиру. Онъ „славно пишетъ, переводитъ“, могъ бы „и награжденья брать, и весело пожить“, но у него не хватаетъ самаго главнаго — умѣнья „подслужиться“. Чацкій бросаетъ родину, ѣдетъ на три года за границу—„ума искать“, и возвращается оттуда уже вполне сложившимся человѣкомъ, съ опредѣленными убѣжденіями.

Послѣ долгаго отсутствія на него нахлынули знакомыя московскія впечатлѣнія. Возбужденный радостью свиданья съ любимой дѣвушкой, онъ сначала говоритъ объ этой жизни въ тонѣ легкой, веселой насмѣшки, безъ всякой злобы: добродушно трунить надъ тетушкой, вѣчной „фрейлиной Екатерины Первой“, окруженной воспитанницами и москѣками, надъ бульварными завсегдатаями, которые „съ помощью сестрицъ со всей Европой породнятся“, надъ „смѣсю языковъ—французскаго съ нижегородскимъ“. Но вскорѣ пошлость старыхъ, давно ему знакомыхъ обычныхъ сужденій, обычныхъ, будничныхъ проявленія московской жизни,—все то, отъ чего онъ отвыкъ за границей, вызываетъ въ немъ жгучее, страстное негодованіе. Сдержанность, умѣнье про себя таить свои негодующія мысли—не въ натурѣ Чацкаго. А тутъ еще холодность Софьи, мученія оскорбленнаго чувства. И Чацкій даетъ волю своимъ сатирическимъ обличеніямъ. Онъ уже не смѣется, а зло бичуетъ надменную спѣсь и лакейство стариковъ, ихъ крѣпостническія замашки. Ему вспоминается—

...Несторъ негодяевъ знатныхъ,
Толпою окруженный слугъ,

который на преданныхъ рабовъ—

Вдругъ вымѣнялъ борзыхъ три собаки.

Вспоминается ему и тотъ, который—

На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей.

Чацкій хочеть дѣла: пусть это будетъ служба, только „дѣлу, а не лицамъ“, или занятіе науками, искусствами, „высокими и прекрасными“. Но онъ отлично знаетъ, что стоитъ ему только заняться этимъ, какъ „зловѣщія старухи“ и старики, „дряхлѣющіе надъ выдумками, вздоромъ“, черпающіе свои взгляды, „изъ забытыхъ газетъ временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма“, ославятъ его „опаснымъ мечтателемъ“, закричатъ о „разбоѣ и пожарѣ“, заподозрятъ его патріотическія чувства. А вѣдь онъ, усвоившій себѣ за границей просвѣщенныя идеи Запада, любитъ родину больше, глубже и сознательнѣе, чѣмъ эти крѣпостники, заимствующіе отъ разныхъ „французиновъ изъ Бордо“ лишь внѣшнія формы европеизма. Онъ хочеть взаимнаго пониманія между образованными людьми и „нашимъ умнымъ, добрымъ народомъ“. Никто не понимаетъ Чацкаго, не чувствуетъ въ его рѣчахъ глубокой любви къ родинѣ. Онъ одинокъ со своимъ „горемъ отъ ума“. Софья, единственный человѣкъ, сколько-нибудь возвышающійся надъ общимъ уровнемъ московскаго общества, видитъ въ его рѣчахъ только пустой, бессодержательный смѣхъ или тщеславное желаніе обратить на себя вниманіе свѣта.

Борьба Чацкаго съ Фамусовскимъ обществомъ — неравная борьба, и Чацкій уходитъ съ поля битвы тяжело раненымъ. Онъ вновь встрѣтится съ этимъ обществомъ, и встрѣтится не одинъ. Уже и теперь на заднемъ планѣ комедіи мелькаютъ образы людей, подобно Чацкому враждебныхъ старому укладу жизни. Таковъ, напримѣръ, двоюродный братъ Скалозуба, который—

... крѣпко набрался какихъ-то новыхъ правилъ:
Чинъ слѣдовалъ ему—онъ службу вдругъ оставилъ,
Въ деревнѣ книги сталъ читать.

Таковъ и племянникъ княгини Тугоуховской, учившійся у петербургскихъ профессоровъ, занимающійся наукой и, къ ужасу тетки, „не желающій знать чиновъ“. Правда, такіе люди, ушедшіе въ науку, быть можетъ, окажутся неспособными къ активной борьбѣ, но они создадутъ общественное мнѣніе, которое поддержитъ Чацкихъ.

Историческое значеніе Грибоѣдовской пьесы—громадно, потому что Чацкій—живое воплощеніе молодежи 20-хъ годовъ XIX в.,—той молодежи, которая дала русскому обществу и поэта Грибоѣдова, и декабристовъ, и „любомудровъ“.

Не менѣе важна и общечеловѣческая основа „Горя отъ ума“, такъ какъ здѣсь затронута вѣчная тема о борьбѣ отцовъ и дѣтей, о борьбѣ жизни отживающей и жизни новой, смѣло прокладывающей себѣ дорогу среди все еще торжествующей старины. Въ этомъ, помимо художественныхъ достоинствъ пьесы, причины того, что „Горе отъ ума“ до сихъ поръ, и въ чтеніи, а особенно въ сценическомъ исполненіи, производитъ громадное впечатлѣніе.

XI.

А. С. Пушкинъ.

Начиная съ Ломоносова, отличительной чертой русской литературы является ея зависимость отъ тѣхъ или иныхъ западноевропейскихъ вліяній. Правда, въ дѣятельности нѣкоторыхъ писателей эта зависимость сказывалась слабо, самобытныя дарованія брали верхъ надъ общимъ духомъ литературной подражательности, но это были явленія единичныя, и въ то время, какъ русскій читатель восхищался баснями Крылова или переписывалъ запретные стихи Грибоѣдовской комедіи, въ русской литературѣ уживались рядомъ цѣлыхъ три подражательныхъ направленія: ложноклассицизмъ, сентиментализмъ и отголоски романтизма. Пушкину суждено было положить конецъ рабству нашей литературы и вывести ее на путь свободнаго, самостоятельнаго развитія.

Величайшій русскій поэтъ родился 26 мая 1799 г. въ Москвѣ, на Нѣмецкой улицѣ. Отецъ его, легкомысленный и слабохарактерный человѣкъ, былъ типичнымъ московскимъ баринкомъ добраго стараго времени. Мать раздѣляла свѣтскіе вкусы своего мужа, и дѣти росли подъ надзоромъ иностранныхъ гувернеровъ и гувернантокъ. Французская болтовня, ученіе „чему-нибудь и какъ-нибудь“ дополнялось уже въ раннемъ дѣтствѣ чтеніемъ французскихъ книгъ изъ обширной библіотеки отца. Русскій языкъ Пушкинъ въ раннемъ дѣтствѣ слышалъ только изъ устъ няни да бабушки. На 12 году Пушкинъ поступилъ въ Царскосельскій лицей. Литературные вкусы, господствовавшіе между товарищами, способствовали развитію литературныхъ наклонностей Пушкина, который еще дома пробовалъ свои силы въ сочиненіи комедій и поэмъ на французскомъ языкѣ. Его лицейскія стихотворенія обратили на себя вниманіе не только его товарищей: онъ печатается въ журналахъ и дѣлается членомъ литературнаго кружка „Арзамасъ“. Когда на выпускномъ экзаменѣ онъ прочелъ свои „Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“ Державину,

маститый поэтъ почуялъ въ немъ будущаго гения. По окончаніи курса въ Лицеѣ, Пушкинъ поступилъ на службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ и повелъ разсѣянную свѣтскую жизнь, которая, впрочемъ, не отвлекла его отъ творческой дѣятельности. Между прочимъ, къ этому времени относится его поэма „Русланъ и Людмила“. Будучи близокъ со многими изъ декабристовъ, Пушкинъ, непосвященный въ ихъ политическіе замыслы, раздѣлялъ со всѣмъ пыломъ молодости ихъ „вольнлюбивое“ настроеніе. Оно нашло себѣ выходъ въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ. Не появляясь въ печати, они быстро расходились въ обществѣ, создали Пушкину въ глазахъ начальства репутацію опаснаго чловѣка, и въ 1820 г. онъ былъ сосланъ въ Екатеринославъ. Съ этого времени начинаются скитанія Пушкина по Россіи. Екатеринославъ, Кавказъ, Крымъ, Кишеневъ, Одесса послѣдовательно видятъ у себя Пушкина. Впечатлѣнія, полученные во время этихъ подневольныхъ скитаній, легли въ основу многихъ произведеній, отчасти написанныхъ въ этотъ же періодъ жизни, отчасти лишь задуманныхъ и начатыхъ, а оконченныхъ позднѣе. Въ половинѣ 1824 г., вслѣдствіе одного перехваченнаго властями письма, Пушкинъ былъ сосланъ въ Псковскую губернію, въ село Михайловское, въ имѣніе родителей. Здѣсь, въ тишинѣ и уединеніи деревенской жизни, нарушавшейся лишь бесѣдами съ няней, рѣдкими посѣщеніями друзей и знакомствомъ съ сосѣдями, развернулся во всей необъятной силѣ творческой гений поэта. Въ 1826 г., послѣ личнаго объясненія съ Николаемъ I, Пушкинъ получилъ свободу.

Въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ Пушкинъ усиленно продолжалъ свою литературную дѣятельность, расширивъ ее историческими занятіями. Въ 1831 г. Пушкинъ женился на Н. Н. Гончаровой, свѣтской красавицѣ. Постоянная забота о деньгахъ, необходимость поддерживать свое положеніе въ свѣтѣ, который такъ любила жена и который такъ ненавидѣлъ Пушкинъ, тоска по другой жизни,—все это страшно мучило Пушкина. Безъ чувства щемящей боли нельзя читать его писемъ и замѣтокъ, относящихся къ этому времени. Грязныя свѣтскія сплетни по поводу отношеній жены Пушкина къ сыну голландскаго посланника Дантеса дали поводъ къ дуэли, окончившейся смертью Пушкина 29 января 1837 г.

Первый періодъ творчества Пушкина, до 1824 г., въ значительной степени окрашенъ вліяніемъ отдѣльныхъ писателей, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. Полный страстнаго чувства жизни, поэтъ увлекается легкой французской поэзіей, воспѣвавшей

вино, любовь, мгновенныя радости жизни. Въ часы налетавшей на него задумчивости онъ иногда подпадаетъ вліянію меланхолической поэзіи Жуковскаго. Попадаются у него въ это время и такія стихотворенія, которыя какъ будто воскрешаютъ блестя-



А. С. Пушкинъ.

щую внѣшность ложноклассической оды. Во время своихъ подневольныхъ скитаній по югу Россіи Пушкинъ познакомился съ поэзіей Байрона, которая оказала замѣтное вліяніе на творчество нашего поэта, поразивъ Пушкина мощными образами своихъ

разочарованных героев, озлобленных против культурного общества, бѣгущихъ изъ него на лоно природы, къ простымъ людямъ, и терзаемыхъ вѣчнымъ разладомъ мысли и чувства. „Кавказскій Пльнникъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“, „Цыганы“ отразили на себѣ вліяніе Байрона.

Но уже и въ этотъ періодъ дѣятельности Пушкина, сквозь всѣ вліянія, русскія и иноземныя, ясно видны самостоятельныя стороны творческой личности нашего поэта. Такъ, поэма „Русланъ и Людмила“, столь поразившая своей игривой легкостью читателей, привыкшихъ къ холодной чопорности ложноклассическихъ поэмъ, представляетъ изъ себя, въ сущности, насмѣшку надъ мечтательной поэзіей Жуковского. Въ поэмѣ „Цыганы“ ясно сказывается критическое отношеніе Пушкина къ байроническому идеалу: симпатіи поэта не на сторонѣ Алеко, типичнаго „скорбника“ въ байроновскомъ духѣ, а на сторонѣ старика-цыгана, бросающаго ему горькій упрекъ въ эгоизмъ.

Съ 1824 г. Пушкинъ вышелъ на самостоятельную дорогу. Это былъ путь художественнаго реализма, т.-е. творческаго воспроизведенія жизни во всей ея правдѣ, — воспроизведенія, чуждаго всякой искусственности. Вѣяніе новаго духа затрепетало во всѣхъ родахъ и видахъ поэзіи.

Прежде всего, съ Пушкина надо считать начало русскаго реального романа и повѣсти. „Евгеній Онѣгинъ“ и „Капитанская дочка“ были ихъ родоначальниками.

Какъ и въ „Горѣ отъ ума“, въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ мы находимъ изображеніе дворянской жизни первой четверти XIX в., съ тою разницею, что у Пушкина рамки картины не ограничены Москвою, и главный герой — не образованный и пылкій энтузіастъ, а полуобразованный, скучающій и хандрящій скептикъ, не выдающійся человѣкъ, а просто „добрый малый“, какихъ тогда было много.

Евгеній Онѣгинъ обрисованъ вполне реальными чертами. Въ этомъ, для насъ уже историческомъ, образѣ все взято изъ русской жизни 20-хъ годовъ. Поверхностное воспитаніе подъ руководствомъ иностранца, обученіе „чему-нибудь и какъ-нибудь“; интересъ къ экономическимъ вопросамъ (Евгеній „читалъ Адама Смита и былъ великій экономъ“), вѣроятно, тоже поверхностный; пустая, свѣтская жизнь, проходящая въ непрерывныхъ увеселеніяхъ; попытка позаботиться о судьбѣ крестьянъ; хандра, ошибочно принимаемая Евгеніемъ за разочарованіе, преслѣдующая его и въ городѣ, и въ деревнѣ, лежащая въ основѣ его отношеній къ Ленскому и звучащая въ его холодной „пропо-

вѣди“ Татьянѣ; его попытки убить хандру литературными занятіями, чтеніемъ, самый выборъ книгъ, — все, до послѣдней мелочи, правдиво.

Реаленъ и образъ Ленскаго, типичнаго русскаго романтика, который изъ заграничнаго университета „привезъ учености плоды“:

Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечь.

И въ этой характеристикѣ, и въ образцѣ стиховъ Ленскаго замѣчательно вѣрно отразились черты современной Пушкину русской дѣйствительности, — внѣшняго и крайне неопредѣленнаго увлеченія романтизмомъ. Приведа стихи Ленскаго, поэтъ прибавляетъ:

Такъ онъ писалъ темно и вяло
(Что романтизмомъ мы зовемъ,
Хоть романтизма тутъ ни мало
Не вижу я; да что намъ въ томъ?)

Наибольшимъ реализмомъ въ романѣ отмѣченъ образъ Татьяны, явившійся совершенной новостью для русской литературы. Это — малообразованная, суевѣрная, наивная провинціальная дѣвушка изъ дворянской семьи, начитавшаяся романовъ и подъ ихъ вліяніемъ ожидающая появленія какого-то необыкновеннаго героя. Евгений, такъ рѣзко выдѣлявшійся изъ сѣрой толпы провинціальныхъ дворянъ, мгновенно поразилъ Татьяну. Перечитывая послѣ знакомства съ нимъ любимые романы, Татьяна, „воображаясь героиней своихъ излюбленныхъ творцовъ“, „въ забвеньи шепчетъ наизусть письмо для милаго героя“, а потомъ пишетъ и отправляетъ это письмо, французское, конечно, такъ какъ Татьяна —

...по-русски плохо знала,
Журналовъ нашихъ не читала
И выражалася съ трудомъ
На языкѣ своемъ родномъ.

Въ этой дѣвушкѣ нѣтъ ничего яркаго, бросающагося въ глаза, а между тѣмъ Пушкинъ въ своей „милрой Татьянѣ“, которую онъ такъ любилъ, сумѣлъ разглядѣть черты, которыя поднимаютъ ее на большую нравственную высоту. Образъ, трепещущій всѣми красками живой дѣйствительности, возведенъ Пушкинымъ въ идеаль, и въ этомъ сказалась одна изъ главныхъ особенностей реализма: онъ не чуждается идеала, но ищетъ

его не въ сочинительствѣ, какъ это, на примѣръ, дѣлалъ Фонвизинъ, не въ иномъ мѣрѣ, какъ дѣлали это сентименталисты и романтики, а на землѣ, во исполнѣ реальной обстановкѣ.

Фонъ, на которомъ выступаютъ передъ нами главныя дѣйствующія лица романа, тоже исполнѣ реаленъ. Это — бѣдная русская природа, изображенная во всѣ времена года, это — жизнь петербургскаго высшаго свѣта, старомодной Москвы, провинціальнаго дворянства.

Въ Петербургѣ Пушкинъ ведетъ читателя въ модный салонъ, гдѣ собрался „цвѣтъ столицы“ —

И знать, и моды образцы,
Вездѣ встрѣчаемыя лица.
Необходимые глушцы.

Съ удивительнымъ лаконизмомъ помѣстивъ въ одну-двѣ строфы нѣкоторые образы Грибоѣдовской комедии, Пушкинъ даетъ картину патриархальной, хлѣбосоленной и сонной московской жизни, гдѣ „все на старый образецъ“ и гдѣ такъ же, какъ и въ Петербургѣ, „всѣхъ въ гостиную занимаетъ безсвязный, пошлый вздоръ“. А за старушкой Москвой виднѣется глухая деревня, гдѣ живетъ семья Лариныхъ. Десятокъ простыхъ, но великихъ именно этой простотой, строкъ, — и передъ нами вся ихъ старозавѣтная жизнь:

Они хранили въ жизни мирной
Привычки милой старины:
У нихъ на масленицѣ жирной
Водились русскіе блины;
Два раза въ годъ они говѣли,
Любили круглыя качели,
Подблюдны пѣсни, хороводъ;
Въ день Троицынъ, когда народъ
Зѣвая слушаетъ молебень,
Умильно на пучекъ зори
Они роняли слезки три.
Имъ квасъ, какъ воздухъ, былъ потребень,
И за столомъ у нихъ гостямъ
Носили блюда по чинамъ.

Въ многочисленныхъ отступленіяхъ, которыми пересыпалъ Пушкинъ свой романъ, онъ, между прочимъ, касается литературныхъ направленій, или доживавшихъ свой вѣкъ, или еще имѣвшихъ вліяніе на умы въ его время. Легкой шуткой проводивъ въ могилу ложноклассицизмъ, посмѣявшись надъ сентиментальными романами съ ихъ исключительно порочными или исключительно добродѣтельными героями, отмѣтивъ темноту и

вялость такъ называемаго русскаго романтизма, Пушкинъ далъ обѣщаніе написать со временемъ „романъ на старый ладъ“:

Не муки тайнаго злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу,
Но просто вамъ перескажу
Преданья русскаго семейства,
Любви плѣнительные сны
Да нравы нашей старины...

Исполненіемъ этого обѣщанія явилась „Капитанская дочка“. Въ этой повѣсти передъ нами прежде всего старинный дворянскій бытъ Екатерининской эпохи. Художественный реализмъ изображенія этого быта становится особенно ясенъ, если сравнить повѣсть Пушкина съ сатирическими статьями Крылова или комедіями Фонвизина, изображающими то же время и ту же среду. Односторонняя, исключительно сатирическая, иногда впадающая въ шаржъ картины Крылова и Фонвизина смѣняются спокойнымъ, широкимъ захватомъ жизни со всѣмъ ея добромъ и зломъ.

Слово „герой“, это наслѣдіе ложноклассицизма, такъ прочно вошедшее въ литературный обиходъ, какъ-то не подходитъ къ дѣйствующимъ лицамъ „Капитанской дочки“: всѣ они просты, обыденны, не блещутъ внѣшними достоинствами, и лишь въ важные моменты жизни проявляется ихъ высокая душевная красота. Таковъ Гриневъ, росшій въ родительскомъ домѣ, по его собственнымъ словамъ „недорослемъ“. Такова чета стариковъ Мироновыхъ, добродушно-комичныхъ въ нехитрой обстановкѣ ихъ повседневной жизни и высоко-прекрасныхъ въ минуты постигающихъ ихъ испытаній. Такова дочь Мироновыхъ Марья Ивановна, крайне простая, лишенная всякой эффектности дѣвушка, воспитанная въ глуши, съ перваго взгляда кажущаяся даже глуповатой, но обнаруживающая высокій героизмъ самоотверженія. Таковъ, наконецъ, Савельичъ, который является въ нашей литературѣ первымъ правдивымъ образомъ крестьянина—слуги. Онъ замѣнилъ собой приторно-добродѣтельныхъ слугъ сентиментальнаго романа и плутоватыхъ слугъ и служанокъ, въ родѣ Лизы изъ „Горе отъ ума“, перекочевавшихъ къ намъ изъ французской комедіи. Савельичъ—изображеніе настоящаго, живого человѣка,—изображеніе, явившееся цѣлымъ откровеніемъ и родоначальникомъ подобныхъ же типовъ у Аксакова, Гончарова и Тургенева. Реализмомъ проникнуто отношеніе Пушкина и къ историческимъ лицамъ этой повѣсти. Пугачевъ—не злодѣй и не добродѣтельный разбойникъ въ духѣ сентиментальныхъ

романовъ, а живой человекъ, не лишенный нѣкоторыхъ симпатичныхъ чертъ. Образъ Екатерины II, мелькомъ появляющійся въ повѣсти, тоже лишень всякой приподнятости, простъ, очеловчѣнъ. Наряду съ „Евгеніемъ Онѣгинымъ“ и „Капитанской дочкой“ слѣдуетъ поставить „Повѣсти Бѣлкина“. Помимо типа ихъ вымышленнаго автора, онѣ интересны по тому несомнѣнному крупному вліянію, которое онѣ оказали на нашу послѣдующую литературу. Въ одной изъ нихъ, въ „Станціонномъ смотрителѣ“, можно видѣть прообразъ тѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ, душу которыхъ впослѣдствіи такъ глубоко показалъ Достоевскій. Другая повѣсть изъ этой серіи, „Лѣтопись села Горохина“, интересна, какъ яркое обличеніе крѣпостного права. Изобразивъ „политическую систему“ Горохинскаго приказчика, въ основу которой была положена аксіома: „чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе, чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смиреннѣе“; изложивъ по пунктамъ своеобразную конституцію, основанную на этой системѣ,—Пушкинъ устами Бѣлкина говоритъ: „Въ три года Горохино совсѣмъ обнищало, Горохино приуныло, базаръ опустѣлъ, пѣсни Архипа Лысаго умолкли. Половина мужиковъ была на пашнѣ, другая служила въ батракахъ; ребяташки пошли по-міру и день храмового праздника сдѣлался, по выраженію лѣтописца, не днемъ радости и ликованія, а годовщиною печали и поминанія горестнаго“.

Изъ драматическихъ произведеній Пушкина на первомъ мѣстѣ должна быть поставлена его трагедія „Борисъ Годуновъ“. Задумывая эту пьесу, Пушкинъ хотѣлъ создать національную драму и тѣмъ освободить русскій театръ отъ господства ложноклассицизма, особенно вліятельнаго въ области драматической поэзіи. Идеаломъ Пушкина въ области драмы былъ англійскій писатель Шекспиръ, привлекавшій нашего поэта полнотой и многосторонностью характеристикъ дѣйствующихъ лицъ. „Истина страстей, правдоподобіе чувствованій въ предлагаемыхъ обстоятельствахъ — вотъ чего требуетъ нашъ умъ отъ драматическаго писателя“, говорилъ Пушкинъ. Добавивъ къ этому требованію „простоты положеній, естественности діалога“, Пушкинъ, такимъ образомъ, стремился осуществить художественный реализмъ въ драмѣ, какъ онъ осуществилъ его въ романѣ и повѣсти.

Обосновавъ фактическую сторону своей драмы на самомъ обстоятельномъ изученіи первоисточниковъ, Пушкинъ далъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ широкое и правдивое изображеніе одного изъ самыхъ интересныхъ моментовъ русской исторіи. Царь Борисъ, бояре, Самозванецъ и народъ—вотъ силы, сталкивающіяся

въ трагедіи. Борисъ изображенъ во всей полнотѣ и разнообразіи его характерныхъ чертъ. Властолюбіе, сжигающее его душу, не закрываетъ отъ насъ Бориса, какъ умнаго правителя, со всѣми его достоинствами и недостатками, какъ семьянина, наконецъ, просто какъ человѣка, переживающаго душевную муку подъ вліяніемъ немолчнаго голоса совѣсти. Нѣтъ и слѣда той односторонности, въ которую впадали драматурги-ложноклассики, изображая своихъ героевъ подъ вліяніемъ какой-нибудь одной охватившей ихъ страсти. Художественно-индивидуализировано также каждое лицо изъ галлерей боярскихъ типовъ. Всѣ бояре объединены тайной или явной ненавистью къ Борису, у всѣхъ главнымъ двигателемъ ихъ дѣйствій является честолюбіе и властолюбіе, но какая, напримѣръ, разница между дальновиднымъ, „лукавымъ царедворцемъ“ Шуйскимъ и простодушнымъ Воротынскимъ, или между представителемъ „мятежнаго рода“ Пушкиныхъ и Басмановымъ, возвысившимся потому, что Борисъ, „не родъ, а умъ поставилъ въ воеводы“! Народъ сравнительно мало появляется въ трагедіи, но играетъ большую роль. Объ его глухое, смутное недовѣріе къ царю разбиваются всѣ добрыя начинанія Бориса. Его настроеніе создаетъ тотъ фонъ, на которомъ проходятъ картины трагедіи, и даетъ успѣхъ той или другой изъ силъ, борющихся за власть. Вся сила Самозванца въ этомъ народномъ настроеніи, и Пушкинъ, убѣждая Басманова перейти на сторону Лже-Димитрія, говоритъ:

Но знаешь ли, чѣмъ сильны мы, Басмановъ?
Не войскомъ, — нѣтъ, не польскою помощью,
А мнѣніемъ, да, мнѣніемъ народнымъ.

Съ этой точки зрѣнія личность Самозванца играетъ ничтожную роль въ его борьбѣ съ Борисомъ, и Пушкинъ отмѣтилъ это, придавъ Самозванцу черты беззаботности, легкомыслія и дерзкой отваги.

Въ другихъ драматическихъ произведеніяхъ Пушкинъ обращается къ воссозданію русской старины („Русалка“), рисуетъ глубокіе въ психологическомъ отношеніи общечеловѣческіе типы („Скупой рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“) или, съ удивительной способностью проникновенія въ духъ чуждыхъ народностей, беретъ темы, хорошо знакомыя міровой литературѣ („Каменный гость“).

Лирическія произведенія Пушкина, помимо несравненнаго стиха, подкупаютъ рѣдкой правдивостью и искренностью въ передачѣ переживаній его свѣтлой, гармонической души. Вся безконечная гамма человѣческаго чувства отразилась въ его ли-

рикѣ. Любовь („Для береговъ отчизны дальней“, „Я васъ любилъ“, „Я помню чудное мгновенье“, „Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я...“), дружба, которую Пушкинъ всегда понималъ такъ высоко и благородно (рядъ „Лицейскихъ годовщинъ“, „Посланіе въ Сибирь“...), чувство родной природы („Осень“, „Зимнее утро“, „Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ“...), религиозное чувство („Молитва“), — на все онъ отозвался задушевными, безъ единой фальшивой ноты, строками. Общій тонъ ихъ — бодрый, жизнерадостный. Даже въ элегіяхъ печаль его „свѣтла“, по его собственному выраженію, и онѣ всегда заканчиваются примиряющимъ аккордомъ; самая мысль о смерти не гнететъ душу поэта и смягчается мыслью о будущихъ поколѣніяхъ, которыхъ будетъ радовать природа, которая въ свой чередъ будутъ переживать радости и горести земного существованія.

Такой же искренностью, правдивостью и свѣтлымъ взглядомъ на жизнь отличаются тѣ произведенія Пушкина, въ которыхъ онъ выражаетъ свои завѣтные взгляды на различные стороны жизни („Посланіе къ цензору“, „Чаадаеву“, „Полководецъ“ и др.), между прочимъ и на поэта и его значеніе. Широко раздвигая рамки поэтического воспроизведенія міра, сравнивая поэта съ эхо, которое откликается на всѣ голоса жизни, Пушкинъ требуетъ абсолютной свободы творчества: поэтъ долженъ „итти одинъ дорогою свободной, куда влечетъ его свободный умъ“, не требуя похвалъ, никому не отдавая отчета, будучи — „самъ свой высшій судъ“. Къ поэтическому произведенію неприложима мѣрка „пользы“, — все равно, матеріальной или моральной. „Цѣль поэзіи — сама поэзія“, говорилъ Пушкинъ, считая, что въ поэзіи, какъ во всякомъ искусствѣ, заключена великая, облагораживающая человѣка сила. Именно это разумѣлъ Пушкинъ, когда въ стихотвореніи „Памятникъ“, подводя итоги своей поэтической дѣятельности, ставилъ себѣ въ заслугу пробужденіе въ людяхъ „добрыхъ чувствъ“. Это же разумѣлъ и Бѣлинскій, давшій превосходный анализъ произведеній Пушкина, когда отмѣтилъ способность его поэзіи „развивать въ людяхъ не только чувство изящнаго, но и чувство гуманности, безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка“.

XII.

Н. В. Гоголь.

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ Гоголь является основателемъ русской національной литературы, чуждой зависимости отъ ино-

странныхъ вліяній, но по содержанию своихъ произведеній, по отношенію къ изображаемой жизни, по взглядамъ на задачи художественнаго творчества они отличаются другъ отъ друга. Пушкинъ во всякой дѣйствительности умѣлъ находить свѣтлыя, прекрасныя стороны; Гоголь подмѣчалъ въ жизни преимущественно темныя, отрицательныя явленія. Пушкинъ вызывалъ въ читателѣ свѣтлое чувство примиренія съ жизнью и людьми; Гоголь осмѣивалъ жизнь горькимъ смѣхомъ „сквозь слезы“. Пушкинъ отрицалъ непосредственный „учительный“ характеръ поэзіи; Гоголь былъ художникъ-моралистъ, желавшій непосредственно вліять на жизнь и людей.

Еще задолго до Гоголя, въ произведеніяхъ Фонвизина, Крылова, Грибоѣдова русская литература обнаружила стремленіе въ сторону реализма. Пушкинъ далъ этому стремленію опредѣленныя формы во всѣхъ областяхъ поэзіи, а Гоголь окончательно утвердилъ реализмъ въ русской литературѣ, повлиявъ на все ея дальнѣйшее развитіе.

Малороссъ по происхожденію, Николай Васильевичъ Гоголь

родился 19 марта 1809 года въ мѣстечкѣ Сорочинцахъ, Полтавской губерніи, въ семьѣ небогатаго помѣщика. До 13 лѣтъ Гоголь жилъ въ имѣніи отца, пользуясь всей свободой деревенской жизни. Въ 1811 году онъ былъ отданъ въ Нѣжинскую гимназію. Здѣсь у Гоголя обнаружилась любовь къ литературнымъ занятіямъ, къ театру и къ искусствамъ вообще. Не отличаясь ни прилежаніемъ, ни успѣхами, Гоголь очень [мало вынесъ изъ гимназіи. Задумываясь о своемъ будущемъ, онъ мечтаетъ приобрести извѣстность на государственной службѣ. По окончаніи гимназіи, въ 1828 году, Гоголь ѣдетъ въ Петербургъ. Здѣсь его встрѣтилъ на первыхъ порахъ рядъ неудачъ. Долго не могъ онъ



Н. В. Гоголь.

найти себѣ никакого мѣста, жилъ въ стѣсненныхъ матеріальныхъ условіяхъ. Только черезъ два года онъ былъ принятъ мелкимъ чиновникомъ въ департаментъ удѣловъ. Незадолго передъ этимъ, скрывъ свое имя подъ псевдонимомъ, Гоголь издалъ идиллию въ стихахъ „Гансъ Кюхельгартенъ“. Суровые отзывы критики объ этомъ, дѣйствительно, дѣтски-незрѣломъ произведеніи произвели на Гоголя гнетущее впечатлѣніе. Однако отъ всѣхъ своихъ неудачъ онъ не падалъ духомъ: его поддерживало глубокое религиозное чувство и вѣра въ свои силы. Литературныя занятія сблизили Гоголя съ Жуковскимъ и Плетневымъ. При ихъ помощи онъ нашелъ себѣ заработокъ, и матеріальный вопросъ потерялъ для него свою остроту. Въ 1831 году Гоголь познакомился съ Пушкинымъ. Это знакомство имѣло для Гоголя громадное значеніе. Пушкинъ, къ этому времени уже вступившій на путь художественнаго реализма, уяснилъ Гоголю сущность его таланта, сочувственно привѣтствовалъ первыя произведенія Гоголя, далъ ему сюжеты для „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“. Съ появленіемъ въ 1831 году 1-го тома „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ Гоголь приобрѣлъ литературную извѣстность. Ее окончательно упрочили сборники „Арабески“ и „Миргородъ“, а главное—„Ревизоръ“, написанный въ 1835 году. Весной 1836 г. комедія была поставлена на сценѣ. И игра артистовъ, въ большинствѣ не появившихъ пьесы, и отношеніе къ ней публики и критики угнетающе подѣйствовали на Гоголя. Онъ ѣдетъ за границу, желая, по его собственнымъ словамъ, „тамъ размыкать ту тоску, которую наносятъ ежедневно соотечественники“. Съ нѣкоторыми перерывами онъ живетъ за границей 12 лѣтъ (до 1848 г.). Глубокимъ горемъ отозвалась въ немъ вѣсть о кончинѣ Пушкина. „Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ!“—писалъ онъ по этому поводу. Его печаль была тѣмъ сильнѣе, что онъ въ это время работалъ надъ продолженіемъ „Мертвыхъ душъ“, которыя онъ называлъ „созданіемъ Пушкина“. Никогда не отличаясь крѣпкимъ здоровьемъ, Гоголь въ 1840 году перенесъ тяжелую болѣзнь. Она отразилась и на его душевномъ настроеніи. Исчезла беззаботная веселость, отмѣчавшая Гоголя въ юношескіе годы, все чаще и чаще овладѣваетъ имъ мрачное настроеніе. Мистицизмъ, высокомѣрное самомнѣніе, взглядъ на себя, какъ на пророка, призваннаго возвѣстить людямъ великія истины, заставляютъ Гоголя сомнѣваться въ результатахъ своей прошлой литературной дѣятельности. Онъ работаетъ надъ 2-й частью „Мертвыхъ душъ“ съ цѣлью исправить свои грѣхи и дать русскому обществу галерею положи-

тельныхъ, идеальныхъ типовъ. Эта задача шла въ разрѣзъ со всѣми особенностями таланта Гоголя, вмѣсто живыхъ лицъ получались какіе-то резонеры, художественное чувство не мирилось съ этимъ,—и душевный разладъ все возрасталъ. Подъ влияніемъ взгляда на себя, какъ на пророка, моралиста, учителя жизни, Гоголь въ 1847 году издалъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Самоувѣренная проповѣдь мистическихъ и реакціонныхъ идей въ этой книгѣ вызвала недоумѣніе и неудовольствіе даже въ кругу близкихъ къ Гоголю людей. Это было новымъ тяжелымъ ударомъ для Гоголя. Ища исцѣленія своихъ душевныхъ мукъ, Гоголь въ 1848 году совершилъ поѣздку на богомолье въ Іерусалимъ. По возвращеніи оттуда онъ жилъ преимущественно въ Москвѣ. Мрачное настроеніе все болѣе овладѣвало имъ, и въ припадкѣ меланхолии, незадолго до смерти, онъ сжегъ рукопись 2-й части „Мертвыхъ душъ“, уже готовую къ печати. Онъ скончался 21 февраля 1852 года.

Первымъ произведеніемъ Гоголя, создавшимъ ему извѣстность, былъ сборникъ разсказовъ подъ общимъ названіемъ „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“. Впечатлѣнія родной Малороссіи, съ ея поэтической природой, задушевыми пѣснями, повѣрьями и преданіями легли въ основу разсказовъ этого сборника („Майская ночь“, „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“, „Ночь передъ Рождествомъ“, „Заколдованное мѣсто“ и др.). Въ изображеніи простаго деревенскаго люда Гоголь не избѣжалъ значительной романтической идеализаціи. Парубки и дѣвушки у него всегда прикрашены, говорятъ часто искусственнымъ, книжнымъ языкомъ, да и изображаются они преимущественно въ праздничной обстановкѣ ихъ жизни. Читая большинство этихъ разсказовъ, какъ-то и въ голову не приходитъ, что передъ нами поютъ, танцуютъ, влюбляются, грустятъ крѣпостные крестьяне. Самая грусть здѣсь легка, поэтизирована. Но въ то же время будущій великій реалистъ сказывается и въ этихъ разсказахъ,—правда, еще не реалистъ-психологъ, а реалистъ-бытописатель. Такимъ бытовымъ реализмомъ проникнуты описанія ярмарки, вечерницъ, уличныхъ сценъ, домашнихъ бесѣдъ. Здѣсь реалистъ иногда даже уступаетъ свое мѣсто этнографу: недаромъ къ своимъ малороссійскимъ повѣстямъ Гоголь присоединилъ словарь.

Второй сборникъ разсказовъ Гоголя носитъ названіе „Миргородъ“. Преобладаніе реализма надъ идеализированнымъ изображеніемъ жизни и грустное настроеніе, лежащее въ основѣ большинства разсказовъ, отличаютъ этотъ сборникъ отъ „Вечеровъ на хуторѣ“. „Старосвѣтскіе помѣщики“ и „Повѣсть о томъ,

какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ особенно отмѣчены указанными чертами.

Въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ Гоголь изображаетъ двухъ старичковъ-супруговъ, Аѳанасія Ивановича и Пульхерію Ивановну. Съ глубокой любовью рисуетъ онъ намъ ихъ жизнь, въ которой одинъ день, какъ двѣ капли воды, похожъ на другой, будучи наполненъ трогательными заботами другъ о другѣ, хозяйственными хлопотами Пульхеріи Ивановны и заботами Аѳанасія Ивановича объ ѣдѣ и снѣ. Жизнь старичковъ замкнута предѣлами ихъ усадьбы, и „ни одно желаніе не перелетаетъ черезъ частоколъ, окружающій ихъ дворикъ“. Они не стремятся нарушить эту замкнутость, но когда внѣшній міръ проникаетъ къ нимъ въ лицѣ рѣдкихъ гостей, они встрѣчаютъ его представителей съ неизмѣнной ласковостью и старомодной вѣжливостью. Описание жизни Аѳанасія Ивановича послѣ смерти Пульхеріи Ивановны проникнуто грустнымъ лиризмомъ, и его любовь къ женѣ, не прекращенная и ея смертью, заканчивается примиряющей нотой описание жизни, въ существѣ своемъ мелкой и ничтожной.

„Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ захватываетъ глухую провинціальную жизнь шире, чѣмъ „Старосвѣтскіе помѣщики“. Передъ нами не только Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ съ ихъ пошлостью, мелочностью, сутяжничествомъ, роднящими ихъ, несмотря на всѣ ихъ индивидуальныя отличія, но и городничій, писцы уѣзднаго суда, самое засѣданіе этого суда, гдѣ во время разбора дѣла судья мирно бесѣдуетъ о дроздахъ, куда тяжущіеся приходятъ съ мѣшками крупы и другихъ припасовъ. Въ изображеніи этой уѣздной жизни и ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, перешедшей въ безконечную тяжбу, Гоголь впервые во всей силѣ проявилъ свою способность изображать, говоря его же словами, всю „пошлость пошлаго человѣка“. Съ особенной силой сказалась здѣсь и другая особенность творчества Гоголя— „смѣхъ сквозь слезы“, умѣнье заставить читателя въ одно и то же время и смѣяться надъ пошлостью, и грустно задумываться надъ нею. Въ этомъ разказѣ нѣтъ уже примиряющихъ нотъ „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“ и, заканчивая его описаніемъ своего выѣзда изъ Миргорода въ дождливый осенній день, послѣ встрѣчи съ постарѣвшими, осунувшимися, но все еще судящимися врагами, Гоголь восклицаетъ: „Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“

Въ „Миргородъ“ вошла также большая историческая повѣсть „Тарасъ Бульба“. Задумавъ написать исторію Малороссіи, Гоголь

занимался собиранієм матеріаловъ для этого труда, изучаль лѣтописи, записки современниковъ, а также народныя малороссійскія пѣсни и „думы“, сохранившія поэтическую память о прошломъ Малороссіи. Въ результатѣ этихъ изученій вмѣсто научнаго труда появилась повѣсть „Тарасъ Бульба“, изображающая бытъ запорожскаго казачества. И на содержаніи, и на формѣ повѣсти сказывается вліяніе народной поэзіи. Характеристика казачества, общій колоритъ эпохи, видѣвшей высшее проявленіе человѣческаго духа въ широкомъ разгулѣ физической силы, повышенный тонъ повѣствованія, проникнутаго лиризмомъ, часто прибѣгающаго къ приемамъ народной пѣсни, яркая образность языка,—все это слѣды несомнѣннаго вліянія „думъ“. Во второй редакціи повѣсти Гоголь усилилъ бытовыя черты въ описаніи Сѣчи и ея обычаевъ подъ вліяніемъ возросшаго въ немъ стремленія къ реализму. Тарасъ Бульба—старый боецъ Запорожской сѣчи, котораго воспитала жизнь, полная разгула, въ постоянныхъ схваткахъ то съ татарами, то съ поляками. Закаленный въ бояхъ, пламенно любящій свою родину, глубоко проникнутый чувствомъ товарищества, онъ всегда вѣренъ себѣ: и тогда, когда рѣшительно отнимаетъ сыновей у матери, не успѣвшей послѣ долгой разлуки побыть съ ними и дня, и тогда, когда съ крикомъ: „за Сѣчь! за славу и за всѣхъ христіанъ!“ онъ несется въ битву, или когда убиваетъ сына за его любовь къ полячкѣ. Въ плѣну у поляковъ, привязанный къ дереву, съ рукою, пробитою гвоздемъ, онъ думаетъ только о товарищахъ, о ихъ спасеніи. Въ противоположность Тарасу, сынъ его Андрей обладаетъ мягкостью чувства, которая свойственна малороссійскому характеру, но мало цѣнилась въ тотъ воинственный вѣкъ. Среди суровыхъ, обкуренныхъ пороховымъ дымомъ, полныхъ буйной удали лицъ трогательно выдѣляется образъ жены Бульбы, безотвѣтной женщины, осужденной на вѣчное одиночество и горькія думы о дѣтяхъ.

Петербургскія впечатлѣнія Гоголя нашли себѣ отраженіе въ рядѣ небольшихъ разсказовъ („Невскій проспектъ“, „Портретъ“, „Носъ“, „Шинель“, „Записки сумасшедшаго“). Самымъ интереснымъ изъ нихъ является „Шинель“. Реалистъ-бытописатель впервые поднимается здѣсь на высоту реалиста-психолога, изображающаго всѣ мельчайшія движенія человѣческой души.

Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ, жизнь котораго изображена въ „Шинели“, служитъ мелкимъ чиновникомъ-писцомъ. Онъ „какъ будто бы и родился совсѣмъ готовымъ, въ вицмундирѣ и съ лысиной на головѣ“. Весь интересъ жизни Акакія Акакіевича

въ переписываніи: онъ и подсмѣивается, и подмигиваетъ, и помогаетъ губами, добравшись до какой-нибудь любимой буквы; онъ и на улицахъ видитъ однѣ свои, ровнымъ почеркомъ переписанныя, буквы. Онъ робокъ и запуганъ. Департаментскіе сторожа обращаютъ на него столько же вниманія, сколько на пролетѣвшую муху. Начальство обращается съ нимъ, какъ съ вещью, а молодые чиновники издѣваются надъ нимъ, изошряя свое канцелярское остроуміе. Когда ихъ издѣвательства дѣлались ужъ очень невыносимы, а главное мѣшали работать, Акакій Акакіевичъ говорилъ: „Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?“ „И что-то странное“, говоритъ Гоголь, „заключалось въ словахъ и голосѣ, какимъ они были произнесены. Въ нихъ слышалось что-то преклоняющее на жалость... Въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: „Я братъ твой“. Эти нѣсколько словъ Акакія Акакіевича освѣщаютъ фигуру загнаннаго, смѣшнаго чиновника глубоко человѣческимъ свѣтомъ. Она дѣлается еще ближе намъ, когда Гоголь показываетъ, какъ лучъ идеала проникъ въ темную душу Акакія Акакіевича. Этотъ идеалъ мелокъ, какъ мелка и жизнь Акакія Акакіевича, но какъ всякій идеалъ, онъ смысливаетъ жизнь. Идеалъ Башмачкина—новая шинель. Она для него то же, что для другого мечта о какой-нибудь идеальной красавицѣ, грезы о славѣ, объ ученой карьерѣ, о высокомъ положеніи въ обществѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ Акакій Акакіевичъ, отказывая себѣ во всемъ, голодая, рѣшилъ сшить новую шинель, „самое его существованіе сдѣлалось полнѣе, какъ будто онъ женился, какъ будто бы какая-то пріятная подруга жизни согласилась съ нимъ проходить жизненную дорогу,—и подруга эта была не кто другой, какъ та же шинель на толстой ватѣ, на крѣпкой подкладкѣ, безъ износу. Онъ сдѣлался какъ-то живѣе, даже тверже характеромъ, какъ человѣкъ, который уже опредѣлилъ и поставилъ себѣ цѣль“. Наконецъ, шинель готова. Первый разъ за всю свою жизнь Акакій Акакіевичъ ничего не писалъ послѣ обѣда, а немножко „посибаритствовалъ на постели“. Въ тотъ же день ночью его ограбили, сняли шинель. Въ бѣднѣжкѣ просыпается рѣшительность. Онъ обиваетъ пороги начальства въ поискахъ помощи. Равнодушіе или безпричинныя „распеканія“ встрѣчаютъ его, и запуганный „значительнымъ лицомъ“, Акакій Акакіевичъ умираетъ. „Такъ исчезло существо“, говоритъ Гоголь, „переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла сошедшее въ могилу, но для котораго всетаки хоть передъ самымъ концомъ жизни мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь“.

Сюжетъ „Ревизора“, по словамъ самого Гоголя, былъ данъ ему Пушкинымъ. Гоголь изображаетъ въ этой комедіи бытъ и нравы чиновниковъ маленькаго провинціального городка. Жизнь чиновничества давала матеріаль нашимъ писателямъ чуть ли не со временъ Кантемира, но лишь Гоголю удалось сдѣлать ее предметомъ гениально-художественнаго воспроизведенія.

Передъ читателемъ или зрителемъ цѣлая галлерей чиновничьихъ типовъ. Во главѣ стоитъ Антонъ Антоновичъ Сквозникъ - Дмухановскій. Необразованный, но умный отъ природы, онъ гордится тѣмъ, что „мошенниковъ надъ мошенниками обманываль, пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣваль на уду“. Онъ „твердь въ вѣрѣ“, сознаетъ свои грѣхи, но утѣшается тѣмъ, что „нѣтъ человѣка, который бы за собою не имѣлъ какихъ-либо грѣховъ. Это ужъ такъ самимъ Богомъ устроено, и волтерьянцы напрасно противъ этого говорятъ“. Онъ страшный взяточникъ, и купцы обязаны „исполнять порядокъ“: носить на платье его супругѣ, поздравлять его съ ангеломъ „и на Антона, и на Онуфрія“. Страдаетъ отъ него и казна: онъ вступаетъ въ стачку съ купцами при подрядахъ, присваиваетъ себѣ деньги, ассигнованныя на постройку церкви при богоугодномъ заведеніи, а по начальству доноситъ, что церковь „начала строиться, но сгорѣла“.

Изъ-за крупной фигуры городничаго выступаютъ другія, болѣе мелкія: судья Ляпкинь-Тяпкинь, уѣздный мудрецъ и вольнодумецъ, до всего „доходящій собственнымъ умомъ“ и не глядявающій въ свои судебныя дѣла; попечитель богоугодныхъ заведеній Земляника, воръ и клязникъ, у котораго большыя „всѣ, какъ мухи, выздоравливають“; почтмейстеръ Шпекинъ, наивный человѣкъ, задерживающій и распечатывающій письма, чтеніе которыхъ доставляетъ ему массу удовольствія; безнадежно испуганный смотритель училищъ Хлоповъ, больше всего боящійся обвиненія въ неблагонамѣренныхъ мысляхъ; лекаръ Христіанъ Ивановичъ, не умѣющій объясняться по-русски и не употребляющій дорогихъ лекарствъ, такъ какъ, по объясненію Земляники, „человѣкъ простой: если умереть, то и такъ умереть, если выздоровѣть, то и такъ выздоровѣть“; Бобчинскій и Добчинскій, „сморчки короткобрюхіе, сороки долгохвостыя“, по опредѣленію городничаго, не принадлежащіе къ чиновничьему міру, но живущіе его интересами сплетники. Вся эта компанія живетъ въ далекомъ городишкѣ, „отъ котораго, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь“, живетъ сытно, спокойно, толкуетъ о сотвореніи міра, о борзыхъ кобеляхъ, ѣсть, пьетъ

играетъ въ карты. Ихъ жены и дочери, провинціальныя кокетки, рядятся, жеманятся, сплетничаютъ, читаютъ романы и мечтаютъ объ интересныхъ молодыхъ людяхъ. Эта мирная, безпечная жизнь нарушается слухомъ о прїѣздѣ ревизора, „инкогнито“, съ строжайшимъ предписаніемъ „осмотрѣть всю губернію, а особенно ихъ уѣздъ“. Все засуетилось. Подъ твердымъ руководствомъ городничаго принимаются мѣры, которыя въ результатѣ должны представить ревизору картину „благополучнаго обстоянія“. Напуганное воображеніе заставляетъ Бобчинскаго и Добчинскаго, а за ними и весь городъ, принять „сосульку за важнаго челоувѣка“. Мелкій петербургскій чиновникъ Хлестаковъ, обладающій „замѣчательной легкостью въ мысляхъ“, любящій прихвастнуть и застрявшій въ дрянномъ номерѣ единственной гостиницы изъ-за полного отсутствія денегъ, принимается за таинственнаго ревизора. Хлестаковъ, вовсе не отдавая себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, не думая о результатѣ, быстро входитъ въ роль важнаго лица и своимъ наивнымъ, беззащитнымъ хвастовствомъ нагоняетъ великаго страха на чиновниковъ. „У меня все вдругъ“, говоритъ онъ о себѣ: и дѣйствительно, онъ то беретъ деньги отъ городничаго, то обѣщаетъ купцамъ „убрать“ его; то объясняется въ любви женѣ городничаго, то проситъ руки его дочери, то, наконецъ, уѣзжаетъ, слѣдуя совѣтамъ своего смышленаго Осипа. Письмо, задержанное и вскрытое Шпекинымъ, открываетъ чиновникамъ глаза, а прїѣхавшій вслѣдъ за Хлестаковымъ подлинный ревизоръ „требуется ихъ всѣхъ немедленно къ себѣ“.

Художественное и общественное значеніе „Ревизора“ громадно. Въ художественномъ отношеніи „Ревизоръ“ является первой русской комедіей, окончательно порвавшей со старыми традиціями: здѣсь нѣтъ, какъ у Фонвизина, резонеровъ, разсуждающихъ, но не дѣйствующихъ, нѣтъ любовной интриги, считавшейся до Гоголя обязательной принадлежностью всякой комедіи, и завязка пьесы обнимаетъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. Великое общественное значеніе комедіи, явившейся, по словамъ ея эпиграфа, „зеркаломъ“ русскаго провинціальнаго чиновничества, доказывается тѣми ожесточенными нападками, которыя встрѣтило ея содержаніе. Извѣстно, что понадобилось заступничество императора Николая I, чтобы пьеса могла появиться на сценѣ. Проницательный Пушкинъ предугадаль, что ожидаетъ Гоголя за „Ревизора“ и отъ властей, задѣтыхъ имъ, и отъ цензуры, и отъ мало воспитанной въ художественномъ отношеніи публики. „Бѣдный Гоголь“, писалъ онъ, „будетъ уничтоженъ цензорами, ворами, критиками. Скажутъ, что Гоголь не обнаружилъ достаточ-

наго уваженія къ властямъ. Я отсюда слышу все, что будутъ говорить; даже актеры относятся крайне недовѣрчиво: они охотники до эффектныхъ тирадъ и находятъ діалогъ слишкомъ тривіальнымъ. Обо всемъ этомъ я предупреждалъ Гоголя, такъ какъ боюсь, чтобы онъ не сталъ унывать“. Мы уже знаемъ, какъ тяжело подѣйствовалъ на Гоголя приемъ, оказанный „Ревизору“.

Въ „Мертвыхъ душахъ“ Гоголь переноситъ читателя въ помѣщичій бытъ съ его крѣпостной обстановкой, изображаетъ жизнь губернскаго города и типъ „пріобрѣтателя“ Чичикова.

Павель Ивановичъ Чичиковъ, прошедшій тяжелую жизненную школу въ дѣтствѣ и юности, всякими правдами и неправдами добившійся доходнаго мѣста въ тамождѣ, лишается его за плутни и изыскиваетъ новыя средства поправить свое состояніе. Онъ задумалъ скупать у помѣщиковъ мертвыя души, за которыя они еще платили подать, какъ за живыя, такъ какъ такими эти души были отмѣчены въ ревизскихъ спискахъ и считались такими до новой ревизіи. Расчетъ Чичикова построенъ на томъ, что помѣщики рады будутъ избавиться отъ расходовъ, и онъ предлагаетъ намѣченнымъ имъ лицамъ уступить ему даромъ или за маленькую сумму мертвыя души съ тѣмъ, чтобы купчая крѣпость на нихъ была совершена, какъ на живыя. Онъ покупаетъ мертвыя души на выводъ—въ Херсонскую губернію, въ свое несуществующее имѣнье, которое онъ мечтаетъ пріобрѣсти и на самомъ дѣлѣ, если ему удастся заложить души въ опекунскій совѣтъ.

Эта простая завязка даетъ Гоголю возможность поставить Чичикова въ соприкосновеніе съ массой лицъ.

Первый помѣщикъ, съ которымъ Чичиковъ заводитъ разговоръ о своемъ дѣлѣ, — Маниловъ. Сентиментальный до приторности, онъ развилъ въ себѣ одну способность—воображеніе. Картины, которыя рисуетъ ему праздное воображеніе, пошлы, какъ пошла окружающая его жизнь. Онъ мечтаетъ, какъ бы провести отъ дома подземный ходъ, выстроить черезъ прудъ мостъ съ каменными лавками по обѣимъ сторонамъ или „огромнѣйшій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что можно видѣть оттуда Москву и тамъ пить вечеромъ чай, на открытомъ воздухѣ, и разсуждать о какихъ-нибудь пріятныхъ предметахъ“. Хозяйствомъ Маниловъ совершенно не занимается, и всѣми дѣлами у него управляетъ приказчикъ, который или спитъ, или пьянствуетъ.

„Дубиноголовая“ помѣщица Коробочка, захолустная скопидонка, плачется всегда на неурожай и убытки, а между тѣмъ „набираетъ понемногу деньжонокъ въ пестрядевыя мѣшочки, раз-

мѣщенные по ящикамъ комодовъ. Въ одинъ мѣшочекъ отбираетъ все пѣлковики, въ другой полтиннички, въ третій четвертачки, хотя съ виду и кажется, будто бы въ комодѣ ничего нѣтъ, кромѣ бѣлья, да ночныхъ кофточекъ, да распоротаго салопя, имѣющаго потомъ обратиться въ платье, если старое какъ-нибудь прогоритъ во время печенія праздничныхъ лепешекъ или поизотрется само собой“.

Ноздревъ своимъ безудержнымъ враньемъ напоминаетъ нѣсколько Хлестакова, но Хлестаковъ мелокъ, „сосулька“, по выраженію городничаго, тогда какъ Ноздревъ широкая, размашистая натура, созданная не Петербургомъ съ его хмурымъ небомъ, а просторомъ деревенской крѣпостной жизни, дикимъ разгуломъ ярмарочныхъ попоекъ. Избытокъ здоровья и энергіи заставляетъ Ноздрева быть вѣчно дѣятельнымъ, но дѣятельность эта направлена лишь на то, чтобы учинить какой-нибудь гомерическій кутежь, подраться съ кѣмъ-нибудь, сплутовать въ карты, накупить совершенно ненужныхъ вещей, „мѣнять все, что ни есть, на все, что хотите“. Буйный, безтолковый, Ноздревъ имѣетъ привычку нагадить ближнему безъ всякой причины: распустить небылицу, разстроить торговую сдѣлку, свадьбу. Встрѣтившись съ пріятелемъ, которому нагадилъ, онъ обходился совершенно дружелюбно и даже говорилъ: „Вѣдь ты такой подлець,—никогда ко мнѣ не заѣдешь!“

Собакевичъ, по опредѣленію Чичикова,—„кулакъ, да еще и бестія въ придачу“. Похожій внѣшностью на неуклюжаго медвѣдя, любящій „лучше съѣсть два блюда, да съѣсть въ мѣру, какъ душа требуетъ“, Собакевичъ грубъ, черствъ и положительъ. Никакихъ тонкостей и хитросплетеній онъ не любитъ, а дѣйствуетъ всегда просто и навѣрняка. Когда Чичиковъ, напуганный Ноздревымъ, назвавшимъ его „по дружбѣ“ за покупку мертвыхъ душъ мошенникомъ, начинаетъ свою рѣчь передъ Собакевичемъ издалека, толкуетъ о величіи Россіи и прочихъ отдаленныхъ предметахъ, Собакевичъ молча дожидается конца рѣчи и затѣмъ спокойно говоритъ: „Вамъ нужно мертвыхъ душъ? Извольте, я готовъ продать“.

Плюшкинъ, по словамъ самого Гоголя, составляетъ исключеніе на Руси, гдѣ чаще человѣкъ любитъ развернуться, пожить на широкую ногу. Это рабъ охватившей его скупости. Въ его кладовыхъ, амбарахъ, сараяхъ гниетъ безъ всякой пользы масса добра, а Плюшкинъ похожъ на нищаго: „если бы Чичиковъ встрѣтилъ его гдѣ-нибудь у церковныхъ дверей, то, вѣроятно, далъ бы ему мѣдный грошъ“. Плюшкину во всемъ мерещатся убытокъ,

упущеніе. Онъ встрѣчаетъ Чичикова такими словами: „Прошу покорнѣйше садиться! Я давненько не вижу гостей, да, признаться сказать, въ нихъ мало вижу проку. Завели пренебрежливый обычай ѣздить другъ къ другу въ гости, а въ хозяйствѣ-то упущенія... да и лошадей ихъ корми сѣномъ! Я давно уже отобѣдаль, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то со всѣмъ развалилась,—начнешь топить, еще пожару надѣлаешь“.

Только мелькомъ описано въ „Мертвыхъ душахъ“ чиновничество губернскаго города, но, какъ живые, стоятъ передъ нами: губернаторъ, добрый человекъ, умѣющій вышивать по тюлю; председатель палаты, обнимающій Чичикова на пиру у полиціймейстера со словами: „Душа ты моя! Мамочка моя!“, и самъ полиціймейстеръ, про котораго купцы говорятъ: „Хоть и возьметъ, да не выдастъ!“ Подстать имъ ихъ жены и дочери, пошло-сентиментальныя, вздорныя, занятыя сплетнями, нарядами и игрой мелкихъ самолюбій.

Въ этотъ помѣщичій и чиновный міръ и попадаетъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, „пріобрѣтатель“, движимый желаніемъ обогащенія. Сила воли, хитрость, тонкое знаніе людей, великое умѣнье ко всѣмъ и ко всему приспособиться—вотъ основныя черты Чичикова, сказавшіяся въ немъ еще въ дѣтствѣ. Въ губернскомъ городѣ онъ очаровалъ всѣхъ чиновниковъ своимъ солиднымъ и пріятнымъ обращеніемъ, умѣньемъ каждому сказать льстивое слово. Развѣзжая по помѣщикамъ для покупки мертвыхъ душъ, онъ съ каждымъ обращался по-разному: съ Маниловымъ мечталъ о прелестяхъ дружеской жизни, съ Собакевичемъ бесѣдовалъ о хозяйствѣ, съ Коробочкой—о казенныхъ подрядахъ, съ Плюшкинымъ—о разумной экономіи. Онъ всѣмъ умѣлъ понравиться. Даже Собакевичъ, никогда ни о комъ не отзывавшійся безъ браннаго слова, говоритъ своей женѣ: „Я, душенька, былъ у губернатора на вечерѣ, у полиціймейстера обѣдаль и познакомился съ коллежскимъ совѣтникомъ Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ: препрятный человекъ!“ Гоголь подчеркиваетъ громадную силу воли своего героя. Добродѣтельный откупщикъ Муразовъ (во 2-мъ томѣ) говоритъ ему: „Ахъ, Павелъ Ивановичъ! Какой бы изъ васъ былъ человекъ, если бы также, и силою, и терпѣніемъ, да подвизались на добрый трудъ, имѣя лучшую цѣль! Боже мой, сколько бы вы надѣлали добра!“ Но воля и энергія Чичикова направлены только на пріобрѣтеніе богатства.

Мы могли только бѣглыми штрихами отмѣтить типы, выведенные Гоголемъ въ первомъ томѣ „Мертвыхъ душъ“. Немного во всей міровой литературѣ найдется типовъ, столь глубоко об-

рисованныхъ, совмѣщающихъ въ себѣ не только черты бытовья, національныя, но и общечеловѣческія.

Самъ Гоголь хорошо понималъ глубину созданныхъ имъ образовъ и подчеркивалъ эту ихъ особенность. Такъ, сдѣлавъ характеристику Ноздрева, Гоголь прибавляетъ: „Ноздревъ долго еще не выведется изъ міра. Онъ вездѣ между нами и, можетъ быть, только ходитъ въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-непроницательны люди, и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ“. Съ поразительной силой нарисовавъ образъ Плюшкина, Гоголь говоритъ: „И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ низойти человѣкъ? могъ такъ измѣниться? И похоже это на правду? Все похоже на правду, все можетъ статься съ человѣкомъ. Нынѣшній же пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собой въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество,—забирайте съ собой всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ: не подымете потомъ!“

Мы знаемъ уже, что во второй части „Мертвыхъ душъ“ Гоголь хотѣлъ исправить свой воображаемый грѣхъ „однобокаго“ изображенія русской жизни и дать свѣтлые, положительные типы. По самому свойству таланта Гоголь не могъ исполнить этой задачи: Муразовъ, добродѣтельный откупщикъ, Костанжогло, расчетливый хозяинъ-богачъ, Улинька, дочь генерала Бетрищева, совсѣмъ не удались ему, вышли блѣдными и безцвѣтными. Зато типы отрицательные вышли яркими и здѣсь. Таковы Пѣтухъ, Бетрищевъ, и особенно Тентетниковъ, одаренный хорошими задатками, но губящій ихъ праздною, лѣнливою жизнью, „байбакъ“, „коптителъ неба“.

Встрѣчая озлобленныя нападки критики, недоумѣніе многихъ читателей по поводу особенностей своихъ произведеній, Гоголь самъ мучительно и долго задумывался надъ опредѣленіемъ сущности своего таланта и своихъ произведеній. Свои раздумья онъ выразилъ въ VII главѣ первой части „Мертвыхъ душъ“, давъ глубоко прочувствованную и правдивую оцѣнку своей литературной дѣятельности. Онъ сравниваетъ здѣсь судьбу двухъ писателей. Одинъ, „не касаясь земли“, весь „повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы. Онъ окурилъ оболстительнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка“. Его судьба завидна: „все, рукоплеща, несется за нимъ и мчится вслѣдъ за торжественной его колесницей“. Другой писа-

тель „дерзнулъ вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами, и чего не зрять равнодушныя очи,— всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ“... Печаленъ его удѣль. „Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единокорнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ“... Его назовутъ писателемъ, „оскорбляющимъ челоѣчество“, такъ какъ „не признаетъ современный судъ, что равно чудны стекла, озирающія солнцы, и передающія движенія незамѣтныхъ насѣкомыхъ; ...что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перль созданія; ...что высокій восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ, и что цѣлая пропасть между нимъ и кривляньемъ балаганнаго скомороха!“ Себя разумѣлъ Гоголь подъ именемъ второго писателя и гналъ „набѣжавшія на чело морщины и строгій сумракъ лица“, вѣря, что ему „опредѣлено чудной властью озирать всю громадно несущуюся жизнь... сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы“.

ХІІІ.

М. Ю. Лермонтовъ.

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ родился въ Москвѣ 3 октября 1814 года. Вскорѣ послѣ рожденія сына отецъ его вмѣстѣ съ женой уѣхали изъ Москвы въ свое имѣніе Тарханы (Пензенской губерніи). Черезъ три года умерла мать Лермонтова, и ребенокъ остался на попеченіи бабушки. Она горячо любила внука, но ненавидѣла зятя. Баловство бабушки и раболѣпство крѣпостной дворни оказали весьма дурное вліяніе на мальчика, а разладъ между отцомъ и бабушкой слишкомъ рано заставилъ работать юную голову надъ вопросомъ о людскихъ отношеніяхъ, сдѣлаться судьей между близкими и любимыми людьми. Послѣ домашней подготовки, съ хорошимъ знаніемъ трехъ иностранныхъ языковъ, Лермонтовъ поступилъ въ Московскій благородный пансіонъ. Къ этому времени относится близкое знакомство Лермонтова съ русской литературой и первые его поэтическіе опыты. Въ 1830 году Лермонтовъ поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ пробылъ два года. Университетская жизнь не оставила замѣтныхъ слѣдовъ въ жизни Лермонтова. Ведя свѣтскую жизнь, онъ стоялъ въ сторонѣ отъ кружковъ молодежи. Вспоминая впоследствии университетскіе годы, онъ писалъ:

Святое мѣсто! Помню я, какъ сонъ,
Твои каѣдры, залы, корридоры,
Твоихъ сыновъ заносчивые споры:
О Богѣ, о вселенной, и о томъ,
Какъ пить: ромъ съ чаемъ или голый ромъ.

Выйдя изъ университета, Лермонтовъ поступилъ въ кавалерійскую юнкерскую школу въ Петербургѣ, гдѣ сошелся съ кружкомъ кутящей молодежи, участвуя въ ихъ не всегда чистоплот-



М. Ю. Лермонтовъ.

ныхъ похожденияхъ. Годы пребыванія въ юнкерской школѣ оставили въ немъ тяжелыя воспоминанія, и онъ самъ называлъ ихъ „двумя ужасными годами“. По выходѣ изъ школы Лермонтовъ поступаетъ въ гусарскій полкъ и ведетъ свѣтскую жизнь богатаго офицера. Въ 1837 году имъ было написано знаменитое стихотвореніе „На смерть Пушкина“. За послѣднія 16 строкъ этого произведенія онъ былъ посланъ на Кавказъ. Возвратившись изъ ссылки въ 1838 году, Лер-

монтовъ проводитъ въ Петербургѣ около двухъ лѣтъ, а затѣмъ за дуэль съ Барантомъ вновь ссылается въ дѣйствующую армію на Кавказъ, гдѣ участвуетъ въ стычкахъ и сраженіяхъ съ горцами. Въ концѣ 1840 года Лермонтову дали отпускъ, которымъ онъ воспользовался, чтобы побывать въ Петербургѣ и Москвѣ. Въ апрѣлѣ 1841 года онъ снова отправился на Кавказъ. Вернуться оттуда ему уже не пришлось: 15 іюля 1841 года состоялась его дуэль съ Мартыновымъ, окончившаяся смертью поэта.

Первые литературные опыты Лермонтова являются подражаніемъ или передѣлкой Пушкинскихъ произведеній. Тѣмъ не менѣе и въ этихъ опытахъ сказываются нѣкоторыя личныя особенности Лермонтовскаго дарованія: склонность ко всему мрачному,

трагическому, ббльшее, чѣмъ у Пушкина, увлеченіе байроническимъ идеаломъ гордой личности, надѣленной, въ стилѣ романтическихъ героевъ, мощнымъ духомъ, великой и въ добрѣ, и въ злѣ. Таковъ, напримѣръ, герой поэмы „Измаиль-бей“, черкесскій князь, выросшій въ Россіи, но ненавидящій русскихъ и мстящій имъ за угнетеніе родины.

Основнымъ мотивомъ глубоко субъективной поэзіи Лермонтова въ зрѣлую пору его творчества является разочарованіе, грусть, переходящая то въ гнѣвное чувство, то въ безнадежное отчаяніе.

Одна изъ причинъ его разочарованія—разладъ съ обществомъ, въ которомъ онъ принужденъ жить. Въ стихотвореніи „Дума“ Лермонтовъ такъ характеризуетъ духовное состояніе русскаго общества:

Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы,
Передъ опасностью позорно-малодушны
И передъ властію презрѣнные рабы..
Мечты поэзіи, созданія искусства
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ;
Мы жадно бережемъ въ груди остатки чувства—
Зарытый скупостью и бесполезный кладъ.
И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови..

Въ стихотвореніи „На смерть Пушкина“, подъ вліяніемъ гибели любимаго поэта, Лермонтовъ съ негодованіемъ обрушивается на „свободы, генія и славы палачей“, „жадною толпой стоящихъ у трона“, умѣющихъ заставить молчать „и судъ, и правду“.

Поэту не по себѣ въ этомъ обществѣ. Изъ холоднаго, равнодушнаго свѣта онъ переносится къ недавней старинѣ („Первое января“), летитъ вольной птицей къ созданіямъ своей мечты, дельѣтъ эти созданія—

Съ глазами, полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
За рощей первое сіянье.

Но въ его мечты врывается пошлая дѣйствительность, настроеніе его мѣняется:

Когда жъ, опомнившись, обманъ я узнаю,
И шумъ толпы людской спугнетъ мечту мою,
На праздникъ незванную гостью,
О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью!

Разочарованный въ обществѣ, поэтъ стремится на волю, ближе къ природѣ, гдѣ думаетъ найти настоящую жизнь среди простыхъ, нетронутыхъ цивилизаціей натуръ. Любимый Лермонтовымъ Кавказъ влечетъ его, и на фонѣ его грандіозно-красивой природы поэтъ рисуетъ намъ образъ Мцыри, монастырскаго послушника. Онъ мальчишкою попалъ въ монастырь и выросъ „въ сумрачныхъ стѣнахъ“. Онъ рвется на волю—

Въ тотъ чудный міръ тревогъ и битвъ,
Гдѣ въ тучахъ спрячутся скалы,
Гдѣ люди вольны, какъ орлы.

Мцыри бѣжитъ изъ монастыря въ бурю, въ грозу, когда испуганные иноки лежатъ ницъ передъ алтаремъ. Ему хочется достигнуть родины, о которой онъ хранитъ смутное воспоминаніе, но, проблуждавъ три дня, онъ опять очутился въ монастырѣ, близкій къ смерти. На вопросъ старика-монаха, что онъ дѣлалъ на волѣ, Мцыри отвѣчаетъ:

Жиль.—И жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была бъ печальнѣй и мрачнѣй
Безсильной старости твоей.

За эти три дня онъ испыталъ все, чѣмъ красна, по его мнѣнію, жизнь: чувство сліянiя съ могучей природой, сладкія грезы любви, опьяняющую радость битвы съ ужаснымъ врагомъ. Онъ много страдалъ, но не могъ смириться, не хотѣлъ вернуться къ людямъ:

... Помощи людской
Я не искалъ. Я былъ чужой
Для нихъ навѣкъ, какъ звѣрь степной;
И если бъ хоть минутный крикъ
Мнѣ измѣнилъ, клянусь, старикъ,
Я-бъ вырвалъ слабый мой языкъ!

Непреодолима сила души, неукротимое чувство свободы звучитъ въ исповѣди Мцыри. Въ немъ видна натура непреклонная, гордая, дѣятельная, противоположная холоднымъ, разсудительнымъ, бездѣйственнымъ людямъ, къ которымъ Лермонтовъ обращалъ укоризны своей „Думы“.

Другая причина Лермонтовскаго разочарованiя болѣе глубока: она коренится въ его неудовлетворенности земной жизнью вообще, въ страстныхъ порыванiяхъ къ „звукамъ небесъ“ отъ „скучныхъ пѣсень земли“ („Ангелъ“), носить характеръ міровой скорби. На землѣ нѣтъ настоящей любви, потому что „вѣчно любить невозможно“, потому что „въ себя ли заглянешь—тамъ про-

шлаго нѣтъ и слѣда“, потому, наконецъ, что вся земная жизнь— „пустая и глупая шутка“ („И скучно, и грустно“). И въ этомъ виновато уже не общество, не люди, а Тотъ, Кто „изобрѣлъ мученія“ поэта, къ Кому онъ обращается съ такими словами:

За все, за все Тебя благодарю я:
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За мечь враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растроченный въ пустынѣ,
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Недолго я еще благодарить.

Мотивы разочарованія, разбросанные въ небольшихъ лирическихъ произведеніяхъ Лермонтова, шире захвачены въ двухъ крупныхъ его произведеніяхъ: въ „Демонъ“ и въ „Героѣ нашего времени“. Оба эти произведенія проникнуты глубокимъ субъективизмомъ. Написанный подъ сильными романтическими вліяніями, „Демонъ“ изображаетъ падшаго ангела. Онъ возсталъ противъ Бога, источника свѣта, любви, добра, и за это осужденъ вѣчно блуждать „въ пространствѣ міра, безъ цѣли и пріюта“. Но въ немъ живо воспоминаніе о прежнемъ блаженствѣ. Онъ тоскуетъ и не находитъ наслажденія въ сознаніи могучей власти дѣлать зло: „онъ сѣялъ зло безъ наслажденья“. Вѣчно блуждающій, отвергнутый небомъ и людьми, онъ томится своимъ одиночествомъ. Ему тяжело—

Жить для себя, скучать собою
И этой вѣчною борьбою,
Всегда желать и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видѣть,
Все противъ воли ненавидѣть,
Все безотрадно презирать!..

Иногда онъ завидуетъ даже „неполной радости земной“. Демонъ мечтаетъ, что его возродитъ когда-нибудь къ прежней жизни любовь смертной женщины, надѣленной исключительной силой чувства. Такой женщиной представляется Демону Тамара. Онъ посѣщаетъ ее въ сновидѣніяхъ, возбуждаетъ въ ней любовь и жалость къ себѣ. Тамара уходитъ въ монастырь. Демонъ проникъ и туда. Сначала онъ является Тамарѣ во снѣ, а затѣмъ входитъ въ ея келью—

... Любите готовый,
Съ душой, открытой для добра,
И мыслить онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора.

Тамара взволнована и растрогана его исповѣдью, его страстнымъ чувствомъ и требуетъ отъ него клятвы въ томъ, что онъ откажется отъ зла. Демонъ клянется всѣмъ, дорогимъ и мучительнымъ для него, и говорить:

Отрекся я отъ старой мести,
Отрекся я отъ гордыхъ думъ,
Отнынѣ ядъ коварной лести
Ничей ужь не встревожить умъ;
Хочу я съ небомъ примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я вѣровать добру.

Но исполнить свою клятву, переродиться нравственно Демонъ не можетъ: онъ любитъ Тамару лишь для себя, онъ сулитъ ей блаженство жизни „безъ сожалѣнія, безъ участія“ къ землѣ и людямъ. Тамара умираетъ, душа ея возносится къ Богу, а Демонъ, попрежнему тоскующій, остался—

Одинъ, какъ прежде, во вселенной
Безъ упованья и любви!

„Демонъ“ былъ любимымъ дѣтищемъ Лермонтова. Задумавъ его пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, онъ работалъ надъ нимъ въ теченіе многихъ лѣтъ, и можно смѣло сказать, что онъ вложилъ въ него частицу самого себя. Недаромъ въ посвященіи второго очерка поэмы Лермонтовъ говорить:

Какъ демонъ мой, я зла избранникъ,
Какъ демонъ, съ гордою душой,
Я межъ людей безпечный странникъ,
Для міра и небесъ чужой.
Прочтя, мою съ его судьбою
Воспоминаніемъ сравни,
И вѣрь безжалостной душою,
Что мы на свѣтъ съ нимъ одни.

Муки одиночества—вотъ основная идея „Демона“. Лермонтовъ хотѣлъ самъ себѣ отвѣтить на вопросъ о томъ, можетъ ли человѣкъ помириться съ полнымъ одиночествомъ, хотя бы онъ былъ настолько силенъ, чтобъ не искать поддержки въ другихъ, хотя бы въ немъ погибли всѣ добрыя чувства, хотя бы онъ былъ разочарованъ въ жизни до полнаго къ ней равнодушія. Лермонтовъ словно утѣшалъ самъ себя тѣмъ, что настоящая, охватывающая все существо любовь можетъ обновить человѣка, избавить его отъ мукъ одиночества. Правда, его Демонъ остался, въ концѣ концовъ, одинъ, но его чувство къ Тамарѣ было любовью эгоистичной, а не той любовью-исцѣлительницей, о которой мечталъ поэтъ.

„Герой нашего времени“ — наиболѣе крупное произведеніе Лермонтова. Весь интересъ романа, состоящаго изъ нѣсколькихъ разсказовъ, сосредоточенъ на личности Печорина, который характеризуется всесторонне и при помощи различныхъ художественныхъ приѣмовъ: мы узнаемъ Печорина изъ его дневника („Княжна Мэри“), изъ разсказовъ о немъ другихъ лицъ („Бэла“, „Максимъ Максимычъ“), изъ нѣсколькихъ эпизодовъ его жизни, записанныхъ имъ самимъ въ видѣ разсказовъ („Фаталистъ“, „Тамань“). Тѣмъ не менѣе, несмотря на детальность характеристики, образъ Печорина вызывалъ и вызываетъ самое противоположное къ себѣ отношеніе. Одни видѣли въ немъ типъ умнаго человѣка, загубленнаго жизнью, другіе — типъ свѣтскаго щеголя вродѣ Онѣгина, безцѣльно существующаго на свѣтѣ, третьи, наконецъ, хотѣли видѣть въ Печоринѣ портретъ Лермонтова. Ближе всего къ истинѣ послѣдніе, хотя здѣсь и надо сдѣлать оговорку: Печоринъ — портретъ Лермонтова, но только того времени, когда былъ созданъ „Герой нашего времени“. Уже ко времени второго изданія романа, въ теченіе неполныхъ двухъ лѣтъ, оригиналь, съ котораго былъ сдѣланъ портретъ, сильно измѣнился. Въ предисловіи ко второму изданію Лермонтовъ подчеркиваетъ свое намѣреніе отдать Печорина на судъ общественнаго мнѣнія, какъ явленіе болѣзненное. Между тѣмъ въ самомъ романѣ отношеніе къ Печорину совсѣмъ иное: никакой обличительной цѣлью Лермонтовъ въ немъ не задается, а просто передаетъ въ образѣ Печорина одинъ изъ моментовъ своей душевной жизни, когда онъ мучительно занимался пересмотромъ всѣхъ основныхъ вопросовъ жизни. Утомившись этой душевной работой, не приведшей ни къ какому положительному результату, Лермонтовъ отбросилъ всѣ эти вопросы въ сторону, рѣшивъ жить, какъ живетъ, не обуздывая себя ни въ одномъ своемъ стремленіи, хорошемъ или дурномъ, давъ волю всѣмъ противорѣчіямъ своей многострунной души.

Таковъ и Печоринъ, весь сотканный изъ противорѣчій. Онъ способенъ къ глубокой, искренней любви. Такой любовью онъ любитъ Вѣру („Княжна Мэри“). Въ это же самое время онъ кокетничаетъ съ княжною Мэри и издѣвается надъ ней для того только, чтобы испытать „необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души“. „Эта душа“, говоритъ онъ, „какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось, кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, погло-

щающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы“. Безграничный эгоизмъ звучитъ въ этихъ словахъ, но сердце Печорина далеко не черствое. Онъ плачетъ, какъ ребенокъ, послѣ прощанья съ Вѣрой, испытавъ новый, неизвѣданный еще приливъ чистаго, не эгоистическаго чувства. Онъ глубоко понимаетъ и чувствуетъ природу, онъ поэтъ, не менѣе самого Лермонтова, и, какъ въ поэтѣ, въ моменты волненія въ немъ проглядываетъ сердечное отношеніе къ окружающему. Иногда мы видимъ, что внѣшняя холодность Печорина является результатомъ силы и тонкости его ума. „Мы знаемъ заранѣе“, говоритъ Печоринъ про свои отношенія къ одному пріятелю, „что обо всемъ можно спорить до бесконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти всѣ сокровенныя мысли другъ друга; одно слово—для насъ цѣлая исторія; видимъ зерно каждаго нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное намъ смѣшно, смѣшное грустно, а вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равнодушны, кромѣ самихъ себя“. При такомъ проникновеніи въ душу другого человѣка, конечно, не можетъ быть и рѣчи объ увлеченіи и воодушевленіи. Любовь и дружба—единственныя чувства, о которыхъ Печоринъ говоритъ вполне ясно и откровенно, иногда, сказали бы мы, цинично. Остальные коренные вопросы человѣческаго существованія обходятся имъ. Вскользь говоритъ онъ о томъ, что не имѣетъ убѣжденій, мелькомъ говоритъ нѣсколько скептическихъ фразъ о бессмертіи души, мелькомъ говоритъ о своемъ безотрадномъ будущемъ.

Печоринъ самъ даетъ, если не полное объясненіе своей личности, то ключъ къ нему. Отсутствие гармоніи душевныхъ силъ: ума, чувства и воли,—вотъ основная черта его личности. Отсюда вѣчное раздвоеніе, самоанализъ, рефлексія. „Я давно уже“, говоритъ Печоринъ, „живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслить и судить его“. Сильно развита въ немъ и воля, но ея избытокъ онъ не хочетъ или, быть можетъ, въ силу условій воспитанія и среды, не можетъ направить на настоящее дѣло. И воля, энергія, властность его натуры тратятся на мелкія любовныя побѣды, на изощренную борьбу съ ничтожными врагами въ родѣ Грушницкаго. Его начинаетъ интересовать самый процессъ столкновенія его воли съ волей другихъ, безъ всякаго отношенія къ тому, во имя чего

ведется борьба, какова ея моральная цѣнность. Сторона чувства развита въ немъ слабо. Онъ знаетъ это и, неспособный отдаться чувству, томится духовнымъ одиночествомъ. Неспособный полюбить человѣка, Печоринъ неспособенъ полюбить и идею, не можетъ увлечься чѣмъ-нибудь, что осмыслило бы его жизнь. Онъ тяготится этимъ въ инныя минуты и маскируетъ свое чувство скептическимъ отрицаніемъ убѣжденій, предается холодному и мрачному отрицанію. Разумъ подсказывалъ ему одно, сердце говорило совсѣмъ о другомъ, и первый голосъ былъ почти всегда сильнѣе.

Таковъ былъ Печоринъ, таковъ былъ Лермонтовъ въ моментъ созданія „Героя нашего времени“. Онъ немного прожилъ послѣ этого и умеръ, не разрѣшивъ своихъ сомнѣній. Бесплодно гадать, что далъ бы намъ Лермонтовъ, если бы его жизнь не прервалась такъ рано, но нельзя не указать, что среди мотивовъ разочарованія, скептицизма и міровой скорби выливались у него, особенно въ послѣдніе годы, лирическія стихотворенія и другого характера, проникнутыя хотя и грустнымъ, но мягкимъ, умиротворяющимъ настроеніемъ. Одни изъ нихъ носятъ чисто личный характеръ, другія—религіозный. Какъ необычно для Лермонтова звучить, на примѣръ, такое стихотвореніе:

Любилъ и я въ былые годы,
Въ невинности души моей,
И бури шумныя природы,
И бури тайныя страстей.
Но красоты ихъ безобразной
Я скоро таинство постигъ,
И мнѣ наскучилъ ихъ несвязный
И оглушающій языкъ.

Люблю я больше, годъ отъ году,
Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ,
Путру ясную погоду,
Подъ вечеръ—тихий разговоръ...

Даже Демонъ, его любимый образъ съ отроческихъ лѣтъ, теряетъ надъ нимъ свою власть. Поэтъ вспоминаетъ, какъ Демонъ въ юности сіялъ для него—

Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималася—и этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ.
Но я, разставшись съ прочими мечтами,
И отъ него отдѣлался—стихами!

Религіозныя темы въ послѣдніе годы начинаютъ все чаще привлекать вниманіе Лермонтова. Приведенное нами выше стихотво-

реніе „Благодарность“ является какъ бы послѣднимъ отзвукомъ прежняго гордаго, озлобленнаго отношенія къ Богу, и въ „Молитвѣ“, „Казачьей колыбельной пѣснѣ“, въ стихотвореніи „Когда волнуется желтѣющая нива“ царить духовный миръ, религиозное смиреніе. Какъ-то не вѣрится, что перу одного и того же поэта принадлежатъ: „Благодарность“ и такая вещь, какъ „Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою“.

Отдавъ въ ранней юности дань увлеченію военно-патріотическимъ идеаломъ (въ „Измаилъ-Беѣ“, „Опять народные витіи“), Лермонтовъ къ концу жизни молчитъ о нихъ, старается опредѣлить сущность своей любви къ родинѣ, и у него выливается задушевная элегія, нарѣдкость красиво передающая его органическое тяготѣніе не къ официальной, парадной и воинствующей Россіи, которая не „шевелитъ въ немъ отраднаго мечтанья“, а къ простой, деревенской Руси, съ „холоднымъ молчаньемъ ея степей“, съ „безбрежнымъ колыханьемъ лѣсовъ“.

Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ,
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вдыхая о нощлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣ, средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ,
Подъ говоръ пьяныхъ мужиковъ.

При всей глубокой субъективности поэзіи Лермонтова, ея значеніе нельзя оцѣнивать внѣ рамокъ общественныхъ условій тридцатыхъ годовъ, на которые падаетъ расцвѣтъ его литературной дѣятельности. Это были тревожные годы. Несмотря на начавшійся гнетъ „официальной народности“, несмотря на всѣ преграды, стремившіяся оградить русское общество отъ вліянія западно-европейскихъ идей, общественное сознаніе крѣпло. Неопредѣленный и туманный романтизмъ поддерживалъ стремленія въ „туманную даль“ лучшаго будущаго. Заработала философская мысль. Объективно спокойная поэзія Пушкина, помирившаяся съ жизнью на почвѣ чистой эстетики, не удовлетворяла уже молодежь. Ее тревожатъ міровые вопросы, „загадки

бытія“, вопросы религіозные, нравственные, политическіе, она чувствует свою слабость въ ихъ рѣшеніи, и то падаетъ духомъ, то негодуетъ на внѣшнія условія, стѣсняющія работу мысли. Вся эта смутная тревога проснувшейся, но еще не вышедшей на опредѣленную дорогу мысли и выразилась въ поэзіи Лермонтова. Онъ былъ сынъ своего переходнаго времени.

XIV.

А. В. Кольцовъ.

Съ давнихъ поръ, еще съ Екатерининскаго времени, народная поэзія стала привлекать къ себѣ вниманіе нашихъ писателей. Писатели сентиментальной школы, не вполне понимая духъ народной поэзіи, любили влагать въ уста своихъ приукрашенныхъ „поселянъ“ народные мотивы. Жуковскій пишетъ рядъ произведеній на сюжеты русскихъ сказокъ. Пушкинъ, не довольствуясь тѣмъ, что переложилъ въ стихи сказки своей няни, неоднократно вдохновлялся мотивами народной поэзіи („Только что на проталинкахъ весеннихъ...“, „Медвѣдица“). Его другъ Дельвигъ старался придать народный характеръ своимъ романсамъ, пѣснямъ и идилліямъ. Гоголь широко воспользовался народными пѣснями и повѣрьями въ своихъ „Вечерахъ на хуторѣ“. Кольцову суждено было сдѣлать народную пѣсню прочнымъ достояніемъ нашей литературы.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился 2 октября 1808 г. въ семьѣ довольно состоятельнаго воронежскаго прасола. Въ раннемъ дѣтствѣ мальчикъ „не вѣдалъ ни науки, ни нѣги“. Только на десятомъ году мальчика стали учить грамотѣ и отдали потомъ въ уѣздное училище, гдѣ курса ему не пришлось кончить, такъ какъ отецъ рѣшилъ, что умѣнья читать и писать достаточно для сына. Съ этого времени Кольцовъ началъ помогать отцу въ его торговыхъ дѣлахъ. Цѣлыми мѣсяцами приходилось ему развѣзжать по степи, которая производила чарующее впечатлѣніе на его мечтательную, чуткую къ красотамъ природы душу. Еще въ дѣтствѣ, въ школѣ, пристрастился онъ къ чтенію, а съ 16 лѣтъ начались его первые стихотворные опыты. Сначала на него имѣли вліяніе Ломоносовъ, Державинъ, и онъ подражалъ имъ. Съ большимъ трудомъ добывая книги, Кольцовъ познакомился наконецъ съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, которые произвели на него сильное впечатлѣніе. Въ это время ему посчастливилось найти себѣ вѣрнаго друга и образованнаго ру-

ководителя въ лицѣ семинариста Серебрянскаго. Дружба скрашивала тяжелыя условія жизни Кольцова среди сѣрой, мѣщанской семьи, не понимавшей идеальныхъ стремленій юноши. Совершенно случайно слухъ о Кольцовѣ дошелъ до Н. В. Станкевича, который былъ сыномъ воронежскаго помѣщика. Станкевичъ познакомился съ молодымъ поэтомъ и въ 1835 г. издалъ книжку его стихотвореній. Эта книжка доставила Кольцову литературную извѣстность. Жуковский, Пушкинъ, Бѣлинскій съ теплой симпатіей относились къ поэту. По торговымъ дѣламъ Кольцовъ довольно часто бывалъ въ Москвѣ и Петербургѣ, и каждый разъ съ тяжелымъ чувствомъ возвращался домой, гдѣ съ пренебреженіемъ и неудовольствіемъ смотрѣли и на его новыя знакомства, и на его поэтическую дѣятельность. Завѣтной мечтой Кольцова было оставить Воронежъ, переѣхать въ одну изъ столицъ и завести тамъ книжную лавку, чтобы стать самостоятельнымъ человѣкомъ. Чисто внѣшнія обстоятельства не дали осуществиться этой мечтѣ. А жизнь на родинѣ становилась все тяжелѣе и тяжелѣе... Къ семейнымъ недоразумѣніямъ присоединился неудачный романъ и тяжелая болѣзнь. „Тѣсень мой кругъ, грязень мой міръ, горько жить мнѣ въ немъ!“—писалъ Кольцовъ одному изъ друзей: „долго мнѣ не сдобровать“. Предчувствія не обманули его, и онъ сошелъ въ могилу сравнительно еще въ молодые годы, 29 октября 1842 г.

Всѣ стихотворенія Кольцова можно раздѣлить на два отдѣла: пѣсни и „думы“. „Думы“—это, по большей части, стихотворенія философскаго характера, въ которыхъ поэтъ останавливается на вопросахъ міровыхъ („Великая тайна“, „Божій міръ“). Художественное ихъ значеніе очень невелико, такъ какъ Кольцовъ беретъ здѣсь за темы, слишкомъ несродныя его дарованію и общему уровню его развитія. Совсѣмъ другое нужно сказать о его пѣсняхъ. Будучи близокъ къ народу по своему происхожденію, проведя среди него большую часть своей жизни, Кольцовъ усвоилъ особенности его духовнаго склада, его міросозерцанія, узналъ хорошо его жизнь и, пользуясь мотивами и приѣмами народнаго творчества, отразилъ запасъ своихъ наблюденій въ художественныхъ пѣсняхъ.

Въ поэтическихъ образахъ рисуетъ онъ картину крестьянскаго труда („Пѣсня пахаря“, „Урожай“, „Косарь“), думы земледѣльца, его надежды, тревоги. „Поэзія ржаного поля“, о которой впослѣдствіи говорилъ Глѣбъ Успенскій, нашла откликъ въ душѣ Кольцова. Съ любовью изображаетъ онъ мирную, трудовую жизнь крестьянина.

Посмотрю пойду,	Косить подь корень
Полюбуюся,	Рожь высокую.
Что послалъ Господь	Въ копны частыя
За труды людямъ.	Снопъ сложены;
Выше пояса	Отъ возовъ всю ночь
Рожь зернистая	Скрипитъ музыка.
Дремлетъ колосомъ	На гумнахъ вездѣ,
Почти до земли;	Какъ князья, скирды
Словно Божій гость,	Широко сидятъ,
На всѣ стороны	Поднявъ головы.
Дню веселому	Видитъ солнышко—
Улыбаются;	Жатва кончена:
Вѣтерокъ по ней	Холоднѣй оно
Плыветъ—лоснится,	Попло къ осени;
Золотой волной	Но жарка свѣча
Разбѣгается...	Поселянина
Люди семьями	Предъ иконою
Принялися жать,	Божьей Матери.

Всѣ пѣсни о крестьянскомъ трудѣ проникнуты бодростью, энергіей. Въ соотвѣтствіи съ общимъ бодрымъ колоритомъ своихъ пѣсень Кольцовъ обыкновенно влагаетъ ихъ въ уста „удалаго добраго молодца“. Иногда это—человѣкъ, который „родился въ сорочкѣ“, которому во всемъ счастье, иногда—сильный, смѣлый человѣкъ, полагающійся не на удачу, а на свои силы. Таковъ косарь въ пѣснѣ того-же имени. Ему полюбила дочь старости, и она его любитъ, да отецъ не хочетъ выдать ее за бѣдняка. Молодецъ не падаетъ духомъ, съ новой косой на плечѣ покидаетъ родное село и идетъ въ степь.

Раззудись, плечо!	Зажужжи, коса,
Размахнись, рука!	Засверкай кругомъ!
Ты пахни въ лицо,	Зашуми, трава
Вѣтеръ съ полудня!	Подкошенная,
Освѣжи, взволнуй,	Поклонись, цвѣты,
Степь просторную!	Головой къ землѣ!

Сравнительно меньше у Кольцова пѣсень о нуждѣ и горѣ („Раздумье селянина“, „Доля бѣдняка“). Въ изображеніи злой судьбы, преслѣдующей человѣка, сказалось народное представленіе о „горѣ-злосчастьѣ“, какъ о какой-то роковой, неотразимой силѣ:

Зла бѣда—не буря,	Ходитъ невидимкой,
Горами качаетъ,—	Губитъ безъ разбору.

Анализируя чувство горемычности, Кольцовъ чаще всего причиною его изображаетъ бѣдность:

Вмѣстѣ съ бѣдностью	Да и ту какъ разъ
Даль мнѣ батюшка	Нужда горькая
Лишь одинъ талавъ —	По чужимъ людямъ
Силу крѣпкую.	Всю размыкала.

Но не всегда бѣдность служить причиною горемычности, бездоля. Безталаненъ бываетъ также молодой, крѣпкій, богатый:

По лѣтамъ и кудрямъ	Много слугъ и казны
Не старикъ еще я:	Подъ замками лежитъ;
Много думъ въ головѣ,	И лихой—вороной
Много въ сердцѣ огня.	Ужъ осѣдланъ стоять,

—говорить добрый молодецъ и со страстнымъ порывомъ восклицаетъ:

Доля-жъ, моя доля!	Поднимись, что силы,
Гдѣ ты запропала?	Размахни крылами!
До поры, до время	Можетъ, наша радость
Въ воду камнемъ пала!	Живеть за горами!

Жажда дѣятельности, чувство силы, которую человекъ не знаетъ, на что употребить,—вотъ мысль этой и подобныхъ ей пѣсень, съ наивною простотою передающихъ обычный романтическій мотивъ.

Весьма значительную группу среди пѣсень Кольцова составляютъ пѣсни любовныя. Чувство любви со всеми оттенками его радостей и печалей нашло здѣсь свое выраженіе въ образахъ, наиболѣе близкихъ къ народному творчеству (таковы, на примѣръ, пѣсни: „Ахъ, зачѣмъ меня силой выдали“, „Безъ ума, безъ разума“).

Въ общемъ, пѣсни затрагиваютъ народную жизнь довольно односторонне, касаясь лишь интимной, семейной жизни. На бытъ общественный у Кольцова есть лишь мѣстами намеки, а крѣпостное право, на примѣръ, почти не затронуто имъ.

Историческое значеніе поэзіи Кольцова въ томъ, что она имѣла большое вліяніе на зарождавшійся въ русскомъ обществѣ вкусъ къ народности и служила противовѣсомъ произведеніямъ тѣхъ писателей, которые, думая удовлетворить стремленію общества къ народности, видѣли ее въ мелочныхъ описаніяхъ быта да въ простонародныхъ выраженіяхъ. Безыскусственная простота и искренность народныхъ пѣсень Кольцова явилась лучшимъ орудіемъ въ борьбѣ съ этой фальшивой народностью.

XV.

В. Г. Бѣлинскій.

Къ половинѣ XIX в. русская литература въ гениальныхъ произведеніяхъ Пушкина и Гоголя вышла на самостоятельную дорогу, освободившись отъ прежней подражательности. Къ этому же времени относится дѣятельность В. Г. Бѣлинскаго, который

явился истолкователемъ прошлаго русской литературы, защитникомъ новаго пути, на который ее окончательно вывелъ Гоголь, и пророкомъ ея будущаго великаго развитія.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій родился въ 1810 г. въ Свеаборгѣ, гдѣ отецъ его былъ флотскимъ врачомъ. Въ 1816 г. отецъ перешелъ на службу въ родной свой городъ Чембарь, Пензенской губерніи, гдѣ и прошли дѣтскіе годы будущаго великаго критика. Условія его домашней жизни были тяжелы.

Отецъ, человекъ умный, стоявшій выше окружавшаго его провинціального общества, много пилъ, былъ грубъ съ домашними, доходилъ до кулачной расправы съ дѣтьми. Мать была, хотя и добрая женщина, но крайне неразвита и съ несдержаннымъ характеромъ. Мало отраднхъ впечатлѣній вынесъ Бѣлинскій и изъ школы, — чембарскаго уѣзднаго училища и пензенской гимназіи. Уже въ гимназіи обнаружилъ онъ страсть къ литературѣ, любовь къ серьезному чтенію и способность къ оригинальному, самостоятельному мышленію.



В. Г. Бѣлинскій.

Увлекаясь чтеніемъ, Бѣлинскій не интересовался сухимъ гимназическимъ преподаваніемъ и былъ исключенъ „за нехождение въ классъ“. Онъ сталъ готовиться къ поступленію въ университетъ, и въ 1829 г. мы видимъ его уже въ Москвѣ студентомъ.

Это было печальное время въ жизни Московскаго университета. Сухая схоластика царила въ преподаваніи старомодныхъ профессоровъ, а гнетъ правительственной реакціи сказывался на тяжелыхъ условіяхъ студенческой жизни. Для Бѣлинскаго этотъ гнетъ былъ особенно чувствителенъ, такъ какъ онъ, по недостатку матеріальныхъ средствъ, жилъ въ общежитіи, „на казен-

номъ коштѣ“. Осенью 1832 г. Бѣлинскій былъ исключенъ изъ университета „по ограниченности способностей“. Дѣло было, разумѣется, не въ способностяхъ Бѣлинскаго, а въ цѣломъ рядѣ его столкновеній съ начальствомъ, которыя завершились исторіей съ однимъ юношескимъ произведеніемъ Бѣлинскаго. Онъ написалъ трагедію „Дмитрій Калининъ“, въ которой далъ волю своему негодованію противъ крѣпостного права. Это совершенно дѣтское въ художественномъ отношеніи произведеніе, отразившее романтическія вліянія Шиллеровыхъ „Разбойниковъ“, вызвало бурю негодованія въ цензурномъ комитетѣ, состоявшемъ изъ университетскихъ профессоровъ, и послужило ближайшей причиною увольненія Бѣлинскаго.

Два—три хорошихъ профессора, какъ М. Г. Павловъ и Н. И. Надеждинъ, конечно, оказали свое вліяніе на умственное развитіе Бѣлинскаго, но еще больше въ этомъ отношеніи повлияла на него товарищеская среда. Дружная университетская аудиторія того времени внѣ стѣнъ университета распадалась на еще болѣе дружныя кружки. Студенты собирались читать вмѣстѣ, обсуждать прочитанное, дѣлиться съ товарищами своими литературными опытами, толковать о волнующихъ вопросахъ общественной жизни. Бѣлинскій былъ однимъ изъ дѣятельныхъ членовъ такого кружка, образовавшагося въ общежитіи. Еще важнѣе было его участіе въ кружкѣ Станкевича. Онъ былъ его дѣятельнымъ членомъ и по выходѣ изъ университета. Какъ мы уже говорили въ своемъ мѣстѣ (гл. VII), кружокъ Станкевича всецѣло былъ преданъ изученію нѣмецкой философіи. Бѣлинскій, слабо знавшій нѣмецкій языкъ, знакомился съ философскими идеями въ передачѣ ихъ Станкевичемъ и другими членами кружка. Это не мѣшало ему вполне самостоятельно относиться къ усвояемому, вносить въ него весь пылъ своей благородной, увлекающейся души, вести разъ выработанную теоретическую мысль до такихъ логическихъ предѣловъ, куда не всегда рѣшались за нимъ слѣдовать его друзья, впервые заронившіе въ него сѣмя этой мысли. Послѣдняя особенность Бѣлинскаго съ наибольшей силой сказалась тогда, когда кружокъ Станкевича заинтересовался философіей Гегеля.

По ученію Гегеля, въ основѣ истиннаго познанія міра лежитъ тождество познающаго и познаваемаго, субъекта и объекта. Начало всякаго знанія лежитъ въ нашемъ разумѣ, въ нашей познающей мысли. Предметъ этой мысли не можетъ быть чѣмъ-либо абсолютно чуждымъ или внѣшнимъ ей. Напротивъ того, сущее, какъ предметъ мысли, есть мыслимое, и только какъ та-

ковое оно можетъ быть познаваемо нами. Познаніе возможно лишь при условіи внутренняго единства познающаго и познаваемымъ, мыслящаго съ мыслимымъ, — единства, которое сознается нами въ самомъ актѣ познанія и чистаго мышленія. Разъ тождественны мыслимое и мыслящее, объектъ и субъектъ, то тождественны законы мысли и законы всего сущаго, и онтологія (такъ Гегель называлъ общее ученіе о сущемъ) сливается въ одно съ логикой, изучающей законы мышленія. Въ основѣ міра лежитъ міровая идея, разумъ. Эта идея находится въ процессѣ постояннаго развитія. Въ нашей мысли явилось понятіе. Оно непремѣнно вызоветъ появленіе противоположнаго понятія. Двѣ противоположности сливаются въ третьемъ, объединяющемъ понятіи. Оно, въ свою очередь, вызываетъ себѣ противоположное и вмѣстѣ съ нимъ находитъ выходъ въ третьемъ, высшемъ и т. д. Такъ происходитъ въ области нашей мысли. Но наше мышленіе тождественно бытію въ его цѣломъ, законы нашей мысли тождественны законамъ всего сущаго. Слѣдовательно, во всемъ сущемъ происходитъ тотъ же процессъ: столкновеніе положенія (теза) съ противоположеніемъ (антитеза) и сляніе ихъ въ третьемъ, высшемъ (синтезъ). Въ этомъ сущность развитія міровой идеи, діалектическаго процесса, какъ выражался Гегель. Весь міръ — воплощеніе идеи въ процессѣ ея діалектическаго развитія. Съ этой точки зрѣнія всякое явленіе получаетъ значеніе необходимаго момента въ непрерывномъ ходѣ развитія, а отсюда вытекаетъ признаніе разумности и цѣлесообразности всякаго явленія, безцѣльность борьбы съ нимъ. „Все дѣйствительное — разумно“, — такъ формулировался этотъ выводъ.

Съ свойственной ему горячностью и логическимъ безстрашіемъ Бѣлинскій примѣнилъ формулу о разумности всего дѣйствительнаго къ русской жизни и, ломая свою натуру, выступилъ защитникомъ фактовъ и условій русской дѣйствительности, которая тогда цѣликомъ опредѣлялась идеями „официальной народности“. Но прежде, чѣмъ выступить съ проповѣдью гегельянства, Бѣлинскій составилъ себѣ литературную извѣстность своими критическими статьями въ „Телескопѣ“ и „Молвѣ“, которые издавалъ бывший его профессоръ Надеждинъ. Особенный успѣхъ имѣла статья „Литературныя мечтанія“. Когда „Телескопъ“ былъ закрытъ, для Бѣлинскаго наступили тяжелые дни. Негласное редакторство въ одномъ московскомъ журналѣ давало очень мало, онъ сильно нуждался, но... продолжалъ вѣрить въ разумность дѣйствительности.

Въ 1839 г. Бѣлинскій переѣхалъ въ Петербургъ и взялъ на себя завѣдываніе критическимъ отдѣломъ „Отечественныхъ Записокъ“. Первое время въ его статьяхъ (особенно „Менцель“ и „Бородинская годовщина“) звучитъ восторженная проповѣдь только что приведенной нами формулы гегельянства въ примѣненіи къ фактамъ русской дѣйствительности и ихъ литературнымъ отраженіямъ. Но прошло немного времени, и та самая русская дѣйствительность, разумность которой Бѣлинскій такъ пламенно отстаивалъ, пылкая натура бойца, неспособнаго примириться съ бездѣйственнымъ покоемъ, а главное — вѣчно кипучая, бодрствующая мысль измѣнили взгляды Бѣлинскаго, и онъ дѣлается могучимъ критикомъ не только русской литературы, но и дѣйствительности. „Боже мой“, пишетъ онъ въ это время, вспоминая свои гегельянскія увлеченія: „страшно подумать, что со мной было — горячка или помѣшательство ума; я словно выздоравливающий“. „Мнѣ говорятъ“, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ того же времени: „развивай всѣ сокровища своего духа..., стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься — падай: таковскій и былъ. Благодарю покорно, Егоръ Федоровичъ (т.-е. Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку, но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось взлѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено своей участью выразить идею дисгармоніи“. „Годъ назадъ“, говоритъ онъ въ концѣ этого письма, „я думалъ диаметрально противоположно тому, какъ думаю теперь; право, я не знаю, счастье или несчастье для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать—одно и то же“.

Условія петербургской жизни Бѣлинскаго были невеселы. Срочная журнальная работа, по его собственнымъ словамъ, высасывала изъ него жизненные силы, какъ вампиръ кровь. Невозможныя строгости цензуры давили его. Издатель „Отечественныхъ Записокъ“ Краевскій эксплуатировалъ его, заваливая работой и скупой платой. Женитьба, хотя и скрасила нѣсколько

одинокую его жизнь, но не дала ему того гармонического счастья, о котором он мечталъ.

Въ 1846 г. Бѣлинскій ушелъ изъ „Отечественныхъ Записокъ“, мечталъ о собственныхъ литературныхъ предпріятіяхъ, но не осуществилъ ихъ, войдя въ составъ сотрудниковъ журнала „Современникъ“, во главѣ котораго стояли Панаевъ и Некрасовъ.

Бѣлинскій никогда не отличался крѣпкимъ здоровьемъ, а житейскія невзгоды и усиленная журнальная работа окончательно подорвали его силы. Онъ ѣздилъ лечиться на югъ Россіи, за границу, но было уже поздно: 26 мая 1848 г. онъ скончался.

Прежде чѣмъ приступить къ очерку критической дѣятельности Бѣлинскаго, нужно сказать о томъ, что представляла изъ себя русская литература и критика въ 30-е и 40-е годы.

Съ перваго взгляда положеніе русской литературы въ эти годы можетъ показаться блестящимъ. Бѣлинскій, начиная свою критическую дѣятельность, засталъ въ живыхъ Пушкина, Лермонтова, Жуковскаго, Кольцова. На его глазахъ развился талантъ Гоголя, при немъ писали Гончаровъ, Островскій, Тургеневъ, Достоевскій. Впечатлѣніе отъ этого ряда блестящихъ именъ получится нѣсколько иное, если припомнить, что только Пушкина, Гоголя и Лермонтова можно назвать писателями, много давшими 30-мъ и 40-мъ годамъ. Жуковскій въ это время занимался исключительно переводами грандіозныхъ иностранныхъ эпоей, Кольцовъ успѣлъ написать очень мало, а Гончаровъ, Тургеневъ, Островскій и Достоевскій только дѣлали свои первые шаги на литературномъ поприщѣ. Кромѣ того, не Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь были любимцами тогдашней публики, а разные второстепенные писатели, теперь совсѣмъ забытые: Марлинскій, Вельтманъ, Кукольникъ. Упомянутый нами пр. Надеждинъ, характеризуя наиболѣе популярныя тогда поэтическія произведенія, писалъ: „Душегубство есть любимая тема нынѣшней поэзіи, разыгрываемая въ безконечныхъ варіаціяхъ: рѣзанья, стрѣлянья, утопленничества, давки, замороженья. Самый изобрѣтательный инквизиторъ вѣка Филиппа II подивился бы неистощимому разнообразію убійствъ и самоубійствъ, измышляемыхъ настоящими геніями въ услажденіе и назиданіе наше“. Большинство романистовъ, претендовавшихъ на изображеніе русской жизни, не понимало и искажало ее.

Русская критика того времени, подъ вліяніемъ развитія литературы и увлеченія нѣмецкой философійей, правда, ушла впередъ отъ указаній на стилистическія и грамматическія ошибки писателей, чѣмъ она занималась, напримѣръ, въ Екатерининское

время, но все же, въ ея цѣломъ, стояла очень невысоко. Единственнымъ серьезнымъ критикомъ до Бѣлинскаго былъ Надеждинъ, серьезно смотрѣвшій на задачи критики, разгадавшій и оцѣнившій Пушкина. Но тонъ въ критической литературѣ задавалъ не онъ. Публика больше прислушивалась къ мнѣнію Сенковского, находившаго, что нѣкій Тимоѣевъ—опасный соперникъ Пушкина, а какой-то Зотовъ выше Лермонтова, что у Гоголя „полное отсутствіе чувства“, и что вообще онъ мало чѣмъ отличается отъ второстепеннаго французскаго романиста Поль-де-Кока. Большимъ успѣхомъ пользовались также критическія статьи Полевого, видѣвшаго въ „Ревизорѣ“ „фарсъ, который правится именно тѣмъ, что въ немъ нѣтъ ни драмы, ни цѣли, ни завязки, ни опредѣленныхъ характеровъ“. По поводу „Мертвыхъ душъ“ онъ снисходительно совѣтовалъ Гоголю: „Научитесь русскому языку, да рассказывайте намъ прежнія ваши сказочки объ Иванѣ Ивановичѣ, о коляскѣ и носѣ, и не пишите... такой чепухи, какъ ваши „Мертвыя души“!

Продолжавшаяся 14 лѣтъ критическая дѣятельность Бѣлинскаго началась въ 1834 г. статьей „Литературныя мечтанія“. Высказавъ свой общій взглядъ на литературу, какъ на проявленіе исторической жизни народа, какъ на органическое порожденіе развивающагося національнаго самосознанія, Бѣлинскій въ этой статьѣ задается вопросомъ: есть ли у насъ литература? Обозрѣвъ весь „ходъ“ русской литературы „отъ Ломоносова, перваго ея генія, до г-на Кукольника, послѣдняго ея генія“, Бѣлинскій на свой вопросъ отвѣтилъ отрицательно. Что же тогда существовало у насъ подъ именемъ литературы? Отдѣльные писатели, болѣе или менѣе удачно подражавшіе иностраннымъ образцамъ.

„За насъ трудились другіе“, писалъ Бѣлинскій, „а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимовѣрной быстроты нашихъ успѣховъ и причина ихъ неимовѣрной непрочности... У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей, теперь наступила эпоха драмы; но у насъ не было еще эпохи искусства, эпохи литературы... Когда же наступить у насъ истинная эпоха искусства? Она наступитъ, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобъ у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась фізіономія могучаго русскаго народа; надобно, чтобъ у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, взрощенное на родной почвѣ“... Залогъ того, что у насъ будетъ своя литература, Бѣлинскій видѣлъ въ поэзіи Пушкина, перваго національнаго поэта.

Мы не будем останавливаться на томъ, что сдѣлалъ Бѣлинскій своими статьями о Пушкинѣ для правильнаго пониманія русскимъ обществомъ произведеній великаго поэта: его сужденія вошли уже давно въ нашъ литературный обиходъ, сдѣлались его прочнымъ достоянiемъ. Обратимся къ тому, какъ понималъ Бѣлинскій поэзію Лермонтова,—вѣрнѣе, какъ онъ защищалъ ее отъ упрековъ въ безотрадности и рѣзкости: дать исчерпывающую характеристику творчества Лермонтова Бѣлинскій не могъ, потому что въ его время далеко еще не всѣ произведенія этого поэта были изданы.

„Странные люди“, писалъ Бѣлинскій о тѣхъ, которые упрекали Лермонтова за безотрадность его поэзіи: „имъ все кажется, что поэзія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тѣшить побрякушками, а не гремѣть правдою! Имъ все кажется, что люди—дѣти, которыхъ можно заговорить прибаутками или утѣшить сказочками“.

Бѣлинскій сознавалъ связь философскихъ настроеній Лермонтовской поэзіи, ея меланхолиі, смѣнявшейся страстными порывами къ борьбѣ, съ настроенiемъ переходной эпохи, отзвукомъ которой она являлась. „Да, очевидно, что Лермонтовъ—поэтъ совсѣмъ другой эпохи, и что его поэзія—совсѣмъ новое звено въ цѣпи историческаго развитія нашего общества... Въ его грусти всякій узнаетъ свою грусть, въ его душѣ всякій узнаетъ свою и видитъ въ немъ не только поэта, но и человѣка, брата своего по человѣчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякій въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ“.

Самая главная критическая заслуга Бѣлинскаго заключается въ истолкованіи произведеній Гоголя и той реальной школы, которую они окончательно утвердили въ русской литературѣ, и которая, какъ мы только что видѣли, встрѣчала такое грубое непониманіе. Въ большой статьѣ „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“, сдѣлавъ опять обзоръ „тяжело-педантической“ подражательной литературы XVIII в., Бѣлинскій указываетъ отличительную черту, характеризующую развитіе какъ западно-европейскихъ литературъ, такъ и русской въ XIX в. Онъ видитъ эту черту въ рѣшительномъ преобладаніи повѣсти и романа и вмѣстѣ съ тѣмъ въ стремленіи сблизить поэзію съ жизнью, въ реальномъ направленіи искусства. „Поэзія“ говоритъ Бѣлинскій, „двумя, такъ сказать, способами объемлетъ и воспроизводитъ явленія жизни. Эти способы противоположны другъ другу, хотя ведутъ къ одной цѣли. Поэтъ или пересоздаетъ

жизнь по своему идеалу, зависящему от образа его возрѣній на вещи, отъ его отношенія къ міру, къ вѣку, народу, въ которомъ онъ живетъ, или воспроизводитъ ее во всей наготѣ и истинѣ, оставаясь вѣренъ всеѣмъ подробностямъ, краскамъ и оттѣнкамъ ея дѣйствительности“. Первую поэзію Бѣлинскій называетъ „идеальной“, а вторую „реальной“.

Въ своей статьѣ Бѣлинскій и привѣтствуетъ Гоголя, какъ будущаго великаго представителя реальной поэзіи. Во время появленія статьи Бѣлинскаго Гоголь былъ еще начинающимъ писателемъ, но критикъ сразу угадалъ громадныя размѣры его таланта. „Г. Гоголь“, писалъ Бѣлинскій, „только еще началъ свое поприще, слѣдовательно, наша обязанность высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ талантомъ не обыкновеннымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главой литературы, главой поэтовъ; онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ“.

По мѣрѣ того, такъ росъ талантъ Гоголя и реальная школа, со времени появленія „Мертвыхъ душъ“, занимала все болѣе и болѣе прочное положеніе, нападки, раздававшіяся раньше противъ Гоголя, направились теперь уже противъ новаго литературнаго направленія въ его цѣломъ. Тѣмъ горячѣе стали звучать защитительныя рѣчи Бѣлинскаго. Въ одномъ изъ своихъ замѣчательныхъ годичныхъ обзорѣній Бѣлинскій говоритъ о тѣхъ противникахъ реальной школы, которые „по чувству аристократизма не любятъ встрѣчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно не знающими приличія и хорошаго тона, не любятъ грязи и нищеты“. Съ увлеченіемъ говоритъ Бѣлинскій о томъ, какъ важна истина въ искусствѣ, доказываетъ, что „гдѣ жизнь, тамъ и поэзія“, а главное—ставить стремленіе реальной школы изображать темныя стороны жизни въ связь съ духомъ времени. „Мы хотимъ любить изъ нашихъ братьевъ только равныхъ намъ, отворачиваемся отъ низшихъ, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ. Какія добродѣтели и заслуги дали намъ на это право? Не отсутствіе ли именно всякихъ добродѣтелей и заслугъ!“ Указавъ на оживленіе, съ которымъ обсуждаются теперь въ обществѣ социальныя вопросы, на усиленіе общественной дѣятельности, направленной къ улучшенію участи обездоленныхъ классовъ, Бѣлинскій спрашиваетъ: „Могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе,—въ литературѣ, которая всегда бываетъ отраженіемъ общества?“

Бѣлинскому выпало на долю привѣтствовать первые шаги и такихъ писателей, какъ Герцень, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ. Всѣ они нашли въ его статьяхъ поддержку, руководство и замѣчательно вѣрную, проникновенную оцѣнку своихъ дарованій.

Къ концу своей жизни Бѣлинскій началъ работать надъ большимъ трудомъ — „Исторіей русской литературы“, въ которой ему хотѣлось пересмотрѣть многія изъ высказанныхъ имъ ранѣе мнѣній и подвести итоги своимъ наблюденіямъ и размышленіямъ надъ судьбами русской литературы. Смерть помѣшала ему совершить этотъ трудъ, отъ котораго остались лишь отрывки.

Самые кипучіе годы критической дѣятельности Бѣлинскаго совпали со временемъ ужасающаго цензурнаго гнета Николаевской эпохи. Много душевныхъ мукъ перенесъ изъ-за этого Бѣлинскій, далеко не все, что ему хотѣлось, сказалъ онъ въ своихъ статьяхъ, да и то, что сказано, часто лишалось того пламеннаго энтузіазма, которымъ черезъ край полна была душа „неистоваго Виссаріона“, какъ звали Бѣлинскаго въ товарищескомъ кругу. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ прочесть его многочисленныя письма, въ которыхъ во весь ростъ встаетъ его умственная и нравственная личность.

Одно изъ его писемъ только недавно увидѣло свѣтъ. Это знаменитое письмо къ Гоголю по поводу его „Переписки съ друзьями“. Объ этой книгѣ, вызвавшей искреннее недоумѣніе, огорченіе, негодованіе среди друзей Гоголя, понимавшихъ истинное значеніе его произведеній, Бѣлинскій написалъ статью. Гоголь увидѣлъ въ ней „разсерженнаго человѣка“, и Бѣлинскій рѣшилъ объясниться. Трудно передать содержаніе этого письма: искренняя любовь къ Гоголю прежнихъ лѣтъ, создателю „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“, „оскорбленное чувство истины и человѣческаго достоинства“, негодованіе по поводу высказанныхъ Гоголемъ взглядовъ, игравшихъ въ руку представителямъ официальной народности, пламенная любовь къ родинѣ, — все это сливается въ такую сложную гамму, а главное — проникнуто такимъ жгучимъ, изъ сердца рвущимся чувствомъ, что не поддается передачѣ. Высказавъ Гоголю все, что у него лежало на душѣ, Бѣлинскій писалъ: „Я не умѣю говорить вполнину; это не въ моей натурѣ. Пусть вы или само время докажетъ, что я заблуждался въ моихъ объ васъ заключеніяхъ. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь въ томъ, что сказалъ вамъ. Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, но о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ: тутъ дѣло идетъ объ

истинѣ, о русскомъ обществѣ, о Россіи“. Бѣлинскій смѣло могъ бы прибавить къ этимъ словамъ, что мыслью объ этихъ „великихъ предметахъ“ была проникнута вся его дѣятельность, которой такъ много обязаны и русская литература, и русское общество.

XVI.

А. И. Герценъ.

Александръ Ивановичъ Герценъ родился въ Москвѣ 25 марта 1812 г. Его отецъ былъ богатый, независимый русскій баринъ Иванъ Алексѣевичъ Яковлевъ, а мать—нѣмка Луиза Ивановна Гаагъ, увезенная Яковлевымъ тайкомъ изъ родительскаго дома. Разказы о пожарѣ Москвы, о Бородинскомъ сраженіи, объ изгнаніи французовъ, о взятіи Парижа были колыбельными пѣснями Герцена.

Когда военныя тревоги кончились, въ домъ отца часто пріѣзжали участники войны, и мальчикъ жадно ловилъ ихъ разказы. Угрюмый характеръ суроваго, подозрительнаго отца создавалъ въ домѣ крайне тяжелую атмосферу, заставлялъ мальчика уходить въ себя, развивалъ врожденную въ немъ склонность къ мечтательности. Сначала это была мечтательность чисто сентиментальная, въ карамзинскомъ духѣ, но трагедія декабристовъ дала ей другое направленіе. „Разказы о возмущеніи“, вспоминалъ впослѣдствіи Герценъ, „о судѣ, ужасъ въ Москвѣ сильно поразили меня; мнѣ открывался новый міръ, который становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія моего; не знаю, какъ это сдѣлалось, но, мало или очень смутно понимая, въ чемъ дѣло, я чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ которой картечь и побѣда. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудили ребяческій сонъ моей души“. Онъ подѣлился своими мыслями и чувствами съ однимъ изъ своихъ учителей, благороднымъ, хотя и неопредѣленнымъ либераломъ, и при его посредствѣ въ рукахъ Герцена очутились запретныя политическія стихотворенія Пушкина, „Думы“ Рылѣва и т. д.

Чтеніе Шиллера и біографій Плутарха еще больше настроило Герцена на героическій ладъ, а дружба съ Н. П. Огаревымъ, исполненнымъ такого же политическаго романтизма, окончательно закрѣпила это настроеніе.

Въ 1830 г. Герценъ поступилъ въ Московскій университетъ на математическій факультетъ. На выборъ факультета повліялъ одинъ изъ его родственниковъ, матеріалистъ-отрицатель, ориги-

нальную фигуру котораго Герценъ художественно изобразилъ въ своихъ воспоминаніяхъ.

Въ главѣ VII мы говорили о томъ студенческомъ кружкѣ, во



А. И. Герценъ.

главѣ котораго стоялъ Герценъ. Послѣдствіемъ административной грозы, разразившейся надъ кружкомъ въ 1834 г., была ссылка Герцена въ Вятку. Служба въ губернскомъ правленіи подѣ

начальствомъ губернатора Тюфяева, типичнѣйшаго дореформеннаго администратора, отсутствіе интеллигентнаго общества, тоска по Москвѣ тяжело ложились на душу Герцена. Спасеніемъ для него явилась дружба съ Витбергомъ, авторомъ знаменитаго проекта храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ. Мистически настроенный, тонкій художникъ и вмѣстѣ съ тѣмъ чело­вѣкъ идеально чистыхъ нравовъ,—Витбергъ сильно повліялъ на Герцена. Разлука съ Москвой, письма отъ будущей жены, проникнутыя страстнымъ религіознымъ чувствомъ, любовь,—все это помогало Витбергу, и Герценъ пережилъ въ Вяткѣ яркую полосу мистическаго настроенія. Это отражается и на его первыхъ попыткахъ литературной дѣятельности. Онъ пишетъ историческія сцены, въ которыхъ то представляетъ борьбу язычества съ христіанствомъ, то борьбу официальной церкви съ квакерами.

Въ 1838 г. Герценъ былъ переведенъ изъ Вятки во Владимиръ и въ томъ же году женился на Н. А. Захарьиной, своей двоюродной сестрѣ. Это стоило ему долгой и упорной борьбы съ гнетомъ устарѣвшихъ семейныхъ традицій, но зато тѣмъ полнѣе было его счастье.

Въ 1840 г. Герценъ вернулся въ Москву и впервые сошелся здѣсь съ кружкомъ Станкевича. Кружокъ въ это время находился въ порѣ самаго страстнаго увлеченія философій Гегеля, основывая на ней свое примирительное отношеніе къ русской дѣйствительности (см. гл. XV). Усиленно занялся Гегелемъ и Герценъ.

Въ 1841 г. Герцену пришлось испытать вторичную ссылку: онъ былъ сосланъ въ Новгородъ совѣтникомъ губернскаго правленія и отданъ подъ надзоръ полиціи. Въ воспоминаніяхъ Герцена приведены потрясающія сцены русской жизни, съ которыми ему, какъ чиновнику, приходилось сталкиваться. Съ каждымъ днемъ потребность уйти изъ канцелярскаго міра становилась сильнѣе. Наконецъ, послѣ одной возмутительной сцены, показавшей Герцену весь ужасъ крѣпостнаго права и грубость администраціи, терпѣніе его лопнуло, онъ рѣшилъ, что „пора кончить комедію“.

Въ іюль 1842 г. Герцену разрѣшили вернуться въ Москву, и съ этого времени собственно началась его литературная дѣятельность. 1847 г., когда Герценъ уѣхалъ за границу, служить гранью двухъ половиныхъ его литературной работы. Первая характеризуется преобладаніемъ интересовъ философскихъ, моральныхъ, которые давали тонъ и чисто нравоописательнымъ произведеніямъ, вторая половина почти сплошь посвящена литературѣ политической.

Произведенія философскаго и моральнаго характера („Дилетанты-романтики“, „Цехъ ученыхъ“, „Буддизмъ въ наукѣ“, „Письма объ изученіи природы“, статьи, объединенныя общимъ заглавіемъ „Капризы и раздумья“ и др.) отражаютъ на себѣ то переходное время, которое Герценъ переживалъ вмѣстѣ со всѣми своими мыслящими современниками. Какъ Лермонтовъ, онъ тяжелой цѣной душевныхъ мукъ заплатилъ за исканіе новыхъ путей въ замѣну тѣхъ, которые онъ призналъ ложными, но онъ былъ счастливѣе Лермонтова въ томъ отношеніи, что образованіе, знакомство съ западной наукой облегчали ему его переживанія.

Въ это время Гегеля, который такъ прочно владѣлъ умами русской молодежи, уже не было въ живыхъ (онъ умеръ въ 1831 г.). Его послѣдователи раздѣлились на двѣ партіи: правую и лѣвую. Последняя пошла въ направленіи, противоположномъ ученію своего духовнаго вождя: отъ идеализма къ реализму. Слѣдуя выдающемуся представителю лѣваго крыла гегельянства, Фейербаху, Герценъ рѣшительно отвергалъ возможность существованія „идеи“, „сущности“ внѣ ея проявленія. Признавая формулу непрерывнаго развитія, данную Гегелемъ, Герценъ примѣнялъ ее не для того, чтобы, созерцая столкновеніе различныхъ противорѣчій въ жизни, находить ихъ примиреніе въ отвлеченномъ мышленіи: онъ вѣрилъ, что сама жизнь миритъ противорѣчія и снимаетъ ихъ въ своемъ непрерывномъ развитіи, такъ какъ проявленія жизни, видимая и ощущаемая нами дѣйствительность и есть сама сущность жизни. Словомъ, Герценъ взялъ у Гегеля то, что теперь составляетъ основу идеи эволюціи, мысль о томъ, что все находится въ процессѣ постояннаго развитія, что въ жизни нѣтъ ничего вѣчнаго, разъ навсегда даннаго, что остановка развитія— это смерть.

Установивъ исходную точку своего міровоззрѣнія, Герценъ подвергъ прежде всего анализу отношеніе своихъ современниковъ къ наукѣ. Наука не можетъ существовать безъ специализаціи, безъ раздѣленія труда, но она не должна превращаться въ узкое, цеховое ремесленничество. И дилетанты, и цеховые ученые, буддисты науки, одинаково далеки отъ истины: первые лишены глубины пониманія предмета, поверхностны, вторые—„посвящаютъ себя отдѣльной вѣтви какой-нибудь специальной науки, и кромѣ нея ничего не знаютъ и знать не хотятъ“; они „расплываются въ морѣ частныхъ и детальнахъ крупицъ знанія“. Первые не находятъ примиренія въ наукѣ, и потому проклинаютъ ее; вторые находятъ ложное примиреніе въ ея буквѣ, но не

проникають въ ея сущность, не вносять ея въ жизнь, отъ которой они „отдѣлены валомъ“. Вѣрный Гегелевскому методу, Герценъ задался вопросомъ: какъ же окончится это противорѣчiе, во что высшее разрѣшится столкновенiе противоположностей? Онѣ разрѣшатся тогда, когда будетъ достигнуто вполне возможное соединенiе специализаціи и широкаго взгляда на міръ, когда, пользуясь сравненiемъ Герцена, дилетанты, „смотрящіе въ телескопъ“, и специалисты, „смотрящіе въ микроскопъ“, будутъ пользоваться тѣмъ и другимъ инструментомъ.

Въ „Письмахъ объ изученiи природы“ Герценъ подвергаетъ философскому анализу отношенiе между науками опытными и умозрительными, между естествознанiемъ и философiей. Здѣсь то же раздвоенiе, что и въ области отношенiя людей къ наукѣ вообще. Сущность этого раздвоенiя въ томъ, что съ незапамятныхъ временъ философiя, съ одной стороны, естествознанiе, съ другой,—претендуютъ на обладанiе полной истиной или, по крайней мѣрѣ, единственнымъ правильнымъ путемъ къ ней. Выходъ изъ этой раздвоенности заключается въ соединенiи опыта и умозрѣнiя, что дастъ истинный научный методъ. Для подтвержденiя своихъ мыслей Герценъ изложилъ исторiю философiи въ главнѣйшихъ ея теченiяхъ, начиная съ древнихъ временъ и вплоть до Гегеля и Фейербаха. Впечатлѣнiе, произведенное „Письмами“, было громадно. Съ нихъ хронологически можно считать начало увлеченiя русскаго общества естественными науками, столь характернаго для эпохи шестидесятихъ годовъ.

Произведенiя Герцена, посвященныя вопросамъ морали, особенно сильно отразили тѣ душевныя муки, которыя переживалъ онъ въ эти годы; онъ называлъ эти муки „болѣзнью промежуточныхъ эпохъ“. Причина ихъ—мысль, рефлексiя, которая не позволяетъ шага сдѣлать, не объяснивъ его. Дѣйствовать некогда, такъ какъ мы кропотливо разбираемъ прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и другими, ищемъ оправданiй, объясненiй, доискиваемся истины. И такъ во всѣхъ областяхъ жизни, особенно же въ вопросахъ морали. Здѣсь вѣчно бодрствующая мысль сталкивается съ преданiями, предрасудками, привычками, укоренившимися вѣками. Эта старая мораль служитъ причиной безчисленныхъ страданiй: утомляетъ однихъ, выбрасываетъ за бортъ другихъ, изъ любви дѣлаетъ мученiе. „Когда я хожу по улицамъ“, писалъ Герценъ, „особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно и только кое-гдѣ свѣтится ночная тухнувшая лампа, догорающая свѣча,—на меня находить ужасъ: за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣ-

ются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не вѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекають не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. Почему?“

Вопросъ, заключающій лирическое изліяніе Герцена, чрезвычайно характеренъ для того момента, когда онъ былъ сдѣланъ. Не съ готовой мѣркой подходилъ Герценъ къ анализу жизни, не для того, чтобы оправдывать однихъ, обвинять другихъ, а съ рефлексіей, вопросомъ. И отвѣтъ одинъ: люди порочны или добродѣтельны, счастливы или несчастливы не вслѣдствіе какихъ-либо предписаній морали, а по независящимъ отъ нихъ законамъ развитія жизни. Поэтому надо не обвинять или оправдывать, а только изслѣдовать. Таковъ смыслъ статьи Герцена „По поводу одной драмы“ и основаннаго на ней романа „Кто виновать?“

Въ губернскомъ городѣ NN тихо и скромно живетъ учитель Круциферскій съ женой и сыномъ. Въ этотъ же городъ пріѣзжаетъ Владимиръ Бельтовъ, обезпеченный помѣщикъ, послѣ долгихъ скитаній и поисковъ дѣла пріѣхавшій въ родной уголь, чтобы служить по выборамъ. Черезъ доктора Крупова онъ знакомится съ семьей Круциферскихъ. Бельтовъ влюбляется въ Круциферскую, и она взволнована встрѣчей съ этимъ незауряднымъ человѣкомъ. „Я много измѣнилась, возмужала послѣ встрѣчи съ Вольдемаромъ“, пишетъ Круциферская въ своемъ дневникѣ: „Его огненная, дѣятельная натура, безпрестанно занятая, трогаетъ всѣ внутреннія струны, касается всѣхъ сторонъ бытія. Сколько новыхъ вопросовъ возникло въ душѣ моей!.. Много, о чемъ я едва смѣла предполагать, теперь ясно. Конечно, при этомъ приходится часто жертвовать мечтами, къ которымъ привыкла, которыя такъ береглись и лелѣялись; горька бываетъ минута разставанія съ ними, а потомъ становится легче, вольнѣе“...

Въ душѣ Круциферской просыпается и растетъ чувство къ Бельтову. Ей жаль мужа, который не упрекаетъ ее, не обвиняетъ. Въ душѣ ея тяжелая, безысходная мука. „Хуже всего, непонятнѣе всего“, пишетъ Круциферская въ дневникѣ, „что у меня совѣсть покойна; я нанесла страшный ударъ человѣку, котораго вся жизнь посвящена мнѣ, котораго я люблю, и я сознаю себя только несчастной; мнѣ, кажется, было бы легче, если-бъ я поняла себя преступной, о, тогда бы я бросилась къ его ногамъ, я обвила бы моими руками его колѣни, я раскаяніемъ своимъ загладила бы все: раскаяніе выводитъ всѣ пятна на душѣ... Что же это за проклятая гордость, которая не допускаетъ раскаянія въ душу?“

Круциферскій, видя гибель своего семейнаго счастья, начинает пить и погружаться въ тину обывательщины... Жена его переноситъ тяжелую болѣзнь и медленно таетъ. Около нихъ и Бельтова сгущается атмосфера городскихъ сплетенъ, прописной морали... Отъѣздомъ Бельтова изъ NN. кончается романъ.

Этотъ остовъ романа, по мысли Герцена, долженъ служить какъ бы иллюстраціей къ вопросу объ отношеніи семьи и общества. Общество и семья — это двѣ противоположности, и только при соединеніи ихъ въ разумный синтезъ возможно прочное счастье. Круциферскій весь ушелъ въ семейную жизнь, Бельтовъ вышелъ въ сферу общественную, „всеобщую“, какъ тогда говорили. Поставленная между ними Круциферская терпитъ муки отъ этой жизненной дисгармоніи. Эта дисгармонія исчезнетъ изъ человѣческой жизни тогда, когда человѣкъ, „не отрекаясь отъ своей индивидуальности, всего частнаго, не предавая семейство всеобщему“, въ то же время „раскроетъ свою душу всему человѣческому“, будетъ „страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать столько же для рода, сколько для себя“, „разовьетъ эгоистическое сердце во всескорбящее, обобщитъ его разумомъ и въ свою очередь оживитъ имъ разумъ“.

Нельзя не отмѣтить, что философскій смыслъ романа болѣе или менѣе ясенъ лишь во второй его части, и то лишь въ связи со статьей „По поводу одной драмы“. Вся первая часть носитъ, главнымъ образомъ, нравоописательный характеръ. Семья Негровыхъ, въ домѣ которыхъ воспитывалась Круциферская до выхода замужъ, удушливая атмосфера крѣпостнаго строя, и особенно личность Бельтова останавливаютъ здѣсь вниманіе. Въ примѣненіи къ Бельтову вопросъ: „Кто виновать?“ — получаетъ уже иной смыслъ, перенося насъ изъ области философскихъ размышленій въ самую реальную дѣйствительность, касаясь причины появленія „лишнихъ людей“, столь типичныхъ для того времени, когда появился романъ Герцена. А Бельтовъ, дѣйствительно, „лишний человѣкъ“. Въ юности онъ занимался и медициной, и живописью, разочаровался въ той и другой и уѣхалъ за границу. „Дѣла, само собой разумѣется, и тамъ ему не нашлось; онъ занимался безсистемно, занимался всѣмъ на свѣтѣ, удивлялъ нѣмецкихъ специалистовъ многосторонностью русскаго ума; удивлялъ французовъ глубокомысліемъ, и въ то время, какъ нѣмцы и французы дѣлали много, онъ — ничего. Онъ тратилъ свое время, стрѣляя изъ пистолета въ тирѣ, просиживая до поздней ночи въ ресторанахъ и отдаваясь тѣломъ, душой и кошелькомъ какой-нибудь

лореткѣ“. Пробоваль Бельтовъ затѣмъ служить и „вышелъ въ отставку, не дослуживъ 14 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ до знака“, какъ острилъ столоначальникъ департамента, гдѣ Бельтовъ производилъ свой опытъ государственной службы. вмѣстѣ съ тѣмъ Бельтовъ—чужой человѣкъ въ томъ провинціальномъ обществѣ, съ которымъ онъ долженъ сталкиваться, желая служить по выборамъ. „Онъ не могъ войти въ ихъ интересы, ни они въ его, и они его ненавидѣли, понявъ чувствомъ, что Бельтовъ—протестъ, какое-то обличеніе ихъ жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея“. Словомъ, Бельтовъ—чужой на родинѣ, чужой и внѣ ея. Причина этого—воспитаніе, сдѣлавшее его непригоднымъ къ живому дѣлу, неспособнымъ дѣйствовать въ данной средѣ, вліять на нее. Воспитателемъ Бельтова былъ швейцарецъ Жозефъ, мечтатель-идеалистъ, человѣкъ не отъ міра сего, исколесившій всю Европу, разочаровавшійся въ ней. „Воображеніе указало ему на сѣверъ—на новую страну, которая, какъ Австралія въ физическомъ отношеніи, представляла въ нравственномъ что-то слагающееся въ огромныхъ размѣрахъ, что-то иное, новое, возникающее“. Жозефъ былъ человѣкъ очень начитанный въ педагогическихъ вопросахъ, но „одного онъ не вычиталъ въ книгахъ,—что важнѣйшее дѣло воспитанія состоитъ въ приспособленіи молодого ума къ окружающему, что воспитаніе должно быть климатологическое, что для каждой эпохи такъ же, какъ для каждой страны, еще болѣе для каждаго сословія, а, можетъ быть, и для каждой семьи, должно быть свое воспитаніе“. Воспитатель сдѣлалъ изъ Бельтова „человѣка вообще“, отшельника, не знающаго жизни, представляющаго ее себѣ исключительно въ радужныхъ краскахъ. Университетъ продолжилъ дѣло Жозефа: „дружескій кружокъ изъ пяти-шести юношей, полныхъ мечтами, полныхъ надеждами настолько большими, насколько имъ была еще неизвѣстна жизнь за стѣнами аудиторіи,—болѣе и болѣе поддерживалъ Бельтова въ кругу идей, не свойственныхъ, чуждыхъ средѣ, въ которой ему приходилось жить“. Первый абрисъ Тургеневскихъ „лишнихъ людей“ живо чувствуется въ образѣ Бельтова...

Въ связи съ тѣми главами первой части „Кто виновать?“, гдѣ описываются картины крѣпостного быта, стоятъ такія произведенія Герцена, какъ „Долгъ прежде всего“, „Сорока-воровка“, „Поврежденный“. Это былъ дальнѣйшій шагъ впередъ послѣ гоголевской сатиры. Къ изображенію дѣйствительности, правдивому и реальному, присоединился ея анализъ, проникнутый высокой гуманностью. Тотъ выводъ, который изъ произведеній Го-

голя дѣлали его чуткіе читатели, дѣлается здѣсь самимъ авторомъ. Къ этимъ произведеніямъ Герцена можно вполнѣ примѣнить то, что Бѣлинскій писалъ по поводу „Кто виновать?“, особенно первой его части. Этому роману, говоритъ Бѣлинскій, „придаетъ убѣдительность, увлекательность“, основная его мысль, которая „срослась“ съ талантомъ автора, въ которой главная его сила: „страданіе, болѣзнь при видѣ непризнаннаго человѣческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ и, еще больше, безъ умысла. Это то, что нѣмцы называютъ гуманностью“.

Въ 1846 г. умеръ отецъ Герцена. Получивъ въ наслѣдство крупное состояніе, сдѣлавшись человѣкомъ вполнѣ независимымъ, Герценъ въ 1847 г. уѣхалъ за границу. У него не было никакихъ опредѣленныхъ плановъ, но онъ не думалъ, что ему уже не вернуться на родину. Обстоятельства сложились такъ, что онъ до гробовой доски остался эмигрантомъ. „Письма изъ Франціи и Италіи“ (четыре изъ нихъ были напечатаны въ „Современникѣ“ 1847 г.) составляютъ какъ бы дневникъ всего пережитого Герценомъ съ 1847 г. по 1852 г. „Письма“ прекрасно отражаютъ превращеніе Герцена изъ философа-моралиста, изъ писателя, изображавшаго помѣщицки и чиновничьи нравы Россіи, въ крупнаго европейскаго публициста, которому немного найдется равныхъ въ области политической литературы. Въ первыхъ письмахъ изъ Парижа, въ которыхъ онъ старательно отграничиваетъ развратную, разлагающуюся буржуазію отъ чистаго, полнаго надеждъ на будущее пролетаріата, Герценъ еще весь во власти новыхъ, прекрасныхъ впечатлѣній. Болѣе близкое знакомство съ французской жизнью безъ остатка уничтожило радужное настроеніе первыхъ минутъ. Герценъ поѣхалъ въ Италію, въ политическихъ движеніяхъ которой онъ видѣлъ предвѣстіе всеевропейской революціи. Онъ вернулся въ Парижъ подъ вліяніемъ шедшихъ оттуда вѣстей о близости народнаго возстанія. Въ Парижѣ Герценъ засталъ республику, но вмѣстѣ съ нею и страшные іюньскіе дни, пережилъ и торжество Наполеона III. „Вечеромъ 24 іюня“, рассказываетъ Герценъ, „я вошелъ въ кафе. Черезъ нѣсколько минутъ раздался нестройный крикъ и слышался все ближе и ближе. Я подошелъ къ окну: неуклюжіе, плюгавые полумужики и полулавочники, нѣсколько навеселѣ, въ скверныхъ мундирахъ и старинныхъ киверахъ, шли быстрымъ, но безпорядочнымъ шагомъ съ крикомъ: „Да здравствуетъ Людовикъ-Наполеонъ!“ Этотъ зловѣщій крикъ я тутъ услышалъ въ первый разъ. Я не могъ выдержать и, когда они поравнялись, закричалъ изо всѣхъ силъ: „Да здравствуетъ республика!“ Близкіе къ окну показали

мнѣ кулаки, офицеръ пробормоталъ какое-то ругательство, грозя пшагой, и долго еще слышался ихъ привѣтственный крикъ чело-вѣку, шедшему наказать собой Францію, забывшую въ своей кичливости другіе народы и свой собственный пролетаріатъ“.

Такъ какъ полиція Наполеона III очень косо смотрѣла на Герцена, ему пришлось бѣжать въ Женеву. Вся Швейцарія полна была эмигрантами, уцѣлѣвшими послѣ подавленія революціонныхъ вспышекъ въ различныхъ европейскихъ странахъ. Паль Римъ подъ ударами французовъ, Баденъ захватили пруссаки, Венгрію заняли русскія войска, Парижъ былъ во власти полиціи Наполеона III, а эмигранты надѣялись на новую, близкую революцію. Герценъ не надѣялся... Въ эти тяжелые дни раздумья и полной неизвѣстности насчетъ будущаго онъ пишетъ свою знаменитую книгу „Съ того берега“. Презрѣніе къ европейскому „мѣщанству“, разочарованіе въ либерализмъ, признаніе главенства вопросовъ соціальныхъ надъ вопросами политическими,—вотъ мысли, въ страстной, лирической формѣ звучащія со страницъ этой книги. Будущее Европы кажется ему иногда сомнительнымъ, даже безотраднымъ: она изжила свои силы, ей надо накопить новыя, но до этого ей предстоитъ пережить долгіе годы „мѣщанства“, владычества буржуазіи. Отъ этого грустнаго будущаго Европы Герценъ отворачивается, чтобы взглянуть на покинутую имъ родину. Въ Россіи не было и нѣтъ буржуазіи въ европейскомъ смыслѣ слова, она не пойдетъ дорогой „мѣщанства“, а изберетъ свой особый путь къ лучшему будущему: страна мужицкая, земледѣльческая, она разовьетъ грядущій строй жизни изъ той соціальной ячейки, которой является община. „Общинное владѣніе земель, міръ и выборы составляютъ почву, на которой легко можетъ вырасти новая общественная жизнь“, писалъ Герценъ. „Вотъ почему я, средь мрачнаго, раздирающаго душу реквиема, среди темной ночи, которая падаетъ на усталый, больной Западъ, отворачиваюсь отъ предсмертнаго стона великаго борца, котораго уважаю, но которому помочь нельзя, и съ упованіемъ смотрю на нашъ родной востокъ, внутри радуясь, что я русскій“. Въ этихъ словахъ, какъ когда-то въ своихъ философскихъ настроеніяхъ, Герценъ—человѣкъ переходной эпохи: оставаясь въ культурномъ смыслѣ западникомъ, онъ одну руку протягиваетъ назадъ, покинутымъ на родинѣ славянофиламъ, другую—грядущимъ поколѣніямъ русской интеллигенціи 60-хъ и 70-хъ годовъ.

Въ 1852 г. Герценъ поселился въ Лондонѣ. Благодаря его энергіи, здѣсь появились первыя произведенія свободнаго рус-

скаго станка, и Герценъ приобрѣлъ громадное значеніе въ Россіи. Сперва онъ сталъ издавать сборники подъ заглавіемъ „Полярная Звѣзда“, въ воспоминаніе объ альманахѣ, издававшемся когда-то Рылѣевымъ. Здѣсь, помимо статей политическаго и историческаго характера, помѣстилъ онъ лучшее свое произведеніе— „Былое и Думы“. Это — хроника цѣлой эпохи, переданная на фонѣ воспоминаній исключительно даровитаго человѣка, проникнутая то блестящимъ сарказмомъ, то захватывающей грустью. „Никто не умѣетъ больше такъ писать“, говорилъ про „Былое и Думы“ Тургеневъ.

Вслѣдъ за „Полярной Звѣздой“ Герценъ началъ издавать „Колоколъ“. Журналъ сталъ выходить въ то время, когда въ Россіи повѣяло весной, послѣ Крымской войны. Рядъ либеральныхъ мѣръ правительства заставилъ Герцена повѣрить, что оно идетъ рука объ руку съ обществомъ, а когда въ 1857 году раздалась первая вѣсть грядущаго освобожденія крестьянъ — рескриптъ на имя вилenskaго генераль-губернатора, — Герценъ восторженно привѣтствовалъ Александра II статьей, которая начиналась словами: „Ты побѣдилъ, Галлилеянинъ!“ „Колоколъ“ приобрѣлъ громадное вліяніе. Великолѣпно освѣдомленный обо всемъ, что дѣлалось въ Россіи, журналъ читался всюду, отъ студенческой каморки до царскаго дворца: Александръ II былъ постояннымъ и внимательнымъ его читателемъ. Нѣкоторые номера „Колокола“ официально раздавались членамъ редакціонныхъ комиссій по крестьянскому вопросу. Представители администраціи боялись обличеній „Колокола“, какъ огня.

Въ 1863 году явственно сказалось стремленіе правительства обуздать дѣло реформъ во всѣхъ областяхъ русской жизни, реакція стала все сильнѣе поднимать голову, а польское возстаніе, подавленное оружіемъ, придало ей новыя силы. Герценъ горячо поддерживалъ поляковъ, и это обстоятельство, въ связи съ общей реакціей, подорвало популярность „Колокола“ въ Россіи. Герценъ пробовалъ продолжать изданіе своего журнала на французскомъ языкѣ, но попытка эта успѣха не имѣла. Скончался Герценъ 9 января 1870 г.

Когда въ 60-хъ годахъ на арену русской политической и общественной мысли выступили новыя силы, Герценъ не оцѣнилъ великаго движенія, связаннаго съ именами Чернышевскаго и Добролюбова, не понялъ, что во многихъ отношеніяхъ они продолжатели его дѣла. Въ свою очередь и шестидесятники, захваченные волной кипучаго десятилѣтія, не всегда понимали Герцена... Мы, на историческомъ разстояніи всего пережитого,

имѣемъ право сказать, что многое изъ того, чѣмъ красна наша жизнь, обязано Герцену своимъ существованіемъ. Тѣмъ обиднѣе, что сочиненія его въ полномъ видѣ до сихъ поръ недоступны русскому читателю.

XVII.

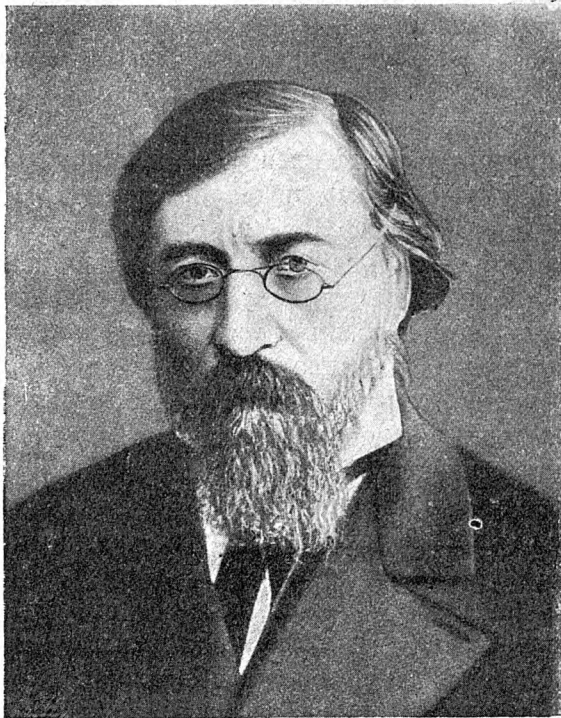
Общественныя и умственныя теченія второй половины XIX в.

1855 годъ, годъ паденія Севастополя и начала новаго царствованія, служить той гранью, съ которой начинается періодъ русской жизни, носящій названіе шестидесятихъ годовъ. Періодъ этотъ, чрезвычайно сложный по своему идейному содержанію, можетъ быть раздѣленъ на двѣ неравныя половины: первая съ 1855 г. по 1861 г., вторая—съ 1861 г. по 1867 г.

Паденіе Севастополя произвело сильное впечатлѣніе на всѣхъ: и на тѣхъ, которые предвидѣли, что намъ не выдержать борьбы съ цивилизованными народами, и на тѣхъ, кто въ ослѣпленіи „официальной народности“ мечталъ закидать врага шапками. Всѣ поняли, что нельзя больше жить такъ, какъ жили до сихъ поръ. Старый строй жизни былъ подвергнутъ всестороннему разсмотрѣнію и единодушному осужденію. Когда въ началѣ новаго царствованія литература получила нѣкоторую свободу, волной хлынули журналы, газеты, листки, печатные и рукописные проекты. Центромъ ихъ вниманія было, конечно, крѣпостное право, какъ основное зло, налагавшее тяжелый отпечатокъ на всѣ стороны русской жизни. Наряду съ этимъ развилась такъ называемая „обличительная литература“, съ горячностью раскрывавшая всевозможныя язвы стараго строя: взяточничество, казнокрадство, гнетъ семейнаго деспотизма и пр. Появился своеобразный типъ „литератора - обывателя“, для котораго литература была только формой, помогавшей ему указать на тѣ или другія общественныя несовершенства. вмѣстѣ съ этимъ волна общаго возбужденія выноситъ и настоящія литературныя дарованія, и притомъ изъ такихъ слоевъ, которые раньше не заявляли себя на поприщѣ литературной дѣятельности. Это такъ называемые „писатели - разночинцы“, каковы, напримѣръ, Ѳ. М. Рѣшетниковъ и Н. В. Успенскій, къ которымъ намъ придется еще вернуться въ одной изъ слѣдующихъ главъ, и Н. Г. Помяловскій (1835—1863), авторъ „Очерковъ бурсы“, превосходной картины отживавшаго педагогическаго быта, и двухъ замѣчательныхъ романовъ—„Молотовъ“ и „Мѣщанское счастье“.

Идейными вождями русскаго общества въ первый періодъ 60-хъ годовъ были Н. Г. Чернышевскій (1828—1889) и Н. А. Добролюбовъ (1836—1861).

Николай Гавриловичъ Чернышевскій останется навсегда памятенъ въ исторіи русскаго народа, какъ человѣкъ исключительно крупныхъ дарованій. Правительственная реакція второй половины 60-хъ годовъ прервала дѣятельность Чернышевскаго всего на



Н. Г. Чернышевскій.

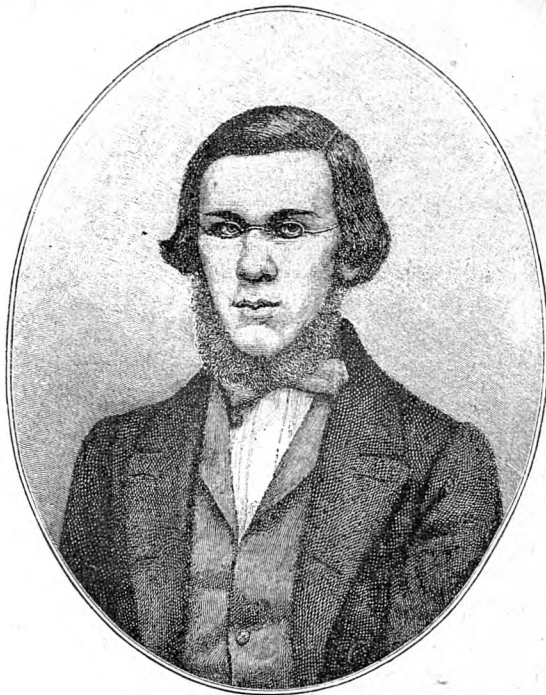
десятомъ ея году, но и за этотъ короткій срокъ ему удалось оставить незабываемый слѣдъ въ философіи, политической экономіи, публицистикѣ и критикѣ. Какъ критикъ, Чернышевскій въ своемъ основномъ трудѣ „Эстетическія отношенія искусства къ дѣятельности“ отвергалъ положеніе, что „содержаніе искусства есть прекрасное“, доказывая, что содержаніемъ его можетъ служить вся жизнь. Что касается цѣли искусства, то она не въ одномъ только воспроизведеніи жизни, но и въ ея объясненіи. Въ этомъ отноше-

ніи Чернышевскій замѣтно примыкалъ къ взглядамъ Бѣлинскаго послѣдняго періода его дѣятельности. Чернышевскій началъ свою критическую дѣятельность въ то время, когда цензура запрещала упоминать самое имя его великаго предшественника, но ему все-таки удалось выяснитъ громадное значеніе Бѣлинскаго. Критическая дѣятельность Чернышевскаго продолжалась недолго, и не въ ней была его главная сила. Все его значеніе основано на тѣхъ научно-публицистическихъ статьяхъ, въ которыхъ онъ звалъ русское общество отъ отвлеченныхъ философскихъ системъ къ научному познанію міра при помощи естественныхъ наукъ, а главное—на работахъ политико-экономиче-

скихъ. Здѣсь онъ выступилъ подъ знаменемъ социализма, продолжая прерванную реакціей работу 40-хъ годовъ и борясь противъ ученій буржуазныхъ экономистовъ. Мы увидимъ далѣе, какъ во вторую половину 60-хъ годовъ, а особенно въ 70-ые годы, выработка новыхъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ становится на первый планъ. До извѣстной степени это было подготовлено Чернышевскимъ, который сумѣлъ въ своихъ экономическихъ работахъ опредѣленно подчеркнуть великое значеніе личности. Такъ, отграничивъ понятіе народнаго благосостоянія отъ понятія національнаго богатства, Чернышевскій доказывалъ, что эти понятія далеко не равнозначія: не сумма благъ, принадлежащихъ націи въ цѣломъ, а количество блага, которымъ пользуется каждая реальная личность,—вотъ мѣрило народнаго благосостоянія. „Нѣкоторые“, писалъ Чернышевскій, „предполагаютъ для государства цѣль болѣе высокую, нежели потребности отдѣльныхъ лицъ,—именно осуществленіе отвлеченныхъ идей справедливости, правды и т. п. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ такого принципа легко выводить для государства права болѣе обширныя, нежели изъ другой теории, которая говоритъ только о пользѣ частныхъ лицъ; но вообще мы держимся послѣдней, и выше человѣческой личности не принимаемъ на земномъ шарѣ ничего.... Общая норма для оцѣнки всего сущаго—благо человѣка“. Это, такъ сказать, утвержденіе личности было потомъ, въ 70-ые годы, отправнымъ пунктомъ для рѣшенія вопросовъ о выработкѣ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ.

Николай Александровичъ Добролюбовъ былъ продолжателемъ критической дѣятельности Чернышевскаго. Послѣдній, сразу оцѣнивъ выдающіяся дарованія молодого писателя, всецѣло уступилъ ему критическій отдѣлъ въ руководимомъ имъ „Современникѣ“, самомъ вліятельномъ журналѣ того времени. Добролюбовъ является яркимъ представителемъ такъ называемой публицистической критики, для которой важнѣе всего не художественныя или чисто литературныя достоинства произведенія, а его общественное значеніе. Очень часто для Добролюбова художественное произведеніе было лишь поводомъ для анализа разныхъ сторонъ общественной жизни, для проповѣди тѣхъ или другихъ общественныхъ идеаловъ. Въ области такой критики онъ далъ превосходныя, до сихъ поръ не утратившія значенія статьи о Гончаровѣ, Тургеневѣ, Островскомъ („Что такое обломовщина?“, „Когда же придетъ настоящій день?“, „Темное царство“, „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“). Надо замѣтить, что, цѣняя въ художественномъ произведеніи, главнымъ образомъ, его идею, Добро-

любовь требовалъ не тенденціозности, не проведенія предвзятой мысли, а „жизненной правды“. Онъ даже отказывался отъ разбора такихъ произведеній, которыя были написаны подъ вліяніемъ предвзятой теоріи. „Художественное произведеніе“, писалъ онъ въ статьѣ „Лучь свѣта въ темномъ царствѣ“, „можетъ быть выраженіемъ извѣстной идеи не потому, что авторъ задался этой идеей при его созданіи, а потому, что автора поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собой“. Руководясь такимъ взглядомъ, Добролюбовъ въ своей критиче-



Н. А. Добролюбовъ.

ской дѣятельности подвергъ глубокому анализу цѣлый рядъ явлений общественной и семейной жизни. При этомъ анализъ для него такъ же, какъ для Чернышевскаго, важнѣе всего не отвлеченные законы справедливости, а благо реальной человѣческой личности. „Я“, говорилъ Добролюбовъ, „всѣ свои сомнѣнія и умствованія привелъ, наконецъ, къ одной формулѣ: человекъ и его счастье“.

Самые первые годы разсматриваемаго періода были годами радостныхъ надеждъ и вмѣстѣ съ тѣмъ временемъ

общаго единодушія, когда совсѣмъ не было рѣзкаго дѣленія на партійныя группы. Единодушіе стало замѣтно исчезать съ 1857 г., когда послѣ рескрипта на имя Виленскаго генераль-губернатора стало яснымъ твердое намѣреніе правительства вступить на путь освобожденія крестьянъ. Отъ словъ и обличеній надо было переходить къ дѣлу, и вотъ крупныя имущественныя и сословныя интересы представителей стараго поколѣнія и все растущія политическія и соціальныя требованія молодежи создаютъ начало общественной розни въ средѣ, еще недавно, казалось, столь единодушной. Уже одно это понижало радостное настроеніе общества,

а вскорѣ и правительство опредѣленно обнаружило желаніе затормозить, обуздить дѣло реформъ во всѣхъ областяхъ русской жизни. Правительственная реакція, начавшая сказываться немедленно вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, и служить гранью между первой и второй половинами 60-хъ годовъ.

Среди идейныхъ представителей второй половины 60-хъ годовъ самой крупной фигурой является Димитрій Ивановичъ Писаревъ (1841—1868). Слѣдуя за Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, Писаревъ ставилъ въ основу своего міросозерцанія личность. Въ первые годы дѣятельности Писарева эта сторона его воззрѣній

была доведена до чрезвычайныхъ размѣровъ, выродилась въ своеобразный эгоизмъ и повела къ бурному протесту противъ всякаго общаго для людей идеала. Ни одинъ порядочный врачъ, заявлялъ Писаревъ, не пропишетъ всѣмъ своимъ больнымъ общаго леченія, ни одинъ окулистъ не заставитъ всѣхъ носить одинаковыя очки, ни одинъ сапожникъ не сдѣлаетъ всѣмъ своимъ заказчикамъ сапогъ по одинаковой мѣркѣ... „Такъ пора же, наконецъ, по-



Д. И. Писаревъ.

нять, господа, что общій идеаль такъ же мало можетъ предъявить правъ на существованіе, какъ общіе очки или общіе сапоги, сшитые по одной мѣркѣ и на одной колодкѣ“. Настойчиво указываетъ Писаревъ на необходимость самостоятельнаго развитія каждой личности, необходимость для нея самосовершенствованія, которое, по его словамъ, должно „кончиться не тѣмъ, что человѣкъ приблизится къ общему идеалу, а тѣмъ, что онъ сдѣлается личностью, получить разумное право и сознаетъ блаженную необходимость быть самимъ собою“. Эта освобожденная отъ общаго идеала личность должна всегда поступать только такъ, какъ „ей хочется или какъ ей кажется выгоднымъ и

удобнымъ“. Единственная ея цѣль — наслажденіе. Смѣлость мысли была основной чертой Писарева. Онъ обнаружилъ ее и въ данномъ случаѣ, не побоявшись довести свой взглядъ до крайнихъ предѣловъ и отказавшись, въ концѣ концовъ, отъ задачи доказывать читателю вѣрность своихъ взглядовъ и убѣжденій, такъ какъ „всякая проповѣдь, умственная и нравственная, есть, до извѣстной степени, посягательство на свободу другой личности“. Писаревъ не замѣчалъ въ увлеченіи своимъ культомъ личности даже того, что каждая его статья являлась опроверженіемъ его же собственныхъ взглядовъ: вѣдь, онъ писалъ и печаталъ для того, чтобы учить и убѣждать, т.-е. дѣйствовать на личности.

Впослѣдствіи Писаревъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ измѣнилъ свои взгляды. Подойдя ближе къ вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ личности и общества, признавая трудъ основой жизни, Писаревъ говоритъ теперь, что трудъ только тогда возвышаетъ личность, когда направленъ къ общей разумной цѣли, т.-е. къ общему идеалу, а конечная цѣль — разрѣшеніе вопроса „о голодныхъ и раздѣтыхъ“. Какимъ же образомъ достиженію этой цѣли можетъ способствовать человѣкъ? Писаревъ въ отвѣтъ на этотъ вопросъ остался вѣренъ своей теоріи самосовершенствованія личности. Знаніе — вотъ сила, которая все разрѣшитъ. Его надо распространять, но не среди народа, а среди интеллигенціи. „Судьба народа“, писалъ Писаревъ, „рѣшается не въ народныхъ школахъ, а въ университетахъ“. Учитесь, совершенствуйтесь сами и увлекайте къ тому же другихъ, устраивайте кружки. А учиться надо только естественнымъ наукамъ, въ которыхъ вся доступная человѣку правда. Эта теорія личнаго и кружкового самосовершенствованія создала среди послѣдователей Писарева своеобразный аристократизмъ. Увлечшись заботами о собственномъ развитіи, они, въ концѣ концовъ, забывали о конечной цѣли, для которой это развитіе должно было служить лишь ступенью.

Была въ проповѣди Писарева еще одна сторона, доведенная до крайнихъ предѣловъ его послѣдователями. Разумѣемъ его отношеніе къ искусству. На первыхъ порахъ своей дѣятельности Писаревъ совершенно отрицалъ всякое значеніе искусства, затѣмъ, въ связи съ общимъ измѣненіемъ его взглядовъ, онъ готовъ былъ признавать въ искусствѣ не то пріятное развлеченіе въ минуты отдыха свободной личности, не то и „пользу“ тѣхъ художественныхъ произведеній, которыя „заставляютъ насъ задумываться и помогаютъ намъ мыслить“. Но самостоятельное, самоцѣнное значеніе искусства, какъ его понимали люди 40-хъ годовъ, Писаревъ отвергалъ всегда.

Между 60-ми и 70-ми годами нѣтъ такой рѣзкой разницы, какъ это бывало раньше и позже въ быстрой смѣнѣ разнообразныхъ теченій русской общественной мысли. 70-ые годы органически выросли изъ 60-хъ, и не даромъ изслѣдователи и историки русской жизни такъ часто ставятъ ихъ за одну скобку. Характеризуя 60-ые годы, виднѣйшій изъ семидесятниковъ, Ник. Конст. Михайловскій (1842—1904) писалъ такъ:

„Кто хочетъ понять характеръ и значеніе 60-хъ годовъ, долженъ прежде всего остановиться на необыкновенно счастливомъ и чрезвычайно рѣдкомъ въ исторіи сочетаніи идеальнаго съ реальнымъ, головокружительно - возвышеннаго съ трезво - практическимъ... Въ общемъ, характеръ нашего умственнаго движенія, примѣрно съ пятидесятихъ годовъ, можетъ быть сведенъ къ двумъ пунктамъ. Подъ наитіемъ своихъ домашнихъ дѣлъ и иностранныхъ вліяній мы желали, во-первыхъ, знать неподкрашенную правду о существующемъ, о мѣрѣ, какъ онъ есть, со включеніемъ ближайшихъ къ намъ,



Н. К. Михайловскій.

окужающихъ насъ вплотную явленій. Поэтому мы благоволили къ разнымъ философскимъ системамъ, носившимъ названія матеріализма, реализма, позитивизма. Собственно въ философскія системы мы никогда особенно пристально не вглядывались и довольно неразборчиво валили ихъ въ кучу, лишь бы онѣ обѣщали намъ правду. Къ нимъ мы питали больше платоническія чув-

ства. Но направлѣніе все-таки очень сильно сказалось въ частныхъ областяхъ: въ пристрастіи къ естественнымъ наукамъ, въ особенныхъ приѣмахъ въ беллетристикѣ и въ другихъ искусствахъ, въ критикѣ, въ обличительной литературѣ. Въ то же время насъ занимала и другая половина правды—вопросы о томъ, каковъ міръ долженъ быть, міръ человѣческой жизни, разумѣется“. Вторая половина „двуединой правды“, какъ выражался Михайловскій, въ 60-ые годы, особенно въ разгаръ увлеченія Писаревымъ, оставалась въ тѣни, болѣе молчаливо предполагалась, чѣмъ владѣла умами. Семидесятники искали, главнымъ образомъ, ее, „правду-справедливость“, не отказываясь, впрочемъ, и отъ „правды-истины“. Увлеченіе естествознаніемъ, отъ котораго хотѣли получить отвѣтъ на вопросъ, каковъ міръ есть, смѣнилось увлеченіемъ соціологіей, наукой объ обществѣ, отъ которой страстно хотѣли узнать, каковъ міръ долженъ быть. Пусть естествознаніе, говорили семидесятники, доказываетъ намъ, что природа безжалостна къ людямъ, что въ смыслѣ права она не знаетъ различія между человѣкомъ и воробьемъ,—мы, люди, должны быть сами къ ней безжалостны, должны покорить ее, вычеркнуть зло и создать добро. Пусть не мы цѣль природы, но у насъ есть цѣль, и мы достигнемъ ея. А наша цѣль—приближеніе къ тому времени, когда общество будетъ состоять изъ суммы цѣлостныхъ личностей, свободно и гармонично развивающихся всѣ стороны своей физической и духовной природы. Съ этой точки зрѣнія искусство не вздоръ: жажда прекраснаго заложена въ челоѣкѣ, и въ одно и то же время можно служить истинѣ и справедливости и любоваться красотой. „Пусть все живое живетъ, и пусть во-сю живетъ!“—восклицалъ Михайловскій.

„Долой теоріи и общіе идеалы!“—говорили послѣдователи Писарева. „Читатель, зажмите ротъ тому, кто вамъ говоритъ это!“—отвѣчалъ Михайловскій, доказывая, что безъ прочнаго теоретическаго фундамента нѣтъ никакой работы, плодотворной въ общественномъ смыслѣ. Мы уже знаемъ, что самъ Писаревъ въ послѣдніе годы своей дѣятельности призналъ необходимость общаго идеала и видѣлъ смыслъ его въ разрѣшеніи вопроса „о голодныхъ и раздѣтыхъ“, знаемъ и тотъ путь личнаго и кружковаго самосовершенствованія и саморазвитія, которымъ онъ думалъ приблизиться къ идеалу. Семидесятники полагали, что путь писаревцевъ ведетъ въ тупикъ самаго обыкновеннаго эгоизма. Разумъ говорилъ имъ, что наука, самая возможность ея заниматься,—все куплено цѣной безконечнаго труда народной

массы, а совѣсть звала ихъ къ расплатѣ за „все растущую цѣну прогресса“, къ погашенію вѣкового долга народу.

На почвѣ работы чуткой совѣсти возникаетъ новый общественный типъ — „кающійся дворянинъ“, желающій искупить и загладить вину свою передъ народомъ. Въ превосходной полубеллетристической, полупублицистической повѣсти Михайловскаго „Въ перемежку“ ярко очерченъ этотъ типъ. Онъ стоитъ въ тѣсной связи съ „разночинцами“ предшествующаго десятилѣтія, только тѣ требовали правъ для себя, а „кающійся дворянинъ“ отказывался отъ своихъ правъ во имя долга передъ народомъ, передъ низами общества, на которые, какъ мы указывали, такъ аристократически-пренебрежительно смотрѣли крайніе писаревцы. Герой повѣсти Михайловскаго, „кающійся дворянинъ“ Григорій Темкинъ, такъ вспоминаетъ о „разночинцахъ“: „Въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время всѣ эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаповы, Нибуши (имя одного изъ дѣйствующихъ лицъ повѣсти) и прочіе знать не хотѣли никакихъ эпитемій и знакомились съ бѣлой горячкой. Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти... Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ могла мучить только злоба на искалѣченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своей ненавистью, и изъ этой близости возникли чрезвычайно странныя столкновенія... Они спасали насъ отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тѣсную раковину собственной чистоты, примирившись съ тѣмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажѣ того самаго зданія, гдѣ мы себя устроили уютное гнѣздышко, живетъ непроглядное невѣжество, безысходная нужда. Но разночинцы выходили именно оттуда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собой живую струю“.

Моральный, нравственный характеръ главнѣйшихъ теченій общественной мысли и признаніе исключительно-важной роли личности въ исторіи — вотъ основныя черты, отличающія идейную жизнь 70-хъ годовъ. Въ ряду авторитетнѣйшихъ ея выразителей, вмѣстѣ съ Михайловскимъ и кружкомъ писателей, группировавшихся около самаго вліятельнаго журнала эпохи — „Отечественныхъ Записокъ“, слѣдуетъ поставить Петра Лавровича Лаврова (1823—1900). Въ его работахъ („Историческія письма“

„Введеніе въ исторію мысли“) научное обоснованіе значенія личности нашло себѣ, быть можетъ, еще болѣе яркое выраженіе, чѣмъ у Михайловскаго. Лавровъ не отрицалъ, что личность есть продуктъ взаимодействія физическихъ и историческихъ условій, но утверждалъ, что воля и собственное сознаніе даютъ ей окончательное опредѣленіе.

„Историческія событія“, писалъ Лавровъ, „сами собою не происходятъ. Что бы ни писали о духѣ времени, о неизбѣжномъ теченіи событій, увлекающемъ личности, но, въ концѣ концовъ, все-таки дѣлаютъ исторію личности, духъ времени составляется изъ настроенія мысли личностей; потокъ событій, увлекающій однихъ, образуется другими, опять-таки личностями“.

Большая часть дѣятельности Лаврова протекла въ вынужденномъ изгнаніи, за предѣлами Россіи, но имя его тѣсно связано съ началомъ русскаго революціоннаго движенія 70-хъ годовъ.

Манифестъ 23 мая 1866 г., появившійся послѣ покушенія Каракозова на жизнь императора Александра II, показалъ радикально-настроенной части русскаго общества, что правительство окончательно отказалось отъ реформъ, вступивъ на путь реакціи. Въ отвѣтъ на это съ особенной силой заработала общественная мысль, жаждавшая активнаго выхода. Многочисленные ряды молодежи „пошли въ народъ“, выражаясь языкомъ того времени. Одни (бакунисты, послѣдователи М. А. Бакунина) шли для того, чтобы использовать революціонное настроеніе, присущее народу и нуждающееся въ помощи лишь для своего проясненія и организованнаго проявленія. Другіе (лавристы, послѣдователи П. Л. Лаврова) шли для того, чтобы создать въ народѣ революціонное настроеніе, котораго тамъ, по ихъ мнѣнію, не было, чтобы образовать въ деревнѣ ряды сознательныхъ борцовъ за освобожденіе. И тѣми, и другими это освобожденіе понималось исключительно въ социальномъ смыслѣ: политическая реформа, какъ предпосылка къ измѣненію социальнаго строя, ими рѣшительно отвергалась.

Къ 1878 г. „хождение въ народъ“ потеряло свой массовый характеръ. Тутъ сыграли роль и преслѣдованія правительства, и разочарованіе въ результатахъ самого дѣла. Мѣсто проповѣди революціи социальной занимаетъ проповѣдь революціи политической, основанная на сознаніи необходимости добыть прежде всего политическую свободу, причемъ средствомъ борьбы признается терроръ. Революціонное общество „Земля и Воля“, возникшее въ 1876 г., въ 1879 г. распалось на „Народную Волю“ и „Черный передѣлъ“. Представители послѣдней группы желали

остаться на почвѣ чистаго социализма, первая группа хотѣла идти къ социальному перевороту черезъ политическій.

Достигнувъ своей высшей точки 1 марта 1881 г., дѣятельность народовольцевъ, подъ влияніемъ правительственнаго разгрома, пошла на убыль, и въ 1883 г. прекратилась окончательно, если не считать нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ ея воскрешенія. Наступили 80-е годы, періодъ самой тяжелой реакціи, которую когда-либо переживала Россія...

Нѣтъ надобности останавливаться на характеристикѣ правительственной реакціи 80-хъ годовъ: слишкомъ знакомы и свѣжи въ памяти результаты ея во всѣхъ областяхъ русской жизни, но нельзя не отмѣтить, что въ эту эпоху параллельно съ ней шла реакція общественная, захватившая не только старшее поколѣніе, но и молодежь. Широкой идейный размахъ, жажда правды социальной и политической, высокой подъемъ духа предшествующаго десятилѣтія смѣняются, въ лучшемъ случаѣ, проповѣдью „малыхъ дѣлъ“, самага мелкаго постепенства, теоріей личнаго самоусовершенствованія. „Наше время—не время широкихъ задачъ“,—этими словами Щедринаго героя лучше всего характеризуются 80-ые годы.

Вмѣсто „разночинца“ и „кающагося дворянина“ предшествующихъ десятилѣтій на первомъ планѣ, по выраженію того же Щедрина,—„чумазый“, представитель медленно, но неуклонно возрастающей промышленности и мелкой буржуазіи. Въ угоду его низменнымъ, некультурнымъ вкусамъ появляется такъ называемая „мелкая пресса“, чуждая сколько-нибудь серьезныхъ интересовъ, замѣняющая ихъ уголовщиной, порнографіей, крикливымъ патріотизмомъ.

Центральный органъ семидесятниковъ — „Отечественныя Записки“—погибъ подъ гнетомъ цензурныхъ преслѣдованій, а одинокіе голоса немногихъ либеральныхъ изданій („Русскія Вѣдомости“, „Русская Мысль“) заглушались „Московскими Вѣдомостями“ и „Новымъ Временемъ“. Первая газета, издававшаяся на казенную субсидію, поддерживала, а иногда и вдохновляла правительственную реакцію, воскрешая давно забытые идеалы „официальной народности“ и рекомендуя старыя, испытанныя средства борьбы съ оппозиціоннымъ духомъ. По сравненію съ „Новымъ Временемъ“ эта газета имѣла преимущество извѣстной опредѣленности, выдержанности направленія. „Новое Время“ измѣняло свои взгляды на общественные и политическіе вопросы съ чуткостью хамелеона, будучи вѣрнымъ себѣ только въ полной безпринципности, въ глумленіи надо всѣмъ, что было дорого

русскому обществу изъ наслѣдія лучшихъ лѣтъ его жизни, въ необузданной травлѣ инновѣрцевъ и инородцевъ. Но интересна не столько фізіономія газеты, сколько то, что она имѣла большой успѣхъ: трудно найти лучшее доказательство всей глубины общественной реакціи.

1891 г., первый „голодный годъ“, можно считать „началомъ конца“ реакціонныхъ восьмидесятихъ годовъ, поворотнымъ пунктомъ къ идейному возрожденію русскаго общества. Оживленіе радикальной журналистики и выступленіе русскаго марксизма— вотъ главные признаки поворота.

Радикальная журналистика, заглохшая въ 80-хъ годахъ, возродилась въ лицѣ „Русскаго Богатства“, особенно съ тѣхъ поръ, какъ этотъ журналъ, перебивавъ въ нѣсколькихъ рукахъ, перешелъ къ Н. К. Михайловскому и В. Г. Короленко. Насколько это было возможно по цензурнымъ условіямъ, журналъ старался обновить въ памяти русскаго общества прерванныя реакціей традиціи 70-хъ годовъ, но главныя его усилія были направлены на оживленную полемику съ марксистами.

Интересъ къ германской социаль-демократіи и къ ученію Маркса, идейнаго ея вдохновителя, опредѣленно сказывался еще въ 70-е годы, когда „лавристы“, послѣ неудачи хожденія въ народъ, обратили главное вниманіе на революціонную пропаганду въ промышленныхъ центрахъ и характеризовали свою программу терминомъ „рабочій социализмъ“. Въ началѣ 80-хъ годовъ, въ видѣ „группы освобожденія труда“, образовалась русская социаль-демократическая партія. Теоретикомъ этой группы явился Г. В. Плехановъ (род. въ 1857 г.), принадлежавшій прежде къ чернопередѣльцамъ. Въ началѣ 90-хъ годовъ русская социаль-демократія властно заявила о себѣ въ области, какъ активныхъ политическихъ выступленій, такъ и теоретическихъ, программныхъ заявленій.

Въ основѣ марксизма лежитъ ученіе такъ называемаго экономическаго матеріализма, по которому историческій процессъ обуславливается исключительно борьбой экономическихъ классовыхъ интересовъ. Въ своемъ развитіи экономическая жизнь проходитъ три ступени: патриархальную, капиталистическую и социалистическую, смѣна которыхъ совершается въ духѣ гегелевскихъ тезы, антитезы и синтеза (см. гл. XV). Законъ этой смѣны, созданный Марксомъ на основѣ философіи Гегеля и подтвержденный богатымъ запасомъ его наблюденій надъ жизнью европейскихъ народовъ, русскіе марксисты признали за естественно-историческій, обязательный для всѣхъ народовъ и странъ. Не

взирая на оговорки, сдѣланныя Марксомъ для Россіи въ виду ея своеобразнаго народно-экономическаго строя, русскіе марксисты доказывали необходимость для Россіи пройти черезъ капиталистическую ступень развитія, призывали помочь нарожденію капитализма и устранить пережитки народно-экономическаго быта, какъ бы симпатичны они ни были сами по себѣ. Чѣмъ скорѣй подѣ влияніемъ растущаго капиталистическаго производства обезземелится крестьянство, тѣмъ лучше: оно увеличитъ собой армію пролетаріата и ускоритъ наступленіе новаго экономическаго строя, основаннаго на реальной побѣдѣ рабочаго класса.

Нетрудно замѣтить, что фатально-необходимый законъ экономическаго развитія, который долженъ обязательно провести Россію черезъ „горнило капитализма“, совершенно уничтожалъ исключительное значеніе личности, на которомъ было построено міровоззрѣніе семидесятниковъ. Какъ это ни странно на первый взглядъ, но въ устахъ нѣкоторыхъ крайнихъ марксистовъ выводъ изъ этого закона звучалъ точно такъ же, какъ знаменитое „примиреніе съ дѣйствительностью“ Бѣлинскаго.

Моральныя стремленія семидесятниковъ тоже встрѣтили категорическое отрицаніе со стороны марксистовъ. Важно то, что социальный процессъ необходимъ,—справедливъ онъ или нѣтъ,—этого вопроса не слѣдуетъ и ставить, какъ не слѣдуетъ его ставить по поводу какого-нибудь стихійнаго проявленія силъ природы.

Около этихъ основныхъ теоретическихъ положеній и завязался ожесточенный споръ Михайловскаго съ русскими марксистами, и надо замѣтить, что въ общемъ здѣсь побѣда осталась за семидесятниками. Иначе обстояло дѣло съ вопросами, касающимися тѣхъ формъ народно-экономическаго быта, на которыхъ основывалась увѣренность семидесятниковъ, что для Россіи можетъ и не быть обязательной капиталистическая ступень развитія. Въ этой области семидесятникамъ, подѣ влияніемъ марксистской критики, пришлось внести много поправокъ.

Въ общемъ, оцѣнивая значеніе марксизма 90-хъ годовъ, надо сказать, что оно было громадно. Будучи въ теоріи сухо-отвлеченнымъ, шедшимъ какъ будто по линіи наименьшаго сопротивленія, на практикѣ марксизмъ оказался живымъ, дѣятельнымъ, сумѣвшимъ цѣной напряженныхъ усилій организовать рабочія массы въ сильную политическую партію. Онъ пробудилъ общество отъ апатіи и усталости 80-хъ годовъ, обратилъ критическую мысль къ пересмотру прошлаго въ цѣляхъ исканія луч-

шаго будущаго. Словомъ, онъ былъ прелюдией кътому великому перевороту русской жизни, которымъ ознаменовалось начало XX вѣка.

XVIII

Д. В. Григоровичъ.

Съ именемъ Дмитрія Васильевича Григоровича связывается начало появленія „мужика“ въ русской художественной литературѣ. Какъ это ни странно, но „мужицкой беллетристикѣ“, какъ говорили въ семидесятые годы, положили начало писатель полурусскаго происхожденія, до самаго совершеннѣйшаго почти не владѣвшій русскимъ языкомъ.

Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ родился 19 марта 1822 г. въ г. Симбирскѣ. Отецъ его, отставной гусарь и помѣщикъ, умеръ рано, и мальчика воспитывали мать и бабушка съ материнной стороны, обѣ чистокровныя француженки. Крутая, умная, властная, „вольтерьянка въ душѣ“, бабушка держала въ своихъ рукахъ всю семью. Безтолковое первоначальное обученіе на французскомъ языкѣ, строгость и придирчивость бабушки, „холодъ и одиночество“,—вотъ что вспоминалъ изъ своего дѣтства Григоровичъ. Русскому языку Григоровичъ научился отъ камердинера своего отца. Ему же онъ обязанъ участіемъ и лаской, скрасившими его дѣтство. Когда мальчику минуло 8 лѣтъ, его отвезли въ Москву и отдали въ частный пансіонъ. Изъ пансіона онъ ничего не вынесъ, развѣ лишь усовершенствовалъ свой французскій языкъ, а по-русски говорилъ съ иностраннымъ акцентомъ и не могъ написать самаго простаго письма. Въ 1836 г. Григоровичъ поступилъ въ Петербургское военное инженерное училище. Въ своихъ воспоминаніяхъ онъ передалъ много характерныхъ подробностей о системѣ тогдашняго воспитанія, о школьныхъ порядкахъ и нравахъ, отличавшихся достаточной грубостью. Умственное развитіе Григоровича и здѣсь не подвинулось впередъ. Математическія науки, составлявшія главный предметъ преподаванія, совсѣмъ ему не давались, а по отношенію къ другимъ предметамъ онъ, по его собственнымъ словамъ, „не выходилъ изъ полусознательнаго, туманнаго состоянія ума, мѣшавшаго быстро и ясно схватывать то, что читалъ преподаватель съ кафедръ“. Единственное, что дало Григоровичу инженерное училище, это любовь къ литературѣ. Его товарищемъ былъ Ѳ. М. Достоевскій, будущій великій писатель, около котораго образовался кружокъ любителей литературы. Григоровичъ сдѣлался членомъ этого кружка и, подѣ

вліяніємъ „Разбойниковъ“ Шиллера, принялся за сочиненіе какой-то драмы изъ итальянской жизни. Изъ этой попытки ничего не вышло, хотя бы уже по одному тому, что авторъ драмы плохо владѣлъ русскимъ литературнымъ языкомъ.

Случай помогъ Григоровичу разстаться съ инженернымъ училищемъ. Выйдя оттуда, онъ поступилъ въ Академію Художествъ, но и тутъ пробылъ недолго, потому что серьезнаго таланта къ живописи у него не оказалось. Григоровичъ сталъ писать для театра въ качествѣ переводчика, все болѣе и болѣе вырабатывая на переводахъ свой слогъ, сильно отзывавшійся французскимъ вліяніемъ. Отъ переводовъ онъ вскорѣ перешелъ къ попыткамъ самостоятельнаго творчества. Еще будучи въ училищѣ, Григоровичъ познакомился съ Некрасовымъ. Въ 1845 г. Некрасовъ задумалъ издать „Физиологію Петербурга“—сборникъ очерковъ, изображающихъ различныя стороны столичнаго быта, и пригласилъ въ сотрудники Григоровича. Послѣдній остановился на мысли описать жизнь петербургскихъ шарманщиковъ. Характерно, что, задавшись этой темой, онъ прежде всего занялся самымъ тщательнымъ, можно сказать, мелочнымъ собираніемъ матеріала, потому что, по его собственнымъ словамъ, ему хотѣлось—изобразить дѣйствительность такъ, какъ она есть, какъ Гоголь изобразилъ ее въ „Шинели“.

Вскорѣ послѣ этого Григоровичъ поселился вмѣстѣ къ Достоевскимъ, который въ это время работалъ надъ своей повѣстью „Бѣдные люди“. Эта повѣсть, соединявшая реализмъ съ глубокимъ гуманнымъ чувствомъ, заставила Григоровича оглянуться на свои первые опыты, признать, что слишкомъ малъ запасъ его наблюдений. Къ этому присоединились вліянія одного кружка интеллигентной молодежи, занимавшейся общественными вопросами. Григоровичъ бросилъ Петербургъ и уѣхалъ въ деревню. Ему хотѣлось въ уединеніи заняться своимъ умственнымъ развитіемъ и потомъ уже приступить къ серьезной, идейной работѣ въ области литературы.

Живя въ деревнѣ, Григоровичъ случайно услышалъ отъ матери рассказъ объ одной несчастной, забитой крестьянской женщинѣ. Этотъ рассказъ легъ въ основу его первой повѣсти „Деревня“, которая представляетъ изъ себя простое, безхитростное изображеніе жизни бѣдной сироты Акулины. Она родилась въ грязной, смрадной избѣ, на скотномъ дворѣ, гдѣ жила ея мать-скотница. Давъ жизнь дочери, мать, лишенная ухода, умерла. Ребенокъ отправился бы вслѣдъ за матерью, если бы какая-то баба не сунула ему въ ротъ случайно попавшійся рожокъ. Раз-

дѣливъ по жребію скудныя пожитки покойницы, бабы бросили жребій и о ребенкѣ: онъ достался скотницѣ, имѣвшей полдюжины своихъ ребятъ. Акулина росла, вынося брань и побои скотницы, попрекаемая каждымъ кускомъ хлѣба, не слыша ни отъ кого ласковаго слова. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ Акулина работала безъ отдыха, въ награду получая только брань. По прихоти господъ Акулину выдали замужъ. Она попала изъ огня да въ полымя. Мужъ Акулины, желавшій взять за себя другую дѣвушку и женившійся на Акулинѣ по приказу барина, возненавидѣлъ насильно навязанную ему жену и съ перваго же дня ихъ совмѣстной жизни началъ нещадно бить ее. Акулина все переносила терпѣливо. Всю силу своей любви она сосредоточила на дочкѣ Дунѣ. Дѣвочка платила матери тѣмъ же, ни на шагъ отъ нея не отходила и скрашивала своей дѣтской привязанностью безотрадную жизнь Акулины. Черезъ четыре года нельзя было узнать Акулину: она превратилась въ старуху, сухую, сутулую, съ медленной поступью и мучительнымъ кашлемъ. Она таяла не по днямъ, а по часамъ.

Но роднѣ ея не было до того дѣла: большую, почти умирающую Акулину они посылають на барскій дворъ досушивать чечевицу. Разсказъ кончается тяжелой картиной похоронъ Акулины. Никто не провожалъ ее на кладбище. Пьяный мужъ, примостившись къ краю гроба, понукалъ тощую клячу, а сзади, утопая въ сугробахъ снѣга, въ хаосѣ крутившейся мятели, бѣжала Дунька, не хотѣвшая разстаться съ матерью.

„Деревня“, создавшая Григоровичу первый крупный успѣхъ, стоила ему массы труда. Онъ такъ вспоминалъ объ этомъ: „Знакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ только по книгамъ, которыя удавалось читать, я сталъ усердно изучать его практически, проводилъ часы на мельницѣ, бесѣдуя съ помольцами, разговаривалъ съ нашими крестьянами, стараясь прислушиваться къ складу ихъ рѣчи, записывалъ выраженія, казавшіяся мнѣ особенно характерными и живописными. Первые главы повѣсти „Деревня“ стоили мнѣ неимовернаго труда. Французскій языкъ, которымъ меня питали до тринадцатилѣтняго возраста, все еще по временамъ давалъ себя чувствовать; я долго иногда путался, прискивая ту фразу, которая должна была выпукло и пластично выразить то, что хотѣлось сказать“...

„Деревня“ была напечатана въ 1846 г., а черезъ годъ появилась вторая повѣсть Григоровича—„Антонъ-Горемыка“, имѣвшая еще большій успѣхъ, чѣмъ первая. Эта повѣсть изображаетъ крѣпостной бытъ, главнымъ образомъ, со стороны полнѣйшаго

безправія крестьянина. Героємъ ея является забитый, загнанный управляющимъ имѣнія мужикъ, человекъ простой, добрый, отзывчиво относившійся и къ людскому горю, и къ мірскимъ интересамъ. Антонъ принужденъ отправиться на ярмарку, чтобы продать послѣднюю лошаденку для уплаты оброка. Тамъ онъ попадаетъ въ шайку конокрадовъ, которые, пользуясь его доверчивостью, уводятъ лошадь. Въ полномъ отчаяніи бродитъ Антонъ въ поискахъ за пропавшимъ Пѣгашкой и во время этихъ скитаній сталкивается съ компаніей бродягъ, незадолго до того ограбившихъ купца. Его арестуютъ вмѣстѣ съ ними, и повѣсть оканчивается тѣмъ, что Антона въ колодкахъ отправляютъ въ городъ на судъ.

Кромѣ повѣстей, Григоровичъ изобразилъ народный бытъ и въ крупныхъ произведеніяхъ. Таковы романы „Рыбаки“ и „Переселенцы“, значительно уступающіе по своимъ достоинствамъ повѣстямъ Григоровича. Пробовалъ онъ изображать и помѣщичью среду („Проселочныя дороги“), и столичное чиновничество („Лотерейный балъ“, „Свистулькинъ“ и другіе многочисленныя рассказы), но это ему мало удавалось. Желая идти по стопамъ Гоголя, Григоровичъ писалъ эти вещи въ юмористическомъ духѣ, но юморъ былъ совершенно несвойствененъ его таланту.

Въ началѣ 60-хъ годовъ Григоровичъ замолкъ, какъ писатель, отдавшись всецѣло работѣ въ „Обществѣ поощренія художествъ“. Онъ вновь вернулся къ литературѣ въ началѣ 80-хъ годовъ, но его послѣднія произведенія (повѣсти „Акробаты благотворительности“, „Гуттаперчевый мальчикъ“ и комедія „Замшевые люди“) ничего не прибавили къ его прежней литературной славѣ. Онъ скончался 22 декабря 1899 г.

Талантъ по преимуществу изобразительный, живописующій внѣшнюю сторону жизни, слабый въ области психологическаго анализа, Григоровичъ въ настоящее время представляетъ лишь историческій интересъ, какъ авторъ „Деревни“ и „Антоня-Горемыки“. Значеніе этихъ повѣстей въ свое время было громадно. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ, вспоминая время ихъ появленія, писалъ: „Я помню „Деревню“, помню „Антоня-Горемыку“, помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя дорогія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ“.

XIX.

И. С. Тургеневъ.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился 28 октября 1818 г. въ Орлѣ, но большую часть дѣтства провелъ въ имѣніи своей матери, Спасскомъ, въ Мценскомъ уѣздѣ. Семья находилась сначала подъ гнетомъ холоднаго, себялюбиваго отца, а послѣ его смерти начался гнетъ матери, женщины властной, суровой, ти-



И. С. Тургеневъ.

пичной крѣпостной помещицы, жестокой и съ домашними, и съ крестьянами (ея образъ нашель себѣ отраженіе въ разсказахъ „Муму“, „Пунинъ и Бабуринъ“ и др.). На долю Тургенева выпало тяжелое дѣтство. „Драли меня за всякій пустякъ чуть не каждый день“, вспоминаль онъ впоследствии.

Родители по-своему заботились о воспитаніи мальчика, и около него перебивало немало болѣе или менѣе невѣжественныхъ гувернантокъ и гувернеровъ. Неизмѣримо сильнѣ ихъ вліянія было воспитательное вліяніе

родной природы, тяжелыхъ картинъ крѣпостного быта, дружбы съ простыми дворовыми людьми. Въ автобіографическомъ разсказѣ „Пунинъ и Бабуринъ“ Тургеневъ сохраниль для потомства образъ одного двороваго, который въ гущѣ стараго сада, съ томомъ ложно-классической „Россіады“ въ рукахъ, восторженно посвящаль будущаго великаго писателя въ красоты русской литературы, презираемой и гонимой въ домѣ его матери.

Послѣ пансіонской и домашней подготовки Тургеневъ въ 1833 г. поступилъ въ Московскій университетъ, но пробыль тамъ всего одинъ годъ, перейдя въ Петербургскій университетъ на тотъ же словесный факультетъ. На университетской скамьѣ Тургеневъ

попробовалъ свои силы, написавъ „дѣтски-неумѣлую“, по его словамъ, фантастическую поэму.

По окончаніи университета Тургеневъ поѣхалъ за границу, гдѣ пробылъ три года студентомъ Берлинскаго университета. Къ этому времени относится его дружба со Станкевичемъ и Грановскимъ. вмѣстѣ съ другой русской молодежью они составили дружескій кружокъ, увлекавшійся нѣмецкой идеалистической философійей, литературой и искусствомъ.

Характеризуя впоследствии это время, Тургеневъ писалъ: „Я бросился внизъ головою въ нѣмецкое море, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ, — я все-таки очутился западникомъ и остался имъ навсегда“.

Въ 1841 г. Тургеневъ вернулся въ Россію. По чисто формальнымъ препятствіямъ Тургеневу не удалось посвятить себя научной дѣятельности, о которой онъ мечталъ, живя за границей, и онъ рѣшилъ поступить на службу. Онъ оставилъ ее черезъ два года, чтобы никогда болѣе къ ней не возвращаться.

Въ 1843 г. появилась поэма Тургенева „Параша“. Она обратила на Тургенева вниманіе Бѣлинскаго, и это послужило началомъ ихъ дружбы, крайне благотворной для Тургенева, который трогательно воскресилъ благородный обликъ Бѣлинскаго въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ. За „Парашей“ послѣдовалъ рядъ стихотвореній и разсказовъ („Разговоръ“, „Андрей Колосовъ“, „Три портрета“ и др.), которые, не отличаясь самостоятельностью, носятъ слѣды вліянія то Лермонтова, то Гоголя. На самостоятельный путь Тургеневъ вышелъ въ 1847 г., когда появился его очеркъ „Хорь и Калинычъ“, скромно пріютившійся на задворкахъ „Современника“ съ подзаголовкомъ: „Изъ записокъ охотника“. Громадный успѣхъ этого очерка ободрилъ Тургенева, и вплоть до 1852 г. онъ продолжаетъ работать надъ галлереей крестьянскихъ и помѣщичьихъ типовъ. Въ 1852 г. онъ собралъ свои очерки и издалъ ихъ отдѣльной книгой подъ заглавіемъ „Записки охотника“. Книга произвела громадное впечатлѣніе и на общество, и на власть. Последняя справедливо увидѣла въ ней своеобразный протестъ противъ крѣпостного права и воспользовалась первымъ предлогомъ, чтобы показать свое отношеніе къ Тургеневу. За статью, написанную подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти Гоголя, Тургеневъ былъ посаженъ подъ арестъ, а затѣмъ высланъ въ деревню, гдѣ вынужденъ былъ прожить безвыѣздно 2 года.

Начиная съ 1855 г., появляется серія романовъ Тургенева, отражающихъ идеи и стремленія русскаго общества въ разные

эпохи. За „Рудинымъ“, написаннымъ въ 1855 г., послѣдовали: „Дворянское гнѣздо“ (1858), „Наканунъ“ (1859), „Отцы и дѣти“ (1861), „Дымъ“ (1867) и „Новь“ (1876). Первые изъ этихъ романовъ, особенно „Дворянское гнѣздо“, встрѣчались сочувственно, иногда даже восторженно, и критикой, и публикой. Отношеніе той и другой рѣзко измѣнилось послѣ „Отцовъ и дѣтей“, когда въ образѣ Базарова многимъ почудилась карриатура на молодое поколѣніе. Удрученный нападками, Тургеневъ сталъ подумывать о томъ, чтобы совсѣмъ отказаться отъ литературной дѣятельности. Это тяжелое душевное настроеніе Тургенева выразилось въ элегическомъ очеркѣ „Довольно“, отъ котораго вѣтъ глубокимъ пессимизмомъ. Пессимистическое настроеніе вообще было сродно душѣ Тургенева и нашло себѣ выраженіе не только въ „Довольно“: имъ проникнуты „Призраки“ и цѣлый рядъ „Стихотвореній въ прозѣ“, этихъ изумительныхъ миниатюръ, вводящихъ насъ въ область интимныхъ переживаній Тургенева. Среди цѣлага ряда причинъ, лежавшихъ въ основѣ Тургеневскаго пессимизма, нельзя не указать на обстоятельства его личной жизни. Онъ горячо любилъ семейную жизнь, дѣтей, лелѣялъ мысль о теплѣ и уютѣ собственнаго гнѣзда, но судьба отказала ему въ этомъ счастьѣ, поддерживая въ немъ гнетущее, тяжелое чувство неудовлетворенности.

Еще въ срединѣ 40-хъ годовъ Тургеневъ познакомился со знаменитой пѣвицей Віардо. Она произвела на него неотразимое впечатлѣніе, и съ этого времени жизнь Тургенева навсегда связывается съ жизнью Віардо и ея семьи, къ которой онъ, по его собственнымъ словамъ, „прикрѣпился“. Эта привязанность была главной причиной, удерживавшей Тургенева вдали отъ родины, которую онъ посѣщалъ наѣздами и обыкновенно ненадолго. Съ 1863 г. по 1871 г. Тургеневъ жилъ, главнымъ образомъ, въ Баденъ-Баденѣ, а послѣ франко-прусской войны поселился вмѣстѣ съ семьей Віардо въ окрестностяхъ Парижа. И въ Германіи, и во Франціи Тургеневъ много сдѣлалъ для того, чтобы ознакомить Западную Европу съ русской литературой, интересамъ которой онъ былъ преданъ всей душой.

Тоска по родинѣ, охлажденіе критики, болѣзнь, мрачныя мысли о близкомъ концѣ, одиночество среди семьи, хотя и близкой, но во многомъ чуждой по духу,—все это тяжелымъ камнемъ ложилось на душу Тургенева въ послѣдніе годы его жизни. Ихъ скрасилъ только тотъ взрывъ энтузіазма, которымъ встрѣтило Тургенева русское общество въ 1880 году, когда онъ пріѣхалъ въ Россію на открытіе памятника Пушкину. Въ слѣдующемъ году

онъ еще разъ посѣтилъ родину, встрѣченный такимъ же восторгомъ русской интеллигенціи, а 22 августа 1883 г. Тургенева не стало. Тѣло его было перевезено въ Россію и погребено въ Петербургѣ на Волковомъ кладбищѣ. По мысли одного французскаго писателя на могильномъ памятникѣ Тургенева изображена разбитая цѣпь, символически указывающая на то значеніе, которое имѣли его „Записки охотника“.

„Все, что я видѣлъ вокругъ себя“, писалъ Тургеневъ о годахъ юности, проведенныхъ въ Россіи, „возбуждало во мнѣ чувство смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться. Это была моя Аннибаловская клятва“. Онъ исполнилъ эту клятву своими рассказами изъ крестьянской жизни, вооруженный для боя только силой своего художественнаго слова.

25 рассказовъ, входящихъ въ серію „Записокъ охотника“, за весьма немногими исключеніями, посвящены изображенію крѣпостного быта. Здѣсь цѣлая галерея крестьянскихъ типовъ: крестьяне-практики (Хорь въ рассказѣ „Хорь и Калинычъ“, однопорецъ Овсянниковъ въ рассказѣ того же имени); крестьяне-идеалисты, одаренные тонкимъ пониманіемъ природы, искатели правды Божьей на землѣ (Калинычъ, Касьянъ съ Красивой Мечи); строгіе исполнители долга, суровые на видъ, но безконечно добрые въ душѣ (Θома въ рассказѣ „Бирюкъ“); старики-дворовые, въ которыхъ вѣлалась атмосфера барскаго дома, лишивъ ихъ сочувствія къ новому, лучшему времени (Туманъ изъ „Малиновой воды“); дѣти, живущія одной жизнью съ природой, чуткія къ поэзіи утра и страхамъ ночи („Бѣжинъ лугъ“); художники, воплощающіе въ звукахъ своихъ пѣсень „то разгулье удалое, то сердечную тоску“ („Пѣвцы“), и, какъ вѣнецъ всего, женщина, олицетворяющая своей судьбой изумительное долготерпѣніе русскаго народа (Лукерья изъ „Живыхъ мощей“).

Въ акварельныхъ эскизахъ „Записокъ охотника“ мы напрасно стали бы искать бьющихъ въ глаза картинъ крѣпостного гнета, негодующаго протеста. Тургеневъ просто приблизилъ къ читателю мужика, показалъ его душу, убѣдилъ, что душа эта такая

же, какъ душа человѣка культурнаго, стоитъ лишь взглянуть не нее непредубѣжденнымъ взглядомъ. Какъ художникъ, онъ боролся съ крѣпостнымъ правомъ только художественной правдой своихъ образовъ. Мы видѣли уже, какъ эта правда колола глаза власти, поддерживавшей крѣпостной порядокъ.

Къ „Запискамъ охотника“ тѣсно примыкають два другіе, не вошедшіе въ этотъ сборникъ разсказа: „Муму“ и „Постоялый дворъ“. Первый изъ нихъ, быть можетъ, самое сильное осужденіе крѣпостнаго права, когда-либо вышедшее изъ-подъ пера Тургенева. Образъ помѣщицы-самодурки очерченъ здѣсь съ замѣтною ненавистью, въ основѣ которой, вѣроятно, лежатъ тяжелыя воспоминанія дѣтства. Но центръ разсказа не въ образѣ помѣщицы, а въ изумительной по силѣ и теплотѣ изображенія фигуръ калѣки-двороваго, вся жизнь котораго сосредоточилась на любви къ воспитанной имъ загнанной собаченкѣ.

Въ рядѣ романовъ, которые начали появляться съ 1856 года, Тургеневъ изобразилъ послѣдовательную смѣну настроеній и направленій, господствовавшихъ въ средѣ русской интеллигенціи.

Какъ человѣкъ, молодость котораго совпала съ эпохой 30—40-хъ годовъ, Тургеневъ прежде всего обратился къ изображенію этого времени. Василий Васильевичъ изъ разсказа „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, Рудинъ, герой романа того же имени, и Лаврецкій изъ „Дворянскаго гнѣзда“ — вотъ наиболѣе яркіе представители 30—40-хъ годовъ. Все они объединяются именемъ „лишнихъ людей“. Если припомнить характеристику двухъ названныхъ десятилѣтій, сдѣланную въ главѣ VII, станутъ понятны общественныя условія, на почвѣ которыхъ появились „лишніе люди“. Подъ вліяніемъ правительственнаго гнета русскіе университеты не давали здоровой умственной пищи, университеты европейскіе или знакомили съ философскими системами, отвлеченными по существу, или съ выводами науки, не находившими ни малѣйшаго примѣненія въ невозможныхъ условіяхъ русской дѣйствительности. Въ натурахъ исключительныхъ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, Станкевичъ, мысль горѣла яркимъ пламенемъ, рвалась оказать свое вліяніе на окружающую среду. Натуры, поднимавшіяся нѣсколько выше обычнаго уровня, тратили силу своей мысли и чувства на кружковые споры по поводу тонкостей нѣмецкой философіи да на культъ любовныхъ наслажденій. Въ натурахъ рядовыхъ мысль работала уединенно, направленная на самоанализъ, убивавшій всякую энергію, всякое проявленіе живого, непосредственнаго чувства. При отсутствіи обще-

ственной работы духовную жизнь „лишнихъ людей“ могъ бы оздоровить самый обыкновенный трудъ, направленный къ поддержанію своего существованія, но крѣпостное право съ даровымъ крестьянскимъ трудомъ устранило изъ жизни большинства и это оздоровляющее начало.

Василій Васильевичъ („Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“) — человекъ забитый, „смирившійся“. Когда-то онъ былъ другимъ: учился въ университетѣ, участвовалъ въ студенческомъ кружкѣ, „толковалъ тамъ о нѣмецкой философіи, любви, солнцѣ вѣчнаго духа и прочихъ отдаленныхъ предметахъ“. Онъ побывалъ и въ Германіи, у самаго родника знанія, но западной жизни и людей не узналъ, а только „слушалъ нѣмецкихъ профессоровъ да читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ ихъ рожденія“. Испыталъ онъ тамъ и любовь, или, какъ онъ самъ характерно выражается, ему „показалось“, что онъ влюбился въ бѣлокурую Линхенъ, „да цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ этакъ все казалось“. По возвращеніи изъ-за границы онъ дѣлается записнымъ ораторомъ московскихъ гостиныхъ, болтаетъ „вчера на Арбатѣ, сегодня на Трубѣ, завтра на Сивцевомъ Вражкѣ“. Сознаніе полной бесполезности своей болтовни, смутная неудовлетворенность грызуть его. Глупая сплетня, которой не могло перенести его болѣзненное самолюбіе, заставляетъ его покинуть Москву и уѣхать въ деревню. Ни намекъ на какую-нибудь дѣятельность нѣтъ и здѣсь. „Смутныя, сладкія ожиданія“ при видѣ родимой природы, и скука, „какъ у щенка взаперти“. Неспособный на сильное, непосредственное чувство, принимающій за любовь сладенькую мечтательность, онъ женится на болѣзненной, странной дѣвушкѣ, которая ему „болѣе всего нравилась, когда онъ сидѣлъ къ ней спиной“. Четыре года тянулась медленная, мучительная пытка ихъ совмѣстной жизни, окончившаяся смертью жены. А затѣмъ началось постепенное „смирение“ Василія Васильевича, доведшее его до положенія почти приживальщика, сознающаго свое полное ничтожество. Передъ нами рядовой „лишний человекъ“, умный, но не знающій жизни, весь ушедшій въ самоанализъ и потерявшій въ немъ способность и къ дѣятельности, и къ живому, непосредственному чувству, безъ котораго нельзя устроить даже личной жизни.

Рудинъ головой выше Василія Васильевича, хотя бы уже по одному тому, что не „смирился“ и умеръ не приживальщикомъ, а на баррикадахъ Парижа въ 1848 году.

„Людыамъ нужна вѣра... въ самихъ себя, въ свои силы... Грѣшно бояться мысли и не довѣряться ей. Скептицизмъ всегда

отличался бесплодностью и безсилимь... Если у человѣка нѣтъ крѣпкаго начала, въ которое онъ вѣритъ, нѣтъ почвы, на которой онъ стоитъ твердо, какъ можетъ онъ дать себѣ отчетъ въ подробностяхъ, въ значеніи, въ будущности своего народа, какъ можетъ онъ знать, что онъ самъ долженъ дѣлать?" Мы слышимъ отъ Рудина эти слова при первомъ же знакомствѣ съ нимъ и безъ труда узнаемъ въ нихъ отзвуки тѣхъ философскихъ разсужденій, которыя велись въ кружкахъ 30—40-хъ годовъ. И дѣйствительно, Рудинъ былъ виднымъ членомъ одного изъ такихъ кружковъ, принадлежа, очевидно, къ тому теченію въ нихъ, которое отлилось въ послѣдствіи въ формы западничества: онъ „весь былъ погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ“,—да къ тому же и учился онъ въ Германіи. Сильный не столько въ области фактовъ, сколько въ области общей, отвлеченной мысли, Рудинъ, подобно многимъ людямъ своего поколѣнія, обладаетъ блестящимъ ораторскимъ талантомъ. И стройность его общихъ разсужденій, и сила слова даютъ Рудину могучую власть надъ молодыми душами. „Этотъ человѣкъ умѣлъ не только потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя“,—говоритъ про Рудина восторженный юноша Басистовъ. Испытала то же самое и Наталья, но ей короткій романъ съ Рудинымъ показалъ и слабыя его стороны. Съ юныхъ лѣтъ проникнутый культомъ любви, охотно и часто говоря о ней, собираясь даже писать „о трагическомъ значеніи“ ея въ жизни, Рудинъ, какъ и Василій Васильевичъ, на высотахъ теоретическихъ размышленій потерялъ способность къ живому, непосредственному чувству: онъ любитъ любовью воображенія, а не сердца. Въ искреннія минуты онъ самъ сознается въ этомъ, но на протяженіи его романа съ Натальей постоянная склонность къ фразѣ и позѣ закрываютъ отъ него истинную сущность его переживаній. Въ заключительномъ же эпизодѣ мелкая трусость передъ первымъ препятствіемъ, неспособность къ рѣшительному шагу, жалкія слова о необходимости „покориться“ и мелкое, пошлое самолюбіе Рудина являются во всей своей неприглядности. „Вѣрно, отъ слова до дѣла еще далеко!“—говоритъ Рудину Наталья.

Быть можетъ, подъ вліяніемъ горькой правды этихъ словъ Рудинъ дѣлаетъ попытки приняться за дѣло, притомъ имѣющее цѣлью не личное счастье, а общественное благо. Съ какимъ-то судорожнымъ увлеченіемъ онъ то беретъ мѣсто управляющаго большимъ имѣніемъ, желая улучшить бытъ крестьянъ, то, сой-

дясъ съ мечтателемъ - идеалистомъ, хватается за фантастическій проектъ превратить одну рѣку въ судоходную, то дѣлается педагогомъ, чтобы передать свои знанія молодежи. Всюду онъ терпитъ пораженіе, всюду онъ — лишній, но лишній уже не только въ силу своихъ личныхъ недостатковъ и неприспособленности къ жизни, но и въ силу общественныхъ условій: недаромъ же онъ высылается въ свою деревню и недаромъ кончаетъ дни свои на чужбинѣ.

Къ тому же самому поколѣнію, какъ и Рудинъ, принадлежитъ Лаврецкій изъ „Дворянскаго гнѣзда“, но въ галлерей „лишнихъ людей“ онъ занимаетъ крайнее мѣсто, граничащее уже съ людьми другого склада. Лаврецкаго сдѣлало „лишнимъ“, главнымъ образомъ, нелѣпое воспитаніе, по его собственнымъ словамъ, „вывихнувшее“ его. Идеалистъ-мечтатель, котораго съ дѣтства искусственно отгораживали отъ жизни, онъ влюбился въ пустую, пошлую женщину и, женившись на ней, навсегда разрушилъ свое личное счастье, а мечты о личномъ счастьѣ и попытки его осуществленія занимаютъ лучшіе годы его жизни. Правъ былъ Михалевичъ, университетскій товарищъ Лаврецкаго, упрекая его въ томъ, что онъ желалъ лишь „самонаслажденія“, строилъ свой домъ на пескѣ, забывъ о живомъ общественномъ дѣлѣ. Неспособность къ практической дѣятельности, замкнутость въ кругъ личныхъ интересовъ роднитъ, въ извѣстной степени, Лаврецкаго съ Василиемъ Васильевичемъ и Рудинымъ, но есть въ немъ и другія черты. Его неустанная работа надъ своимъ образованіемъ, и въ Россіи, и въ Парижѣ, постоянно связана съ мыслью о дѣлѣ, которое онъ будетъ дѣлать на родинѣ. Правда, это дѣло рисовалось ему въ очертаніяхъ крайне смутныхъ, но жизнь, въ концѣ концовъ, дала ему опредѣленные формы: Лаврецкій „сдѣлался хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя: онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ“. Въ этомъ отношеніи онъ оказался счастливѣе Рудина и, быть можетъ, именно потому, что онъ былъ менѣе оторванъ отъ русской народою жизни, сознавалъ необходимость ея изученія, „требовалъ признанія народной правды“ и даже „смирненія передъ нею“, сближаясь въ этомъ отношеніи, если не съ ученіемъ, то съ настроеніемъ славянофиловъ.

Приближалась эпоха великихъ реформъ, чуялось скорое наступленіе времени, когда для обновленія русской жизни понадобятся люди не слова, а дѣла. Кто эти грядущіе работники? Гдѣ они? Тургеневъ не получилъ отвѣта на эти вопросы отъ

русской дѣйствительности, но онъ сказалъ, каковы должны быть эти чаемые люди, въ своемъ романѣ „Наканунѣ“, вышедшемъ въ 1859 году.

Инсаровъ, герой этого романа,—болгаринъ. Это прежде всего человекъ не слова, а дѣла. Передъ нимъ ясная, опредѣленная цѣль—освобожденіе своей угнетенной родины изъ-подъ власти турокъ. Все опредѣляется этой цѣлью, вся жизнь, со всѣмъ, что въ ней есть великаго и мелкаго. Инсаровъ готовъ пожертвовать своимъ глубокимъ чувствомъ къ любимой дѣвушкѣ, опасаясь, что личное счастье помѣшаетъ его дѣлу. Освобожденіе Болгаріи не можетъ быть осуществленно безъ поддержки Россіи,—надо сблизить эти страны, и Инсаровъ переводитъ съ русскаго на болгарскій и обратно, составляетъ болгарскую грамматику для русскихъ. Передъ великимъ дѣломъ должны исчезнуть личныя дразги,—Инсаровъ бросаетъ все и исчезаетъ на нѣсколько дней, чтобы разобрать мелкія ссоры земляковъ. Онъ скупъ на слова, педантиченъ и сухъ, но, говорить Тургеневъ устами Шубина, „сушь, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ съ своей землей связанъ, не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся, молъ, въ насъ живая вода!“ Фигура Инсарова, до мелочей противоположная людямъ рудинскаго типа, словно намѣренно созданная по закону контрастовъ, еще подчеркнута въ романѣ образами людей, взятыхъ изъ русской жизни. Берсенева, отпрыскъ 40-хъ годовъ, мечтающій продолжать съ кафедры дѣло Грановскаго и въ то же время смыслъ своей личной жизни видящій въ томъ, чтобы всегда быть „номеромъ вторымъ“, Шубинъ, художественная натура, великій мастеръ на малыя дѣла, Курнатовскій—сухой и черствый чиновникъ,—вотъ тѣ, которыхъ могла выставить русская жизнь передъ глазами Тургенева наканунѣ великихъ реформъ.

Въ 1861 году, въ годъ освобожденія крестьянъ, вышелъ лучший романъ Тургенева „Отцы и дѣти“, который даетъ картину борьбы двухъ поколѣній: стараго, дореформеннаго, воспитывавшагося на идеализмъ нѣмецкой философіи, создавшаго культъ поэзіи и любви, для чего такія благоприятныя условія представлялъ крѣпостный трудъ, обезпечивавшій барскій досугъ, и поколѣнія новаго, молодого, увлекавшагося матеріализмомъ и отрицаніемъ. Представители стараго поколѣнія, послѣдніе отзвуки дореформеннаго прошлаго,—старики Кирсановы. Молодое поколѣніе представлено въ сильной фигурѣ Базарова.

Послѣдовательное, доходящее до крайности отрицаніе всего того, чѣмъ жило поколѣніе отцовъ—основная черта Базаровскаго

міросозерцанія. Онъ отрицаетъ общіе, отвлеченные принципы и разговоры по ихъ поводу. Да и нѣтъ никакихъ общихъ, отвлеченныхъ положеній: „принциповъ вообще нѣтъ, а есть ощущенія“. Чувство любви — „романтизмъ, чепуха, гиль“. Искусство, которое играло такую важную роль въ жизни отцовъ, совершенно ненужный и вредный балластъ. Не Пушкина надо читать, а „Силу и матерію“ Бюхнера, который изложилъ послѣднее слово естественныхъ наукъ въ области пониманія міра и человѣка. Чувство природы, наслажденіе ея красотою тоже недостойны мыслящаго человѣка: „природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ“.

Все въ современномъ строѣ жизни подлежитъ отрицанію: нѣтъ ни одного „постановленія въ современномъ быту, въ семейномъ или общественномъ, [которое бы не вызывало полнаго и безпощаднаго отрицанія“. Если мы прибавимъ къ этому, что Базаровъ по происхожденію и по натурѣ былъ демократъ, гордившійся тѣмъ, что его „дѣдъ землю пахалъ“, если вспомнимъ его презрительныя слова Аркадію о дворянахъ, которые „дальше благороднаго смиренія или благороднаго кипѣнія дойти не могутъ“ то станеться ясной связь Базарова съ важнѣйшими идейными теченіями 60-хъ годовъ. Впрочемъ, [въ одномъ крупномъ вопросѣ Базаровъ расходится съ основными теченіями того времени: онъ рѣзко-отрицательно относится къ народу, къ народнымъ учрежденіямъ въ родѣ общины, что является, конечно, лишь крайнимъ выраженіемъ его общаго отрицательнаго направленія.

Безстрашно доведя свое отрицаніе до крайнихъ логическихъ предѣловъ, Базаровъ однако не остается ему вѣренъ всегда, и вслѣдствіе этого образъ „нигилиста“, теоретика отрицанія, быть можетъ, теряя въ своей цѣльности, становится намъ ближе и понятнѣе. Нѣтъ общихъ положеній, принциповъ, опредѣляющихъ направленіе и смыслъ людской дѣятельности, говоритъ Базаровъ, и, словно повторяя противорѣчіе Писарева, въ то же время утверждаетъ, что онъ „дѣйствуетъ въ силу того, что признаетъ полезнымъ“. Дружба, любовь — „чепуха и гиль“, но мы чувствуемъ иногда ноты симпатіи въ его бесѣдахъ съ Аркадіемъ, сдерживаемые проблески сыновней любви въ отношеніяхъ къ родителямъ и воочию видимъ могучую силу его страсти къ Одинцовой. Въ Базаровѣ живой человѣкъ борется съ тѣсными рамками теоріи.

Семидесятыя годы съ ихъ „хожденіемъ въ народъ“ нашли себѣ отраженіе въ Тургеневскомъ романѣ „Новъ“. Этотъ романъ

вызвалъ большое неудовольствіе въ средѣ молодежи фигурой главнаго дѣйствующаго лица—Нежданова. Аристократъ по происхожденію, тонкая, эстетическая натура, Неждановъ идетъ въ народъ, не отдавая себѣ яснаго отчета ни въ томъ, что его ждетъ на этомъ пути, ни въ своихъ силахъ, и кончаетъ жизнь самоубійствомъ, утративъ вѣру въ свое политическое дѣло. Теперь, когда исторія нашего недавняго прошлаго раскрывается передъ нами въ воспоминаніяхъ, дневникахъ и запискахъ крупнѣйшихъ его дѣятелей, мы смѣло можемъ сказать, что Неждановъ не типиченъ для 70-хъ годовъ, что онъ просто хорошо знакомый Тургеневскому творчеству „лишній человекъ“, только въ новой исторической обстановкѣ. Между тѣмъ весь художественный планъ романа давалъ основательный поводъ думать, что Тургеневъ видитъ въ Неждановѣ типичнаго представителя эпохи „хожденія въ народъ“. За Неждановымъ виднѣются другія молодыя лица: Остродумовъ, Маркеловъ, Машурина. Авторъ отдаетъ должное ихъ героизму, ихъ преданности идеѣ, но отмѣчаетъ узость ихъ міросозерцанія, какую-то тупую ограниченность всего ихъ душевнаго склада. Нежданову и имъ противопоставляется Соломинъ, раздѣляющій народолюбіе молодежи, но отвергающій ея способы борьбы. Онъ понималъ революціонеровъ и сочувствовалъ имъ, „ибо самъ былъ изъ народа; но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго ничего не подѣлаешь и котораго долго готовить надо,—да не такъ и не къ тому, какъ тѣ“: нужна долгая, медленная культурная работа среди народа, которая, съ одной стороны, уничтожитъ пропасть между нимъ и интеллигенціей, съ другой—подготовитъ его къ лучшему будущему. „Постепенецъ“—была кличка, примѣнявшаяся къ Соломину съ презрѣніемъ со стороны радикальной молодежи, съ сочувствіемъ—со стороны самого Тургенева, поставившаго эпиграфомъ къ своему роману слова: „Поднимать слѣдуетъ новъ не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ“.

Въ галлерей образъ, созданныхъ Тургеневымъ, совершенно особое мѣсто занимаютъ женскіе типы. Тѣ женскія фигуры, которыя являются въ только что упомянутыхъ романахъ Тургенева, являются противоположностью безвольнымъ, слабымъ мужчинамъ—„лишнимъ людямъ“. Эта противоположность становится особенно яркой потому, что Тургеневъ при изображеніи женщинъ главное свое вниманіе сосредоточиваетъ на такихъ моментахъ ихъ жизни, когда съ особенной силой сказываются лучшія стороны женской души.

Наталья въ „Рудинѣ“—первый, еще не вполне законченный очеркъ сильной женской натуры. Уединенная работа молодой мысли, направленная на разрѣшеніе вопросовъ, которые задаетъ окружающая жизнь, любовь къ знанію и поэзіи — вотъ отличительныя черты Натальи. Въ ней сильно недовольство окружающимъ, въ ней зрѣетъ властное стремленіе къ иной, еще неясной въ своихъ подробностяхъ жизни. Пылкія рѣчи Рудина дѣлаютъ это стремленіе еще напряженнѣе. Она полюбила Рудина, но полюбила не за красоту, не за „нарядную печаль“, въ которую онъ драпировался, даже не за его красивыя рѣчи, а за тотъ нравственный идеалъ, который вырисовывался передъ нею въ этихъ рѣчахъ. Полюбивъ Рудина, Наталья ужъ не торгуется со своимъ чувствомъ, не считается съ обстоятельствами и препятствіями, а смѣло идетъ впередъ, къ своему разумному счастью. Она не нашла поддержки въ Рудинѣ, жестоко обманулась въ немъ, но она не падаетъ духомъ, не отчаивается. Въ гордыхъ словахъ ея послѣдняго объясненія съ Рудинымъ звучитъ не столько горечь обманутаго чувства, сколько горечь разочарованія въ человѣкѣ, котораго она приняла за своего путеводаителя.

Елена, героиня „Наканунѣ“,—порывистая, нервная, впечатлительная натура, проникнутая жаждой дѣятельной любви; ее не удовлетворитъ подача милостыни, уходъ за больными, вся эта филантропическая внѣшность: ей надо всепоглощающей дѣятельности, въ которую она цѣликомъ вложила бы свою душу. Но стремленія Елены неясны, смутны; одинокая въ своей семьѣ, она собственными силами не можетъ придать имъ реальную форму. „О, быть доброй“, пишетъ Елена въ дневникѣ, — „этого мало; дѣлать добро—да; это главное въ жизни. Но какъ дѣлать добро?“ Елена чувствуетъ, что ни Шубинъ, ни Берсенева, на которыхъ она сначала остановила свое вниманіе, не дадутъ ей отвѣта на этотъ вопросъ. Инсаровъ, выходецъ изъ чуждой среды, уже нашедшій поглотившее его душу дѣло и потому спокойный, энергичный и цѣльный, поражаетъ Елену. Она чувствуетъ, что онъ разрѣшитъ ея сомнѣнія, отдастъ ему свое молодое сердце, смѣло порываетъ съ семьей, съ родиной и ѣдетъ на чужбину. Любовь къ Инсарову отождествилась для нея съ любовью къ тому дѣлу, которому служить онъ, и послѣ его смерти она остается въ Болгаріи ради этого дѣла. Личное чувство вывело Елену на широкую дорогу дѣятельной любви.

Маріанна изъ „Нови“—одинъ изъ самыхъ прекрасныхъ образовъ въ творествѣ Тургенева. Бѣдная родственница въ домѣ чуждыхъ ей по духу людей, Маріанна несчастна, по ея собствен-

нымъ словамъ, „не своимъ несчастьемъ“. „Мнѣ кажется иногда“, говоритъ она Нежданову, „что я страдаю за всѣхъ притѣсненныхъ, бѣдныхъ, жалкихъ на Руси... нѣтъ, не страдаю, а негодую, возмущаюсь... что я за нихъ готова... голову сложить. Я несчастна тѣмъ, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу, не умѣю“. Эти слова, говорящія о жаждѣ дѣятельной любви, сближаютъ Маріанну съ Еленой, но она выше послѣдней. Сблизившись съ Неждановымъ, полюбивъ его, Маріанна видитъ въ немъ не столько любимаго человѣка, сколько вѣрнаго товарища, вмѣстѣ съ которымъ она будетъ служить народу. „Мы пойдемъ вмѣстѣ... или я пойду одна“, говоритъ она Соломину про себя и Нежданова, готовая безъ разума принести свое личное чувство въ жертву идеалу народнаго блага. Послѣ смерти Нежданова, Маріанна становится женой Соломина и, вѣроятно, пойдетъ по тому пути служенія народу, который признаетъ единственно правильнымъ ея мужъ. Смутныя стремленія Натальи нашли свое завершеніе въ Маріаннѣ: они приняли ясную и опредѣленную форму служенія народу на почвѣ его насущныхъ интересовъ и нуждъ.

Особнякомъ среди Тургеневскихъ женщинъ стоитъ Лиза изъ „Дворянскаго гнѣзда“. Ея образъ величавъ и въ то же время простъ, потому что объясняется весь одной главной особенностью душевнаго склада Лизы—религіозностью. Это не та религіозность, преобладающимъ элементомъ которой является страхъ передъ Богомъ, воздаятелемъ за добро и зло, и которая пробуждается лишь въ моменты глубокихъ душевныхъ потрясеній: Лиза „любила Бога восторженно, робко, нѣжно“, и эта любовь теплилась въ ней всегда одинаково яснымъ и ровнымъ свѣтомъ. Религіознымъ чувствомъ освѣщены всѣ ея настроенія, мысли, поступки. Жить, не причиняя никому страданія, прямо или косвенно, прощать ближнимъ всѣ обиды—вотъ идеаль Лизы. Съ точки зрѣнія этого идеала она считаетъ грѣховнымъ свое чувство къ Лаврецкому, не простившему своей жены, а преграда, которая стала между ними и разрушила ихъ счастье, представляется ей справедливымъ наказаніемъ Божиимъ. Лиза уходитъ послѣ этого въ монастырь. Не разбитая личная жизнь повела ее туда, а мотивы болѣе глубокие. „Я все знаю“, говоритъ она: „и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо“... Въ этихъ словахъ звучитъ та же неудовлетворенность окружающей дѣйствительностью, которую мы видѣли и въ Натальѣ, и въ Еленѣ, и въ Маріаннѣ, но Лиза, „вся проникнутая боязнью оскорбить кого бы то ни было“, бо-

ротья не можетъ, такъ какъ всякая борьба представляется ей зломъ, насиліемъ.

Любимымъ поэтомъ Тургенева былъ Пушкинъ, котораго онъ всегда съ благоговѣніемъ называлъ своимъ учителемъ, стремясь въ своей художественной работѣ слѣдовать его взглядамъ и художественнымъ приемамъ. „Внутреннюю свободу“ писателя отъ предвзятыхъ настроеній и тенденцій, о которой такъ много говорилъ Тургеневъ въ своихъ совѣтахъ молодымъ писателямъ, и рѣдку простоту и изящество художественной формы можно считать прямымъ продолженіемъ Пушкинскихъ традицій въ творчествѣ Тургенева. Въ меньшей степени отразилось на немъ вліяніе Гоголя. Его можно отмѣтить въ нѣкоторыхъ сатирическихъ картинахъ помѣщицкой жизни въ „Запискахъ охотника“ и въ общемъ характерѣ изображенія чиновничьей аристократіи въ „Нови“ и „Дымъ“. Отдавъ неизбежную дань вліяніямъ двухъ родоначальниковъ новой русской литературы, Тургеневъ отличается отъ нихъ болѣе широкимъ захватомъ русской жизни. Крестьяне—пахари, дворовые, дворянство, бюрократическій міръ, мѣщанство, отчасти купечество, а главное—всѣ слои русской интеллигенціи нашли въ его творчествѣ свое отраженіе. Въ этомъ лежитъ причина громаднаго бытового и историческаго значенія поэзіи Тургенева. Но въ ней есть еще другая черта, стоящая внѣ всякихъ историческихъ рамокъ: высокая гуманность, человѣчность, нашедшая для своего выраженія прекрасную художественную форму. Именно эта сторона Тургеневской поэзіи привлекла къ нему вниманіе западно-европейскихъ читателей и помогла ему начать то „мирное завоеваніе“ въ области общечеловѣческаго творчества, которымъ теперь мы справедливо можемъ гордиться.

XX.

И. А. Гончаровъ.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ родился 6 іюня 1812 г. въ городѣ Симбирскѣ, въ богатой купеческой семьѣ. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ пансіонѣ одного священника, женатаго на французкѣ. Священникъ былъ незауряднымъ педагогомъ и большое вниманіе обращалъ на чтеніе своихъ учениковъ. Изъ пансіона Гончаровъ вынесъ любовь и привычку къ серьезному чтенію. Въ 1831 г. Гончаровъ поступилъ на словесный факультетъ Московскаго университета. Здѣсь онъ слушалъ лекціи одновременно со многими изъ тѣхъ студентовъ, которые вошли въ кружки Станкевича и Герцена. Онъ не примкнулъ ни къ

одному изъ кружковъ ни студентомъ, ни послѣ окончанія университета. Дѣловитость и крайняя уравновѣшенность всего душевнаго склада держали его вдалькѣ отъ философскихъ и политическихъ мечтаній кружковъ. Въ этомъ смыслѣ Гончаровъ словно не зналъ крылатой, бурной юности. Занимался онъ довольно усердно, главнымъ образомъ, классиками всѣхъ эпохъ и національностей, что не осталось безъ вліянія на изысканную, словно выточенную форму его собственныхъ произведеній.

Получивъ университетскій дипломъ, Гончаровъ поступилъ на службу сначала въ Симбирскѣ, а затѣмъ перешель въ Петербургъ, въ министерство финансовъ. Въ это время онъ сблизился съ семьей художника Майкова, гдѣ преобладали чисто эстетическіе интересы, къ которымъ Гончаровъ всегда чувствовалъ тяготѣніе.

На литературное поприще Гончаровъ выступилъ довольно поздно: ему было 35 лѣтъ, когда появился первый его романъ, — „Обыкновенная исторія“. Это произведеніе сразу сдѣ-

лало Гончарова извѣстнымъ. Послѣ окончанія „Обыкновенной исторіи“ Гончаровъ принялся за „Обломова“. Работу надъ этимъ романомъ онъ продолжалъ и во время своего двухлѣтняго путешествія по Японіи въ качествѣ секретаря адмирала Путятина. Впечатлѣнія, вынесенныя изъ этого путешествія, составили цѣлую книгу — „Фрегатъ Паллада“. Въ 1849 г. вышелъ „Обломовъ“, окончательно упрочившій литературную извѣстность Гончарова, особенно послѣ блестящаго анализа этого романа, который былъ сдѣланъ Добролюбовымъ. Черезъ десять лѣтъ появился третій романъ Гончарова — „Обрывъ“. Онъ былъ встрѣченъ далеко не такъ сочувственно, какъ первые два романа. Особенно упрекали Гон-



И. А. Гончаровъ.

чарова за фигуру Марка Волохова. Неуспѣхъ „Обрыва“ сильно подѣйствовалъ на Гончарова, и онъ почти совсѣмъ отказался отъ литературной дѣятельности. Въ теченіе остальной жизни Гончаровъ написалъ „Воспоминанія“, рядъ небольшихъ очерковъ („Старые слуги“, „Литературный вечеръ“), критическую статью о „Горе отъ ума“ („Милліонъ терзаній“) и „Лучше поздно, чѣмъ никогда“, гдѣ онъ подводитъ итоги своему творчеству и высказываетъ свой взглядъ на него.

Соединяя литературныя занятія съ государственной службой (между прочимъ, въ цензурномъ вѣдомствѣ), Гончаровъ прослужилъ до начала 70-хъ годовъ. Выйдя въ отставку, онъ велъ одинокую, крайне замкнутую жизнь, чуждую какихъ бы то ни было общественныхъ интересовъ. Скончался Гончаровъ 15 сентября 1891 г.

Художественныя картины русской жизни, оставленныя намъ Гончаровымъ въ трехъ романахъ: „Обыкновенная исторія“, „Обломовъ“ и „Обрывъ“, изображаютъ почти исключительно жизнь русскаго дворянства съ 30-хъ годовъ до конца 60-хъ.

Образы Татьяны Марковны, Марейньки и Викентьева („Обрывъ“) цѣликомъ принадлежатъ къ эпохѣ дореформенной. Обломовъ и Ольга („Обломовъ“), Райскій и Вѣра („Обрывъ“) и молодой Адуевъ (Обыкновенная исторія)—это образы людей переходной эпохи, отчасти хранящіе слѣды старины, отчасти освободившіеся отъ ея вліянія. Наконецъ, Штольцъ („Обломовъ“), Тушинъ и Маркъ Волоховъ („Обрывъ“) — представители новой жизни, какъ она представлялась Гончарову.

Бабушка Татьяна Марковна въ „Обрывѣ“ — живое олицетвореніе старины. Вѣрная старымъ дворянскимъ традиціямъ, она боится всего новаго. Ее огорчаетъ, что внукъ хочетъ служить „по штатской“ или сдѣлаться артистомъ: если ужъ служить, то служить въ военной службѣ, всѣ же остальные профессіи могутъ лишь унижить ихъ родъ. Старая, отстоявшаяся мудрость пословицъ не сходитъ съ ея языка, словно подчеркивая замкнутость ея міровоззрѣнія въ строго опредѣленныхъ рамкахъ. И молодежь не должна мечтать о иной жизни, строго слѣдуя примѣру старшихъ. Въ этомъ отношеніи добрая бабушка можетъ быть даже деспотичной. Ея деспотизмъ легко переносятъ Марейнька и Викентьевъ, жизнерадостные, брызжущіе весельемъ, чуждые серьезныхъ требованій отъ жизни люди, которые изъ послушанія ея не выйдутъ и будутъ жить, какъ она укажетъ.

Молодой Адуевъ въ „Обыкновенной исторіи“ — представитель эпохи переходной. Это романтикъ, выросшій на почвѣ крѣпост-

ного права. Его мать, которую Бѣлинскій назвалъ „доброю внучкой злой Простаковой“, воспитала въ немъ праздную мечтательность и эгоистическія наклонности. Мало реальныхъ знаній вынесъ Адуевъ изъ университета, и лишь въ рѣчахъ его, туманно восторженныхъ, звучать отголоски университетской эстетики. Въ его душѣ—чисто-дѣтскія, сказочныя грезы о жизни, полной любви и дружбы, чуждой упорнаго, иногда тяжелаго труда. При малѣйшемъ столкновеніи съ дѣйствительностью онъ терпитъ неудачи; романтическія мечтанія тускнѣютъ, блекнутъ, и въ концѣ романа передъ нами солидный человѣкъ, съ брюшкомъ, съ виднымъ положеніемъ по службѣ, готовый увѣнчать свое благополучіе выгодной женитьбой, къ великой радости дяди, человѣка чисто практической складки, цѣликомъ ушедшаго въ созданіе собственнаго благополучія. Гончаровъ самъ объяснилъ значеніе Адуева, какъ образа переходной эпохи. „Когда я писалъ Обыкновенную исторію“, говоритъ онъ, „я, конечно, имѣлъ въ виду и себя, и многихъ подобныхъ мнѣ лицъ, учившихся дома или въ университетѣ, жившихъ по затишьямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, а потомъ отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашняго очага, со слезами и проводами, и являвшихся на главную арену дѣятельности—въ Петербургъ. И здѣсь-то, во встрѣчѣ мягкаго, избалованнаго лѣнью и барствомъ, мечтателя-племянника съ практическимъ дядей, выразился намекъ на мотивъ, который едва только началъ разыгрываться въ самомъ бойкомъ центрѣ—Петербургѣ. Мотивъ этотъ—слабое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, а живого дѣла въ борьбѣ со всероссійскимъ застоємъ“.

Обломовъ, герой романа того же имени, тоже представитель переходной эпохи. Окружавшая его крѣпостная жизнь подавляла въ Обломовѣ-ребенкѣ всякое проявленіе самостоятельности, приучила получать удовлетвореніе своихъ желаній не отъ собственныхъ усилій, а отъ услугъ многочисленныхъ крѣпостныхъ рабовъ. Сонъ, довольство, покой видѣлъ вокругъ себя мальчикъ и „безсознательно чертилъ картину своей будущей жизни по жизни, его окружавшей“. Университетъ всколыхнулъ Обломова своими идеалистическими вліяніями, но лишь на время: безвольный по натурѣ, онъ былъ неспособенъ къ продолжительному увлеченію, къ напряженному, правильному труду. Онъ пассивно усвоилъ себѣ готовые выводы науки, не продумавъ ихъ, не проработавъ ихъ такъ, чтобы они опредѣлили его жизненную цѣль. Поэтому у него между наукой и жизнью лежала цѣлая бездна, которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себѣ, а наука сама по

себѣ. Въ этомъ отношеніи онъ близокъ къ Тургеневскимъ „лишнимъ людямъ“. Человѣкъ благородной души, кристальнаго сердца, онъ „горько въ глубинѣ души плакалъ въ иную пору надъ бѣдствіями человѣчества“, „разгорался желаніемъ указать человѣчеству на его язвы“, понималъ даже весь ужасъ своего собственнаго положенія, но все это не мѣшало ему дни, мѣсяцы, годы лежать на диванѣ въ праздныхъ мечтахъ и въ горькомъ сознаніи, что отъ жизни не уйдешь въ свою скорлупу, что она „трогаетъ“. Любовь къ Ольгѣ пробудила Обломова, но лишь на мгновенье, и онъ гибнетъ въ затхлой, мѣщанской обстановкѣ, весь во власти своей апатіи. „Кто проклялъ тебя, Илья?“—спрашиваетъ Обломовъ извѣрившаяся въ него Ольга: „что ты сдѣлалъ? Ты добръ, уменъ, нѣженъ, благороденъ... и... гибнешь! что сгубило тебя? Нѣтъ имени этому злу“.—„Есть“, прошепталъ Обломовъ въ отвѣтъ чуть слышно: обломовщина“.

Въ истолкованіи великаго зла „обломовщины“ на помощь Гончарову пришелъ Добролюбовъ со своей замѣчательной статьёй „Что такое обломовщина?“ Добролюбовъ понялъ типъ Обломова очень широко. Разматривая Обломова, какъ порожденіе вѣковыхъ условій барской жизни, онъ видитъ „обломовщину“ и въ Гоголевскомъ Тентетниковѣ, и въ Онѣгинѣ, и въ Печоринѣ, и въ Рудинѣ. Отсутствіе связи съ обществомъ, замѣненное мечтательнымъ сочувствіемъ общественнымъ интересамъ, исключительное погруженіе въ себя, въ свою личность—вотъ что роднитъ всѣ эти типы. И въ дѣйствительной жизни Добролюбову всюду видится „обломовщина“: и въ разсужденіяхъ помѣщика-крѣпостника „о правахъ человѣка“, и въ жалобахъ чиновника на сложность дѣлопроизводства, и въ либеральныхъ статьяхъ журналистовъ, словомъ, вездѣ, гдѣ слышатся одни пустые разговоры, не обязывающіе къ дѣлу. Кровная связь Обломова съ русской жизнью съ величайшей убѣдительностью доказана Добролюбовымъ.

Въ Райскомъ („Обрывъ“) есть черты, унаслѣдованныя имъ отъ старой дворянской жизни 30—40 годовъ. Культъ любви у него на первомъ планѣ. Всю жизнь онъ ищетъ бурныхъ порывовъ страсти, которая бы вырвала его изъ тисковъ обыденной жизни. Онъ поклонникъ искусства, тонкій эстетикъ, но онъ больше понимаетъ искусство и говоритъ о немъ, чѣмъ работаетъ въ его области: для этого у него нѣтъ способности къ труду, выдержки. Этимъ же объясняется и то, что горячія слова Райскаго о бѣдствіяхъ народа, о необходимости ему помочь, остаются только словами. Все это роднитъ Райскаго съ дворянской молодежью

дореформеннаго періода, но чувствуется въ немъ слабое вѣяніе и новаго времени. Онъ чуждъ сословныхъ предразсудковъ, борется съ семейнымъ деспотизмомъ, отстаиваетъ свободу личности, угнетаемой косными традиціями бабушкиной морали. Даже въ его взглядахъ на искусство чувствуется новая струя: онъ мечтаетъ объ искусствѣ, сошедшемъ со своихъ высотъ, вмѣшавшемся въ людскую толпу. „Подъ Райскаго“, говоритъ Гончаровъ, „подходили тогда многіе наши интеллигентные люди, считавшіеся передовыми. Ихъ называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались къ новому, много говорили, ставили себѣ идеалы, бросались отъ одного дѣла къ другому, искали дѣятельности. И туда, въ этотъ періодъ, ушло много растерявшихся втунѣ талантовъ, не имѣвшихъ опредѣленнаго пути, сознательныхъ цѣлей и снѣдаемыхъ и своей собственной, и казенной обломовщиной“.

Гончаровъ далъ и женскіе образы переходной эпохи. Это Ольга („Обломовъ“) и Вѣра („Обрывъ“).

Ольга одарена незауряднымъ и пытливымъ умомъ, горячей жаждой знанія. „Зачѣмъ насъ, женщинъ, не учать?“—съ горечью спрашиваетъ она и жадно хватается за книги, ища въ нихъ отвѣтовъ на волнующіе ее вопросы. Полная жизненныхъ силъ, Ольга не довольствуется отвлеченной работой мысли, а ищетъ живого дѣла. Такимъ дѣломъ представилась ей задача перевоспитанія Обломова, и Ольга взялась за него съ энергіей и умѣньемъ. Она полюбила Обломова не столько за то хорошее, что въ немъ есть, сколько за то, что должно было явиться въ результатѣ ея работы. Когда она увидѣла, что всѣ ея усилія тщетны, она сама порываетъ съ Обломовымъ и говоритъ ему на прощанье: „Ты кротокъ, честенъ, Илья, ты нѣженъ, какъ голубь... ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей. Да, я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно чего-то еще, а чего—не знаю!“ Это „что-то“ осталось для Ольги невѣдомымъ и тогда, когда она сдѣлалась женою Штольца. Среди счастья ея семейной жизни наступаютъ какія-то „задумчивыя остановки“, когда ее томятъ неясные вопросы: „Куда же итти? Куда? Дальше нѣтъ дороги! Ужели нѣтъ? Ужели тутъ все... все?“ Невольно вспоминаются скорбныя недоумѣнія Тургеневской Елены, по духу столь родственной Ольгѣ, тоже стоящей „наканунѣ“ новой жизни.

По замыслу Гончарова, Вѣра изъ „Обрыва“ принадлежитъ къ болѣе поздней эпохѣ, къ концу пятидесятихъ годовъ. „Нездѣшняя“, по выраженію Марейньки, Вѣра одарена, помимо сильнаго, пытливаго ума, независимымъ, рѣшительнымъ характеромъ. От-

стаивая свою самостоятельность отъ деспотизма бабушки, Вѣра такъ же самостоятельна и въ выработкѣ міросозерцанія, не полагаясь ни на какіе авторитеты. Подъ вліяніемъ упорной работы мысли, у Вѣры мало-по-малу слагался свой идеаль жизни. Встрѣча съ Маркомъ Волоховымъ заставила Вѣру еще рѣшительнѣе отречься отъ старыхъ формъ жизни, но рѣзкое, абсолютное отрицаніе Волохова нарушаетъ стройность міросозерцанія, которое уже готово было сформироваться въ ея душѣ. Въ борьбѣ двухъ столкнувшихся сильныхъ натуръ Вѣра находитъ свою гибель. „Она“, говоритъ Гончаровъ, „не хотѣла жить слѣпо, по указкѣ старшихъ. Она сама знала, что отжила въ старой жизни, и давно тосковала, искала свѣжей, осмысленной жизни, хотѣла сознательно найти и принять новую правду, удержавъ и все прочное, коренное, лучшее въ старой жизни. Она хотѣла не разрушенія, а обновленія. Но она не знала, гдѣ и какъ искать“.

Третья группа Гончаровскихъ образовъ охватываетъ собою представителей новой жизни, какъ она представлялась Гончарову.

На первомъ мѣстѣ здѣсь слѣдуетъ поставить Штольца („Обломовъ“) и Тушина („Обрывъ“). Оба эти образа, созданные какъ бы съ предвзятымъ намѣреніемъ, въ противоположность Обломову и Райскому, должны, по замыслу Гончарова, осуществлять идеаль разумныхъ, практическихъ дѣятелей. Обѣ фигуры совершенно не удалась Гончарову. Штолецъ приумножаетъ полученное отъ отца наследство, съ успѣхомъ занимается грандіозными коммерческими предпріятіями и, въ концѣ концовъ, является передъ читателями просто умнымъ и ловкимъ дѣльцомъ. Энергія и дѣловитость хороши, какъ противовѣсь обломовщинѣ, но направленные лишь на удовлетвореніе эгоистическихъ потребностей, онѣ далеки отъ идеальныхъ чертъ, способныхъ привлечь симпатіи читателя, какъ этого, видимо, хотѣлось Гончарову. Недаромъ Ольга не удовлетворена своей жизнью со Штольцемъ.

Еще менѣе удаченъ образъ Тушина, этого, по замыслу Гончарова, представителя лучшаго большинства молодежи. То же, что и у Штольца, отсутствіе общественныхъ идеаловъ, такая же узость кругозора, ограниченнаго чисто личными интересами, и, вдобавокъ, полная невыясненность того, какъ могла сложиться такая личность. Гончаровъ ограничивается на этотъ счетъ лишь общими замѣчаніями, въ родѣ того, что это „чистый самородокъ, слитокъ благороднаго металла“.

Не удался Гончарову и Маркъ Волоховъ („Обрывъ“), представитель 60-хъ годовъ, отрицатель „всего отъ начала до конца, небесныхъ и земныхъ авторитетовъ, старой жизни, старой науки,

старыхъ добродѣтелей и пороковъ“, ворующій яблоки, потому что „собственность есть кража“, берущій деньги взаймы безъ отдачи, свертывающій папироски изъ листовъ хорошихъ книгъ. Въ обрисовкѣ этого образа, который долженъ былъ изобразить „новую ложь“ послѣреформенныхъ годовъ, Гончарову измѣнило его обычное художественное спокойствіе, и въ галлерей его типовъ Волоховъ является скорѣе политической карриатурой на людей Базаровскаго склада, чѣмъ художественнымъ образомъ.

Уже послѣ появленія „Обыкновенной исторіи“ Бѣлинскій указалъ на основную особенность художественнаго дарованія Гончарова—на спокойное, безстрастное изображеніе жизни. „У Гончарова“, писалъ Бѣлинскій, „нѣтъ ни любви, ни вражды къ созданнымъ имъ лицамъ, они его ни веселятъ, ни сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателямъ. Онъ какъ будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона“ Впослѣдствіи Добролюбовъ, сравнивая Тургенева съ Гончаровымъ, прекрасно развилъ мысль Бѣлинскаго. „Тургеневъ“, говоритъ Добролюбовъ, „разсказываетъ о своихъ герояхъ, какъ о людяхъ близкихъ ему, выхватываетъ изъ груди ихъ горячее чувство и съ нѣжнымъ участіемъ, съ болѣзненнымъ трепетомъ слѣдитъ за нимъ, самъ страдаетъ и радуется вмѣстѣ съ лицами, имъ созданными, самъ увлекается той поэтической обстановкой, которой любить всегда окружать ихъ“. У Гончарова нѣтъ ничего подобнаго. „Онъ не запоетъ лирической пѣсни при взглядѣ на розу и соловья; онъ будетъ пораженъ ими, остановится, будетъ долго всматриваться и вслушиваться, задумается. Какой процессъ въ это время произойдетъ въ душѣ его, этого вамъ не понять хорошенько. Но вотъ онъ начинаетъ чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь въ неясныя еще черты... Вотъ онъ отдѣляются яснѣе, яснѣе, прекраснѣе. И вдругъ, неизвѣстно какимъ чудомъ, изъ этихъ чертъ возстаетъ передъ вами и роза, и соловей, со всей своей прелестью и обаяніемъ. Вамъ рисуется не только ихъ образъ, вамъ чуется ароматъ розы, слышатся соловьиные звуки,—пойте лирическую пѣснь, если роза и соловей могутъ возбуждать ваши чувства: художникъ начертилъ ихъ и, довольный своимъ дѣломъ, отходитъ въ сторону; болѣе онъ ничего не прибавитъ“.

XXI.

А. Н. Островскій.

Еще Грибоѣдовъ, Пушкинъ и Гоголь создали высокіе образцы реально-художественныхъ драматическихъ произведеній. Но эти

произведенія долго оставались одинокими, не оказывая сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на русскую драматическую литературу. До начала пятидесятихъ годовъ русскій театръ давалъ на своихъ подмосткахъ, главнымъ образомъ, ложноклассическія трагедіи, переводы и передѣлки французскихъ мелодрамъ, комедій и водевилей или трескучія патріотическія пьесы доморощенныхъ геніевъ—Полевого и Кукольника, которыхъ современная имъ критика ставила очень высоко. Островскому принадлежитъ честь окончательнаго укрѣпленія въ русской литературѣ и на сценѣ самобытной, реально-художественной драмы.

Александръ Николаевичъ Островскій родился 31 марта 1823 г. въ Москвѣ, въ семьѣ чиновника, занимавшагося, по выходѣ въ отставку, „хожденіемъ“ по дѣламъ московскаго купечества. Знакомство съ клиентами отца впервые ввело Островскаго въ ту среду, изображенію которой были впоследствии посвящены лучшія его произведенія. Учился Островскій въ гимназій, потомъ на юридическомъ факультетѣ Московскаго Университета, но курса не кончилъ и поступилъ на службу.

Сначала онъ служилъ въ такъ называемомъ Совѣстномъ судѣ, гдѣ разбирались преимущественно тяжбы между близкими родственниками, а затѣмъ перешелъ въ Коммерческій судъ. Кругъ наблюденій будущаго писателя значительно расширился: ближе и глубже узналъ онъ купеческую среду съ ея темными торговыми дѣлами, хорошо познакомился и съ міромъ мелкаго чиновничества, получавшаго 3—4 рубля въ мѣсяць жалованья и пополнявшаго свой бюджетъ взятками.



А. Н. Островскій.

Въ 1846 г. Островскій написалъ свое первое драматическое произведеніе „Семейная картина“. Въ это же время начата была Островскимъ комедія „Банкротъ“, получившая впослѣдствіи другое названіе: „Свои люди—сочтемся“. Онъ закончилъ эту комедію въ 1849 г. Прежде чѣмъ напечатать пьесу, Островскій читалъ ее въ различныхъ московскихъ кружкахъ, вызывая единодушный восторгъ слушателей, среди которыхъ однажды присутствовалъ Гоголь. Но наряду съ литературнымъ успѣхомъ комедія принесла Островскому много непріятностей. Именитое московское купечество увидѣло въ пьесѣ желаніе оскорбить цѣлое сословіе, цензура запретила не только постановку комедіи на сценѣ, но и разборъ ея въ повременной печати, а авторъ былъ отданъ подъ надзоръ полиціи. Московскій попечитель, дѣйствовавшій отъ имени министра народнаго просвѣщенія, сдѣлалъ Островскому длинное внушеніе, вразумляя драматурга, что „благородная и полезная цѣль таланта заключается въ утвержденіи того, столь важнаго въ жизни общественной и частной, вѣрованія, что злодѣянія находятъ достойную кару еще на землѣ“, тогда какъ въ „Свои люди—сочтемся“ порокъ торжествуеть.

Въ началѣ своей литературной дѣятельности Островскій сблизился съ кружкомъ писателей, извѣстнымъ подъ названіемъ „молодой редакціи“ „Москвитявина“ (въ отличіе отъ „старой редакціи“—Погодина и Шевырева). Въ кружокъ этотъ, по характеристикѣ одного изъ самыхъ видныхъ его членовъ, входилъ народъ „молодой, смѣлый, пьяный, но честный и блестящій дарованіями“; это были: Аполлонъ Григорьевъ, критикъ и публицистъ, романистъ Писемскій, критикъ Эдельсонъ, поэтъ Алмазовъ, романистъ-этнографъ Мельниковъ-Печерскій и др. Члены кружка по своимъ основнымъ взглядамъ примыкали къ славянофиламъ, видѣли главное зло русской жизни въ оторванности интеллигенціи отъ народной массы, искали своихъ идеаловъ въ жизни простого народа, протестовали противъ чисто внѣшняго, пассивнаго усвоенія формъ западной жизни. Взгляды кружка оказали несомнѣнное вліяніе на Островскаго и нашли отраженіе въ его творчествѣ, на примѣръ, въ комедіи „Бѣдность не порокъ“, гдѣ ярко сказались симпатіи автора къ бытовой старинѣ, къ русскимъ пѣснямъ, обрядамъ, обычаямъ, ко всему укладу старой русской жизни.

Въ 1853 г. одна изъ комедій Островскаго („Не въ свои сани не садись“) была поставлена на сценѣ и имѣла большой успѣхъ. Еще большій успѣхъ имѣла „Бѣдность не порокъ“, окончательно утвердившая репутацію Островскаго.

Въ 1856 г. Островскій принялъ участіе въ экспедиціи, снаряженной по мысли великаго князя Константина Николаевича для изученія различныхъ мѣстностей Россіи. Островскому пришлось обследовать верхнее теченіе Волги, отъ ея истоковъ до Нижняго-Новгорода. Результатомъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ этой поѣздки, явилась драма „Гроза“ и рядъ пьесъ, навѣянныхъ историческими воспоминаніями, связанными съ великой русской рѣкой. Всѣ эти пьесы появились въ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ. Въ пьесахъ послѣднихъ лѣтъ своей жизни Островскій изображаетъ, съ одной стороны, новые типы изъ купеческой среды, создавшіеся подъ вліяніемъ роста буржуазіи, съ другой стороны— представителей отживающаго, падающаго барства („Бѣшенныя деньги“, „Волки и овцы“, „Безприданница“, „Лѣсъ“ и др.).

Всѣ пьесы Островскаго имѣли крупный успѣхъ съ перваго же появленія ихъ на сценѣ, но матеріальныхъ выгодъ онѣ приносили ему мало. Иногда Островскому приходилось прямо бѣдствовать, и только въ послѣдніе годы его жизни, съ развитіемъ театральнаго дѣла въ провинціи, поспектакльный сборъ отъ представленія его пьесъ сдѣлалъ положеніе Островскаго болѣе обезпеченнымъ.

Въ концѣ 1885 г. Островскій былъ назначенъ завѣдующимъ репертуаромъ Императорскихъ московскихъ театровъ и вмѣстѣ съ тѣмъ поставленъ во главѣ театральнаго училища. Онъ горячо принялся за дѣло, которое любилъ всей душой, но разстроенное здоровье помѣшало ему довести до конца задуманные планы. Островскій скончался 2 іюня 1886 г.

Значеніе Островскаго въ исторіи русской литературы, не говоря уже о томъ, что имъ сдѣлано для русскаго театра, основано прежде всего на томъ, что онъ въ своихъ пьесахъ всесторонне изобразилъ русское купечество, которое до него лишь случайно бывало предметомъ художественнаго воспроизведенія. Въ самомъ дѣлѣ, если не считать Гоголевской „Женитьбы“, намекающей на нѣкоторые типы, разработанные впоследствии Островскимъ (Агаѣя Тихоновна, упоминаемый въ пьесѣ ея отецъ, сваха), купцовъ, эпизодически появляющихся въ „Ревизорѣ“, да разныхъ патріотическихъ пьесъ и романовъ, изображавшихъ торговое сословіе преимущественно съ точки зрѣнія „приношеній на алтарь отечества“, купечество, какъ бытовое явленіе, оставалось совершенно внѣ сферы нашей художественной литературы. Островскій первый вывелъ „на всенародныя очи“ этотъ своеобразный міръ, за которымъ, по крылатому слову Добролюбова, такъ прочно утвердилось названіе „темнаго царства“.

Въ этомъ царствѣ есть свой властелинъ. Это — самодуръ. На недоумѣвающей вопросъ одного интеллигента („Въ чужомъ пиру похмелье“) женщина, близко знакомая съ міромъ самодурства, даетъ такое объясненіе: „самодуръ — это называется, коли вотъ человекъ никого не слушаетъ: ты ему хоть колъ на головѣ теши, а онъ все свое. Топнетъ ногой, скажетъ: кто я? Тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежать, а то бѣда“. Въ этомъ безхитростномъ опредѣленіи указаны основныя черты самодурства, какъ бытового явленія: дикій произволъ, упрямство, отъ котораго больше всего страдаетъ подвластная самодуру семья.

Типы самодуровъ, съ тѣми или другими видоизмѣненіями, встрѣчаются во всѣхъ пьесахъ Островскаго изъ купеческаго быта. Таковъ прежде всего Самсонъ Силычъ Большовъ („Свои люди — сочтемся“). Это грубый, деспотичный человекъ. Семью свою онъ держитъ въ великомъ страхѣ. „Мое дѣтище“, говоритъ онъ про дочь, „хочу — съ кашей ѣмъ, хочу — масло пахтаю“. Рѣшивъ выдать дочь замужъ, онъ не спрашиваетъ о ея желаніи: „На что-жъ я и отецъ, коли не приказывать? Даромъ что ли я ее кормилъ?“ Его жена, Аграфена Кондратьевна, добрая, любящая женщина, совершенно обезличена самодурствомъ мужа. Онъ и съ ней не совѣтуется о такомъ важномъ дѣлѣ, какъ замужество дочери. Подъ пьяную руку Самсонъ Силычъ не прочь и побить своихъ домашнихъ. „Тятевка, какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ прибьетъ того и гляди“, говоритъ дочь Самсона Силыча.

Семья — вотъ царство Самсона Силыча, гдѣ нѣтъ ему преградъ, гдѣ все повинуетъ его волѣ. Съ міромъ, лежащимъ внѣ семьи, его связываетъ лишь торговое дѣло. Оно цѣликомъ построено на обманѣ, на вѣковѣчномъ правилѣ — „не обманешь, не продашь“. Къ старости Самсону Силычу надоѣдаетъ наживаться по мелочамъ, и онъ хочетъ разбогатѣть сразу, объявивъ себя несостоятельнымъ. „Махнулъ сразу, да и шабашъ!.. А тамъ суди Владыко на второмъ пришествіи!“ Нельзя сказать, чтобы Самсонъ Силычъ затѣвалъ эту операцію со вполне спокойной совѣстью, но, во-первыхъ, „всѣ такъ поступаютъ“, во-вторыхъ, кредиторы у него всѣ люди богатые, не то что у другихъ, пускающихъ по міру бѣдняковъ, наконецъ, у него дочь „на выданьи“, надо о приданомъ позаботиться.

Самсонъ Силычъ терпитъ полную неудачу. Приказчикъ Подхалюзинъ, плутъ, дѣйствующій умно и тонко, дѣлается зятемъ Большова, прибираетъ къ рукамъ лавки, домъ и капиталы тестя. Самсонъ Силычъ попадаетъ въ „яму“ (долговая тюрьма)

и тщетно умоляетъ Подхалюзина выручить его оттуда. Эта неудача явилась слѣдствіемъ полной безпомощности, какой-то глупой довѣрчивости Самсона Силыча во всемъ, что выходитъ за предѣлы чисто семейныхъ отношеній. Подобно другимъ самодурамъ, Самсонъ Силычъ „только въ своемъ домѣ свирѣпъ, а то съ нимъ что хочешь дѣлай,—дуракъ дуракомъ: на пустомъ спугнуть можно“.

Послѣдняя особенность самодурства особенно ярко сказывается въ личности Тита Титыча Брускова, того „Китъ Китыча“, чье имя стало нарицательнымъ. („Въ чужомъ пиру похмелье“, „Тяжелые дни“). „Настасья! Смѣетъ меня кто обидѣть?“—грозно спрашиваетъ онъ жену. — „Никто, батюшка, Китъ Китычъ, не смѣетъ васъ обидѣть. Вы сами всякаго обидите“, — отвѣчаетъ жена, запуганная до того, что даже словъ собственныхъ не имѣетъ. И этотъ-то грозный Китъ Китычъ, наскандаливъ въ Марьиной рошѣ, является безпомощнымъ младенцемъ, когда приходится ликвидировать произведенный скандалъ, и его можетъ обогреть если не „благородный“ Василискъ Перцовъ, то старый плутъ, стряпчій Харлампій Мудровъ, почувавшій выгодное дѣло.

Въ пьесѣ „Бѣдность не порокъ“ передъ нами другая разновидность самодурства,—самодуръ, слегка тронутый цивилизаціей. Гордѣй Карпычъ Торцовъ, по существу своему, самодуръ чистой воды. Онъ грубъ и жестокъ съ женой, дочерью, служащими. Онъ неспособенъ оцѣнить мягкую, любящую душу приказчика Мити, списывающаго „стихотворенія господина Кольцова“, чтобы „образовать себя“, отказывающаго себѣ во всемъ, чтобы помочь матери. Рѣшивъ выдать дочь за Коршунова, ни единымъ словомъ не посовѣтовавшись ни съ ней, ни съ женой, онъ въ отвѣтъ на ея слезы говоритъ: „Ты, дура, сама не понимаешь своего счастья. Въ Москвѣ будешь по-барски жить, въ каретахъ будешь ѣздить. Одно дѣло—ты будешь жить на виду, а не въ этакой глуши, а другое дѣло—я такъ приказываю“. Для него самого Москва—какая-то обѣтованная земля, гдѣ онъ будетъ на просторѣ „всякую моду подражать“. „Хочу жить по-нынѣшнему, модами заниматься“, говоритъ Гордѣй Карповичъ, не шутя считающій себя образованнымъ человѣкомъ, потому что въ гостиной у него модная „небель“, за столомъ прислуживаетъ „не молодецъ въ поддевкѣ либо дѣвка, а фицыантъ въ нитяныхъ перчаткахъ изъ Москвы, ... который всѣ порядки знаетъ: гдѣ кому сѣсть, что дѣлать“, потому, наконецъ, что наливается онъ не мадерой или настойками, а шампанскимъ. Чисто внѣшняя „образованность“ Гордѣя Карпыча только ярче подчеркиваетъ его самодурство.

Въ драмѣ „Гроза“ Островскій выводитъ двухъ представителей самодурства: Дикого и старуху Кабанову. Первый олицетворяетъ собой, такъ сказать, чистое самодурство, безъ всякихъ постороннихъ, осложняющихъ примѣсей. Дикій, необузданный произволъ, постоянная „война“ съ домашними — вотъ единственная основа всѣхъ его поступковъ, для которыхъ невозможно отыскать какое-либо другое, мало-мальски разумное основаніе. Кабанова — это идейная представительница самодурства, благодаря чему какой-то своеобразной силой, суровой энергіей вѣетъ отъ ея образа. Ея идеаль — старыя, домостроевскія формы семейнаго быта, выработанныя еще въ допетровской Руси. Въ этихъ формахъ — все ложь, суета, нарушеніе закона Божьяго. Сынъ Кабановой любитъ свою жену, старается обращаться съ ней кротко и ласково. Это возмущаетъ старуху, и она напоминаетъ ему о „законѣ“, по которому жена должна бояться мужа. „Какой же ты мужъ?“ — говоритъ Кабанова: „тебя не будетъ бояться, меня и подавно“. Когда при разставаньи съ мужемъ Катерина бросается ему на шею, старуха гнѣвается: такъ проявлять свое чувство, „виснуть на шею“, можетъ только любовница, жена же должна кланяться мужу въ ноги, а потомъ „голосить“. Оставшись послѣ этой сцены одна, она предается горькимъ размышленіямъ о томъ, что молодежь не знаетъ „порядку“, что выводится старина, а со смертью ихъ стариковъ, пожалуй, и вовсе исчезнетъ. Дѣти должны безпрекословно повиноваться старшимъ, любить ихъ, и Кабанова въ этомъ отношеніи особенно сурова. Она подозрѣваетъ, что сынъ охладѣлъ къ ней, но основаній для такого подозрѣнія у нея нѣтъ. Но развѣ можетъ быть неосновательной какая-нибудь мысль матери, касающаяся сына? Конечно, нѣтъ, и Кабанова увѣренно говоритъ: „Мать чего глазами не увидитъ, такъ у нея сердце вѣщунъ, она сердцемъ можетъ чувствовать“. Убѣжденія Кабановой незыблемы: даже надъ трупомъ загубленной ею Катерины она не смущается духомъ, не произноситъ слова примиренія: „Объ ней и плакать-то грѣхъ!“ — говоритъ она обезумѣвшему отъ горя сыну. Во имя стараго, формальнаго закона отвергаются самыя искреннія, человѣчныя движенія души.

„Темное царство“, куда отзвуки внѣшняго міра проникаютъ лишь въ своеобразномъ освѣщеніи странницъ, видѣвшихъ то огненнаго змѣя на желѣзнодорожной насыпи, то дьявола, сѣющаго плевелы съ крыши многоэтажнаго московскаго дома, или въ витѣватыхъ разсужденіяхъ стряпчаго Мудрова о свѣтскихъ книгахъ и „страшныхъ словахъ“, — „темное царство“ полно невидимыхъ и неслышимыхъ слезъ. Самоучка-Кулигинъ, мечтатель

идеалистъ, воплощеніе общественной совѣсти въ средѣ Кабановыхъ и Дикихъ, такъ говорить о семейной жизни въ ихъ городѣ: „У всѣхъ давно, сударь, ворота заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дѣла дѣлаютъ, либо Богу молятся? Нѣтъ, сударь!.. И не отъ воровъ они запираются, а чтобы люди не видали, какъ они своихъ домашнихъ ѣдятъ поѣдомъ, да семью тиранятъ. И что слезъ льется за этими запорами, невидимыхъ и неслышимыхъ!“ Тяжелѣе всего въ „темномъ царствѣ“ женщинамъ, не такимъ, конечно, какъ Кабанова. Аграфена Кондратьевна, жена Большова, Пелагея Егоровна Торцова, Настасья Панкратьевна Брускова, — всѣ эти жены самодуровъ—существа, совершенно обезличенныя, забитыя до потери человѣческаго облика, до забвенія „собственныхъ словъ“. Ихъ дочери либо безпрекословно подчиняются родительской волѣ, устраивающей ихъ судьбу по собственному усмотрѣнію, какъ Любовь Торцова, либо лицемѣрятъ, лгутъ, обманываютъ на каждомъ шагу, какъ Варвара въ „Грозѣ“. А правдивыя женскія души, органически неспособныя ко лжи, страстныя, сильныя въ порывахъ своего чувства, какъ Катерина въ той же „Грозѣ“, цѣной собственной жизни покупаютъ рѣдкія минуты счастья. Мужская молодежь, если и носить въ своей душѣ смутный образъ иной, лучшей жизни, то подъ гнетомъ самодурства утрачиваетъ энергію, способность къ протесту даже тогда, когда гибнуть надежды на счастье съ любимой женщиной. Таковы Митя („Бѣдность не порокъ“), Андрей Брусковъ („Въ чужомъ пиру похмелье“, „Тяжелые дни“), Борисъ („Гроза“). Не унываютъ лишь Тишки и Подхалюзины („Свои люди—сочтемся“)—будущіе Большовы и Брусковы, въ суровой атмосферѣ самодурства усваивающіе приемы надувательства и хищничества.

На всемъ протяженіи своей дѣятельности Островскій пристально слѣдилъ за міромъ самодуровъ, отмѣчая всѣ совершавшіяся въ немъ измѣненія. Въ пьесѣ „Не все коту масленица“, появившейся въ 1871 г., купецъ Аховъ изображенъ не только какъ самодуръ патріархальный, властвующій въ своей семьѣ, но захваченъ шире, какъ эксплуататоръ рабочаго труда, какъ типичное порожденіе начавшей развиваться промышленности. Онъ гордъ тѣмъ, что „не одни даже сотни людей въ нашихъ рукахъ“. Онъ, по его собственнымъ словамъ, не можетъ не „возноситься“, такъ какъ „для нашего брата, ежели что захотѣлось, дорогого нѣтъ“. Но новое время внесло измѣненіе и въ среду подвластныхъ старымъ самодурамъ лицъ. Появляются люди, способные бороться съ ихъ произволомъ. Такова дочь Ахова Агнія. Смѣясь

надъ трусостью своего жениха Ипполита, она подбадриваетъ его и онъ, угрожая дядѣ самоубійствомъ, устраиваетъ свое благополучіе. Къ счастливой развязкѣ приводитъ не случай, не самодурство, какъ въ пьесахъ болѣе раннихъ, а борьба, своеобразная „игра ума“, по выраженію Ипполита. Аховъ побѣжденъ, но, желая сохранить хотя бы внѣшніе знаки своей власти, умоляетъ Ипполита почтить его, поклониться въ ноги. Ипполитъ отказывается, и Аховъ погружается въ грустное раздумье, чувствуя, что самодурству приходитъ конецъ...

Не остался неотмѣченнымъ Островскимъ и типъ русскаго буржуа на европейскій ладъ, пришедшаго на смѣну старому купечеству и оскудѣлому дворянству. Таковъ Савва Геннадьевичъ Васильковъ въ комедіи „Бѣшенныя деньги“. Съ извѣстной точки зрѣнія, онъ менѣе симпатиченъ, чѣмъ старые самодуры. У тѣхъ бывали, хотя и рѣдко, минуты „просіянія“, — правда, иногда не достаточно мотивированныя Островскимъ, — у Василькова такихъ моментовъ нѣтъ. У него рассчитанъ каждый шагъ по пути къ крупной наживѣ, и „изъ бюджета онъ не выйдетъ“. Онъ даже влюбляется въ Лидію Чебоксарову только потому, что по его дѣламъ ему нужна жена, умѣющая устраивать пріемы, поставить домъ на хорошую ногу. Лидія говоритъ Василькову, что идетъ за него замужъ, не любя, — онъ не обращаетъ на это вниманія, женится и, въ концѣ концовъ, покоряетъ жену своей власти при помощи денегъ. Въ Васильковѣ чувствуется крупная, желѣзная сила, передъ которой не устоять разлагающемуся дворянству, всѣмъ этимъ Глумовымъ, Кучумовымъ, Телятевымъ.

Мы уже видѣли, что Островскій хорошо зналъ бытъ и нравы дореформеннаго чиновничества, какъ въ силу своего происхожденія, такъ и въ силу своей службы. Нѣкоторыхъ представителей стараго чиновничества онъ вывелъ въ своихъ бытовыхъ пьесахъ изъ купеческой жизни: таковы Сысой Псоичъ Ризположенскій („Свои люди — сочтемся“), Сахаръ Сахарычъ („Въ чужомъ пиру похмелье“), Харлампій Мудровъ („Тяжелые дни“) и др. Но всего ярче и полнѣе дореформенное чиновничество обрисовано въ пьесѣ „Доходное мѣсто“. Здѣсь передъ нами три представителя стараго чиновничьяго міра: Вышневскій, Юсовъ и Бѣлогубовъ. Это люди разныхъ лѣтъ, разнаго общественнаго положенія, но объединенные одинаковымъ взглядомъ на службу. Взглядъ этотъ они сами называютъ „практическимъ“. Онъ очень простъ: на одно жалованье не проживешь, особенно съ семьей, поэтому надо стремиться къ „доходному мѣсту“, которое бы давало возможность брать взятки или, какъ они выражаются, по-

лучать „благодарность“, а при случаѣ пользоваться и казенными деньгами. Вышневскій—это дѣлецъ крупнаго полета, „геній, Наполеонъ, ума необъятнаго“, по характеристикѣ Юсова. Правда, онъ „изъ другого вѣдомства“ и потому „въ законѣ нетвердъ“, но все же за нимъ можно жить, какъ за каменной стѣной.

Юсовъ прошелъ суровую школу дореформенной службы. „Меня, — вспоминаетъ онъ, — привели въ присутствіе въ затрапезномъ халатишкѣ, только что грамотѣ зналъ, — читать да писать... Года два былъ на побѣгущкахъ, разныя комиссіи исправлялъ... И сидѣлъ-то я не у стола, не на стулѣ, а у окошка на связкѣ бумагъ, и писалъ-то я не изъ чернильницы, а изъ старой помадной банки. А вотъ вышелъ въ люди... Да-съ, имѣю теперь три домика... Лошадокъ держу четверню“... Юсовъ беретъ взятки, называя ихъ, конечно, благодарностью, и въ то же время строго блюдетъ своеобразную чиновничью мораль. Когда ему рассказываютъ про мелкаго чиновника, взявшаго взятку и надувшаго просителя, онъ искренно возмущается. „Ты возьми, такъ за дѣло, а не за мошенничество“, говоритъ онъ: „Возьми такъ, чтобы и проситель былъ не обиженъ, и чтобы ты былъ доволенъ. Живи по закону; живи такъ, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы“. Совѣсть Юсова совершенно спокойна: онъ безъ страха доживаетъ свои стариковскіе дни. Выпивъ въ компаніи молодежи, онъ пляшетъ подѣ музыку трактирной машины и въ поученіе своимъ почтительнымъ слушателямъ говорить: „Мнѣ можно плясать. Я все въ жизни сдѣлалъ, что предписано человѣку. У меня душа спокойна... Я теперь только радуюсь на Божій міръ! Птичку увижу—и на ту радуюсь; цвѣтокъ увижу—и на него радуюсь: премудрость во всемъ вижу. Помня свою бѣдность, нищую братію не забываю“... Одно обстоятельство нарушаетъ душевное спокойствіе Юсова: появленіе новыхъ, независимыхъ чиновниковъ, гордыхъ своимъ образованіемъ, отвергающихъ старый чиновничій строй. „Особенно верхоглядовъ не люблю, нынѣшнихъ, образованныхъ-то“, признается онъ: „взвѣсачи очень. Предразсудкамъ этимъ я не вѣрю, будто ученые съ неба звѣзды хватаютъ. Видалъ я ихъ: не лучше насъ грѣшныхъ, да и къ службѣ не такъ внимательны. У меня правило—всячески ихъ тѣснить для пользы службы... потому отъ нихъ вредъ“... Къ „простымъ людямъ“ у него больше лежитъ сердце: „люди выходятъ... понятливѣе и подобострастнѣе, душа у нихъ открытѣе“. Такимъ „подобострастнымъ“ человѣкомъ является молодой, начинающій чиновникъ Бѣлогубовъ. Онъ совершенно необразованъ, безграмотенъ и всю свою служебную карьеру осно-

ывааетъ на угожденіи начальству. Онъ вторитъ Юсову въ его негодующихъ отзывахъ относительно „образованныхъ“: „Какая же польза отъ ученья, когда въ человѣкѣ нѣтъ страху... никакого трепету передъ начальствомъ?“ Бѣлогубовъ, какъ и Юсовъ, взяточникъ. На ничтожномъ мѣстѣ писца онъ уже умѣетъ получить „благодарность“ въ видѣ матеріи для жилета, а сдѣлавшись, по протекціи Юсова, столоначальникомъ, онъ развиваетъ свои аппетиты ширѣ. Крупно „зацѣпивъ“, онъ устраиваетъ для Юсова попойку и изливается передъ нимъ въ чувствѣ самой искренней благодарности. „Развѣ бы я понималъ что, кабы не вы?“—говоритъ Бѣлогубовъ своему благодѣтелю. „Отъ кого я въ люди пошелъ, отъ кого жить сталъ, какъ не отъ васъ? Подъ вашимъ крыломъ воспитывался! Другой бы того и въ десять лѣтъ не узналъ, всѣхъ тонкостей и оборотовъ, что я въ четыре года узналъ. Съ васъ примѣръ бралъ во всемъ“.

„Доходное мѣсто“ появилось въ 1856 г., въ тотъ моментъ, когда старый чиновничій міръ, хотя и предвидѣлъ свою гибель, но былъ еще незыблемъ и проченъ. Онъ до глубины души ненавидѣлъ образованныхъ, честныхъ чиновниковъ, предвѣстниковъ грядущей переменны, и, насколько могъ, отравлялъ имъ существованіе. Какъ тяжело жилось тогда новымъ людямъ, это видно на положеніи Жадова, Мыкина и Досузева. Трудность положенія Жадова усугубляется еще слабостью его воли. Онъ молодъ, образованъ, честенъ, жаждетъ работы. Съ университетской скамьи онъ вынесъ честныя, благородныя стремленія. Онъ знаетъ, что медленно, въ мукахъ, рождается лучшее будущее, но силъ для медленной, упорной, неустанной борьбы у него нѣтъ. „Я ребенокъ!—говоритъ Жадовъ о себѣ,—я объ жизни не имѣю никакого понятія... Мнѣ тяжело! Не знаю, вынесу ли я Кругомъ развратъ, силъ мало!“ И въ трудную минуту Жадовъ подался, измѣнилъ своимъ идеаламъ. Не зная ни жизни, ни людей, онъ женится на пустой, глупенькой дѣвушкѣ, мечтая перевоспитать ее. Ни умѣнья, ни времени для выполненія этой задачи нѣтъ, и подъ вліяніемъ упрековъ жены, изъ боязни потерять ее, Жадовъ идетъ просить „доходнаго мѣста“ къ своему дядѣ Вышнеvesкому, съ которымъ онъ такъ гордо и самонадѣянно разстался, не сойдясь во взглядахъ на службу. Правда, въ рѣшительный моментъ, когда Жадовъ узналъ, что дядя ненавидитъ образованную молодежь, какъ общественную силу, съ которой надо считаться, онъ устыдился своего малодушія, рѣшился, невзирая ни на что, идти прежнимъ, честнымъ путемъ, но нельзя ручаться, чтобы онъ опять не свернулъ съ него: слишкомъ онъ

слабъ волей и неподготовленъ къ борьбѣ. Другой образованный чело­вѣкъ, эпизодически появляющійся въ пьесѣ, Досужевъ, еще меньше Жадова годится для борьбы со старымъ чиновничьимъ міромъ: свои душевныя муки при видѣ житейскихъ гадостей онъ заливаетъ виномъ. Мыкинъ, университетскій товарищ Жадова, повидимому, самый сильный изъ всей новой молодежи, появляющейся въ пьесѣ. Онъ дорогой цѣной покупаетъ свою честную независимость отъ растлѣвающихъ вліяній окружающаго міра. Онъ отказался отъ женитьбы на любимой дѣвушкѣ только изъ-за бѣдности, не желая подвергать лишеніямъ любимое существо и вмѣстѣ съ тѣмъ понимая, какой опасностью для его убѣжденій грозила бы бѣдность въ случаѣ его женитьбы. Чѣмъ-то сухимъ, но сильнымъ вѣетъ отъ образа Мыкина, показаннаго въ пьесѣ лишь мелькомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ болѣе годился бы для борьбы, нежели Жадовъ.

Въ области воспроизведенія купеческаго, буржуазнаго и чиновничьяго міра Островскому удалось создать наиболѣе многочисленныя образы. Но было бы крупной ошибкой сводить все его значеніе къ роли бытописателя только этихъ слоевъ русскаго общества. Рѣдкій писатель отличался такой широтой художественнаго захвата жизни, какъ Островскій. 35 лѣтъ продолжалась его литературная дѣятельность, и за этотъ долгій промежутокъ времени онъ не оставилъ безъ вниманія ни одного сколько-нибудь яркаго общественнаго типа. Купцы-самодуры, нарождающіеся хищники, буржуа европейскаго пошиба, чиновники старой школы, молодые ихъ обличители, студенты-шестидесятники (Мелузовъ въ „Талантахъ и поклонникахъ“), оскудѣвающіе и оскудѣлые дворяне, благородныя ханжи, обдѣлывающія темныя дѣла (Мурзавецкая въ „Волкахъ и овцахъ“), дѣльцы старой и новой формаціи (Чугуновъ и Беркутовъ въ той же пьесѣ), провинціальныя артисты (Нѣгина, Стрѣльская, Громиловъ въ „Талантахъ и поклонникахъ“, Счастливецъ и Несчастливецъ въ „Лѣсъ“, Шмага въ „Безъ вины виноватые“ и др.),—безконечную вереницу типовъ рисуетъ намъ Островскій, обладавшій къ тому же на рѣдкость сильнымъ, мѣткимъ, колоритнымъ языкомъ. Не довольствуясь современностью, Островскій захватывалъ и наше историческое прошлое, давъ и здѣсь превосходныя вещи. Таковы, на­примѣръ, „Воевода“, художественно рисующій отношеніе боярства къ земщинѣ, „Димитрій Самозванецъ“ и „Кузьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ“ — пьесы, изображающія одинъ изъ самыхъ драматическихъ моментовъ русской исторіи. Особнякомъ стоитъ „Снѣгурочка“ — весенняя сказка, воскрешающая языче-

скую и сказочную старину Руси, жизнерадостная, бодрая, написанная чарующими и совершенно своеобразными стихами.

Нельзя не отмѣтить, что при изумительномъ богатствѣ сюжетовъ и образовъ мы не найдемъ у Островскаго ни тѣни посторонняго, тѣмъ болѣе иностраннаго вліянія: онъ самобытенъ и націоналенъ, какъ рѣдкій изъ русскихъ писателей, и въ этомъ залогъ его непреходящаго значенія для русской литературы.

XXII.

М. Е. Салтыковъ-Щедринъ.

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ, писавшій подъ псевдонимомъ Щедрина, родился въ состоятельной дворянской семьѣ Калезинскаго у., Тверской губерніи. Десятилѣтнимъ мальчикомъ Салтыковъ былъ отданъ въ Московскій дворянскій институтъ, а черезъ два года былъ переведенъ въ Царскосельскій лицей. Традиціи Пушкина, умершаго всего за годъ до поступленія Салтыкова въ лицей, были еще живы въ средѣ воспитанниковъ этого учебнаго заведенія, и способный, впечатлительный мальчикъ мечталъ о славѣ поэта. Въ тогдашнихъ журналахъ—„Библиотека для чтенія“ и „Современникъ“ появилось нѣсколько стихотвореній Салтыкова, но къ концу курса онъ оставилъ свои стихотворные опыты навсегда.

Въ 1844 г. Салтыковъ окончилъ курсъ лицея и поступилъ на государственную службу въ канцелярію военнаго министерства.

Среди веселой, иногда даже разгульной жизни Салтыковъ горячо интересовался общественными вопросами, въ центрѣ которыхъ тогда стояла борьба западниковъ со славянофилами. „Я“, вспоминая впослѣдствіи Салтыковъ, „примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризироваіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сень-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Въ Россіи,—впрочемъ не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ,—мы существовали лишь фактически, или, какъ въ то время говорилось, имѣли образъ жизни. Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, пи-

сали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи“.

Въ 1848 г., когда подъ вліяніемъ европейскихъ событій усилилась реакція въ Россіи, Салтыковъ за два свои разказа, напечатанные въ „Отечественныхъ Запискахъ“, былъ сосланъ въ Вятку съ зачисленіемъ на службу при губернскомъ правленіи. Годы ссылки дали Салтыкову возможность близко познакомиться съ провинціальной жизнью, особенно бюрократической.

Въ 1855 г. Салтыкову было позволено выѣхать изъ Вятки. До 1868 г. онъ продолжалъ свою государственную службу, послѣдовательно перебивавъ въ Пензѣ, Рязани, Твери и Тулѣ. Въ 1868 г. Салтыковъ вышелъ въ отставку и окончательно посвятилъ себя литературѣ, въ которой къ этому времени онъ уже успѣлъ заявить себя такой крупной вещью, какъ „Губернскіе очерки“.

Расцвѣтъ литературной дѣятельности Салтыкова начался съ того времени, когда онъ вмѣстѣ съ Некрасовымъ сдѣлался однимъ изъ редакторовъ „Отечественныхъ Записокъ“. Послѣ смерти Не-

красова руководящая роль въ журналѣ перешла къ Салтыкову. Онъ стоялъ во главѣ „Отечественныхъ Записокъ“ до самаго ихъ запрещенія въ апрѣлѣ 1884 г., а затѣмъ долженъ былъ печататься въ чужихъ изданіяхъ: въ „Недѣлѣ“, въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, въ „Вѣстникѣ Европы“... Наступили самые мрачные годы въ жизни Салтыкова. Правительственная и общественная реакція, гибель любимаго журнала, разстроенное здоровье,—все это тяжело ложилось на душу писателя. Особенно угнетало его положеніе литературы, внѣ которой ничто не привязывало его къ жизни. Смѣло можно сказать, что никто изъ русскихъ пи-



М. Е. Салтыковъ-Щедринъ.

сателей не посвящалъ литературѣ такихъ вдохновенныхъ строкъ, какъ Салтыковъ. „Этотъ уголокъ (литература)“,—писалъ онъ,— „мнѣ особенно дорогъ, потому что на немъ съ дѣтства были сосредоточены всѣ мои упованія, и онъ, въ свою очередь, далъ мнѣ гораздо болѣе того, что я достоинъ былъ получить. Весь жизненный процессъ этого замкнутаго, по волѣ судьбы, міра былъ моимъ личнымъ жизненнымъ процессомъ; его незащищенность—моею незащищенностью, его замученность—моею замученностью; наконецъ, его кратковременныя и рѣдкія ликованія—моими ликованиями. Это чувство отождествленія личной жизни съ жизнью излюбленнаго дѣла такъ сильно и принимаетъ съ годами такіе размѣры, что заслоняетъ отъ глазъ даже ту широкую, не знающую береговъ жизнь, передъ лицомъ которой все живущее представляетъ лишь безыменную величину, стоящую подъ ударами случайности“. До конца своихъ дней остался вѣренъ Салтыковъ литературѣ. Уже холодящей рукой пытался онъ напомнить читателямъ „забытыя слова“. То были, вѣроятно, отчизна, совесть, честь... Скончался Салтыковъ 28 апрѣля 1889 г.

Первыя произведенія Салтыкова, послужившія поводомъ къ его ссылкѣ,—„Противорѣчія“ и „Запутанное дѣло“,—носятъ яркій отпечатокъ идей, волновавшихъ русское общество въ 40-ые годы, а по литературной манерѣ всецѣло примыкаютъ къ „натуральной школѣ“, которую такъ пламенно защищалъ Бѣлинскій. Эти повѣсти прошли сравнительно мало замѣченными, и первый крупный успѣхъ Салтыкову доставили „Губернскіе очерки“, которые стали появляться на страницахъ „Русскаго Вѣстника“ въ 1856 г. „Губернскіе очерки“ заняли первое мѣсто въ ряду произведеній такъ называемой „обличительной“ беллетристики, столь характерной для годовъ, непосредственно слѣдовавшихъ за паденіемъ Севастополя. Это были не мелкія, поверхностныя обличенія „литераторовъ-обывателей“, наводнявшія тогда журналы и газеты, а широкая картина безправія и грабежа, державшихъ въ тискахъ всю русскую жизнь, до самыхъ ея низовъ. Фейеры, Томилины, Пересѣчкины и другія фигуры провинціальныхъ администраторовъ и дѣльцовъ—это только внѣшній фонъ провинціальной жизни, описанный Салтыковымъ съ бичующимъ сарказмомъ. Сарказмъ уступаетъ мѣсто глубокому лиризму, когда Салтыковъ переходитъ къ изображенію жизни народа, выносившаго на своихъ плечахъ всю тяготу общественныхъ неустройствъ. Если въ изображеніи чиновничьяго міра Салтыковъ шелъ по стопамъ Гоголя, то въ строкахъ, посвященныхъ народу, онъ пошелъ дальше своего великаго предшественника: здѣсь чувствуется,

помимо искренняго сочувствія народу, преклоненіе передъ величіемъ и простотою его души. Особенно хорошо сказалось это въ очеркѣ „Богомольцы, странники и проѣзжіе“, подъ которымъ смѣло могли бы подписаться нѣкоторые изъ передовыхъ славянофиловъ.

Второй по времени отдѣлъ произведеній Салтыкова отразилъ слѣдовавшіе непосредственно за крымской войной годы, со стороны неумолкаемыхъ, безконечныхъ и шумныхъ разговоровъ на темы о прогрессѣ, радикальныхъ реформахъ, коренной ломкѣ стараго строя, тогда какъ при всѣхъ совершавшихся измѣненіяхъ русская жизнь сохраняла, въ сущности, старый характеръ. Эта старая русская жизнь олицетворена Салтыковымъ въ городѣ Глуповѣ („Сатиры въ прозѣ“). Это сонный, отяжелѣвшій, въ тупую дремоту погружившійся городъ. Было время, когда онъ назывался Умновымъ, но уже во времена отдаленныя, по приказанію Юпитера, былъ переименованъ въ Глуповъ. Это случилось послѣ посѣщенія города Юпитеромъ, который самъ чуть было не заразился спячкой глуповцевъ. Послѣдніе переименованіемъ не обидѣлись и даже поднесли Юпитеру хлѣбъ-соль. Благодаря спячкѣ, у глуповцевъ „нѣтъ исторіи“: была, говорятъ, какая-то, хранившаяся на колокольнѣ, но ее мыши съѣли. Въ связи съ этимъ и „міросозерцаніе глуповское состоитъ въ отсутствіи міросозерцанія“. И вотъ въ сонный Глуповъ проникли слухи о „возрожденіи“. Глуповцы перепугались и недоумѣвали. „Чѣмъ наша жизнь не красна?“— говорили они: „или пуховики у насъ не толсты? Или ватрушки наши не сдобны?“ Когда „возрожденіе“, о которомъ первые начали толковать Егорка Лысый, ключница Матрена и подлецъ Ionка, пришло въ Глуповъ, единственное, что онъ могъ сдѣлать, это выставить противъ него полчище всяческихъ клеветниковъ, поднявшихъ спросонья невѣроятный гвалтъ. На ряду съ ними разливались „размазисто-стыливо-пустопорожниѣ“ витіи („Скрежетъ зубовный“, „Нарциссъ или влюбленный въ себя“), желавшіе примазаться къ модному направленію. Словомъ, измѣнилась лишь внѣшность, стало не такъ тихо и сонно, но по существу старый Глуповъ былъ непоколебимъ.

Трезвый умъ, глубокое знаніе русской жизни не позволяли Салтыкову поддаться иллюзіи, раздѣлявшей весьма многими, будто между Россіей дореформенной и послѣреформенной лежить пропасть, вырытая кореннымъ измѣненіемъ основъ жизни. Мало того, по мнѣнію Салтыкова, выраженному въ одномъ частномъ письмѣ, „тѣ же самыя основы жизни, которыя существо-

вали въ XVIII в., существуютъ и теперь⁴. Пользуясь этимъ, Салтыковъ создалъ замѣчательную политическую сатиру — „Исторію одного города“, гдѣ подъ оболочкой сценъ и образовъ, вѣющихъ на читателя XVIII и началомъ XIX в., онъ рисуетъ современную ему дѣйствительность. „Жизнь, находящаяся подъ игомъ безумія“, — вотъ основная идея этого произведенія, по словамъ самого Щедрина. Въ богатомъ содержаніи „Исторіи“ двѣ стороны особенно останавливаютъ на себѣ вниманіе: изображеніе глуповскихъ градоначальниковъ и подчиненнаго имъ глуповскаго народа.

Въ портретной галлерей градоначальниковъ наиболѣе ярки правитель съ „органчикомъ“ въ головѣ и Угрюмъ-Бурчеевъ. Первый, когда машинка, помѣщавшаяся въ его головѣ, бывала въ порядкѣ, свирѣпо вращалъ глазами, кричалъ: „раззорою“ и „не потерплю“ и поступалъ въ духѣ этихъ заявленій. На одной изъ аудіенцій глуповцы были обрадовались, увидѣвъ, какъ послѣ пріема положенныхъ даровъ градоначальникъ благосклонно улыбнулся. Но радость была мгновенна: внутри у градоначальника „зашипѣло и зажужжало, и чѣмъ болѣе длилось это таинственное шипѣніе, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе вертѣлись и сверкали его глаза“. Изъ устъ его вырвался неясный звукъ: „П-п-плю!“ — и онъ убѣжалъ. Какъ ни потрясло глуповцевъ описанное выше зрѣлище, „они не увлеклись ни модными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархіей, но остались вѣрными начальствуюлюбію и только слегка позволили себѣ пособолѣзновать и попенять на своего болѣе, чѣмъ страннаго, градоначальника“. Вскорѣ глуповцы узнали, что въ головѣ градоначальника находился „органчикъ“, который испортился, отчего и произошла такая странная сцена. Собравшись въ клубѣ, глуповцы вызвали самаго ученаго изъ своей среды человѣка, смотрителя народнаго училища, и предложили ему такой вопросъ: „Бывали ли въ исторіи примѣры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имѣя на плечахъ порожній сосудъ?“ — Смотритель отвѣчалъ, что „въ исторіи многое покрыто мракомъ, но что былъ однако же нѣкто Карлъ Простодушный, который имѣлъ на плечахъ хотя и не порожній, но все равно какъ бы порожній сосудъ, а войны велъ и трактаты заключалъ“.

Угрюмъ-Бурчеевъ, именемъ нѣсколько напоминающій Аракчеева, представляетъ изъ себя воплощеніе того „безумія“, подъ игомъ котораго проходитъ жизнь, изображенная въ „Исторіи“. На портретѣ онъ былъ изображенъ такъ: „Одѣтъ онъ въ военнаго покроя сюртукъ, застегнутый на всѣ пуговицы, и дер-

жить въ правой рукѣ сочиненный Бородавкинѣмъ „Уставъ о неуклонномъ сѣченіи“, но, повидимому, не читаетъ, а какъ бы удивляется, что могутъ существовать на свѣтѣ люди, которые даже эту неуклонность считаютъ нужнымъ обезпечивать какими-то уставами. Кругомъ — пейзажъ, изображающій пустыню, посреди которой стоитъ острогъ; сверху, вмѣсто неба, нависла сѣрая солдатская шинель“. Его идеаломъ была „всеобщая нивелировка“, „прямая линия, отсутствіе пестроты“. Но, стремясь осуществить свой „нивелирующий“ идеалъ, Угрюмъ-Бурчеевъ столкнулся съ живой, излучистой полосой рѣки. Началась безумная борьба съ природой. Увидя тщетность этой борьбы, Бурчеевъ скомандовалъ: „Направо кругомъ!“ Онъ ушелъ отъ непокорной рѣки и среди гладкой, какъ скатерть, долины построилъ вмѣсто Глупова новый городъ—Непреклонскъ.

Что касается народа, который служить объектомъ начальственной дѣятельности послѣдовательно смѣняющихся градоначальниковъ, то онъ покорно терпитъ все. Иногда, впрочемъ, онъ прорѣвается. Такъ, когда однажды Бурчеевъ, утомленный маршировкой, повалился и заснулъ, глуповцы стали въ него всматриваться и увидѣли въ этомъ ужасномъ человѣкѣ только идиота и ничего больше. „Неблагонадежные элементы“ приободрились и начали дѣйствовать. Въ глуповцахъ проснулись стыдъ и негодованіе. Бурчеевъ сталъ замѣчать это и издалъ приказъ, „возвѣщавшій о назначеніи шпионовъ. Это была капля, переполнившая чашу“... Дальнѣйшія событія извѣстны смутно, такъ какъ соотвѣтственные тетрадки лѣтописи пропали. Извѣстно лишь, что „налетѣлъ ураганъ, грозившій смести все съ лица земли... Глуповцы пали ницъ... Исторія прекратила теченіе свое“.

По поводу „Исторіи одного города“ не разъ слышались обвиненія сатирика въ томъ, что онъ высмѣиваетъ историческое прошлое Россіи просто ради смѣха и презрительно относится къ народу. Въ упомянутомъ уже нами частномъ письмѣ Салтыковъ, всегда возмущавшійся тѣмъ, что его считаютъ „писателемъ по смѣшной части“, указываетъ на трагизмъ своей „Исторіи“, а по поводу отношенія своего къ народу пишетъ такъ: „Мнѣ кажется, что въ словѣ „народъ“ надо отмѣчать два понятія: народъ историческій и народъ, представляющій собой извѣстную идею. Первому, выносящему на своихъ плечахъ Бородавкинѣхъ, Бурчевыхъ и т. п., я, дѣйствительно, сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовалъ, и все мои сочиненія полны этимъ сочувствіемъ“.

Въ 70-ые годы, когда улеглось возбужденіе первыхъ лѣтъ эпохи великихъ реформъ, когда ясно обнаружилось, что правительство повернуло на путь реакціи, а въ обществѣ появились признаки разочарованія и усталости, вниманіе Салтыкова остановилось на томъ процессѣ, который медленно, но неуклонно совершался въ нѣдрахъ русской жизни подъ вліяніемъ толчка, даннаго освобожденіемъ крестьянъ.

Прежде всего сатирикъ остановился на тѣхъ измѣненіяхъ, которыя произошли въ жизни дворянства. „Пошехонское раздолье“ прекратилось, кончился рабскій трудъ, его питавшій, и „культурнымъ людямъ“ приходится устраиваться по-новому, но такъ же привольно, сытно и безъ труда, какъ жили они раньше. На сцену появляются „ташкентцы“. Однимъ изъ значныхъ мѣстъ, куда въ жаждѣ наживы стремилось привилегированное дворянство, былъ Ташкентъ. Подъ флагомъ носителей культуры туда ринулась орда хищниковъ. Высмѣявъ культурный багажъ просвѣтителей, въ которомъ главное мѣсто занималъ „принципъ русской телѣги“, долженствовавшей обновить азіатскую жизнь, показавъ хищническую подоплеку цивилизаторовъ, Щедринъ, по своему обыкновенію, обобщаетъ понятіе о Ташкентѣ, распространяя его на всю русскую жизнь: „Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни общества минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія“. И русская жизнь заполонена ташкентцами, ради денегъ готовыми на всякія злодѣйства. Особенно ретиво проявляютъ себя тѣ изъ нихъ, которые призваны содѣйствовать искорененію новаго духа.

Въ ташкентцы пошли дворянскія особи хищнаго, энергическаго типа, способныя къ неуклонному дѣйствию. Люди другого склада устремились въ Петербургъ, продавали тамъ свои выкупныя свидѣтельства, спускали за гроши свои родовыя усадьбы и мало думали о завтрашнемъ днѣ. Когда ихъ посѣщали подобныя думы, они или впадали въ уныніе, или уходили въ область реформаторскихъ увлеченій, создавали своеобразную охранительную систему, которая должна была, если не вернуть доброе старое время, то задержать процессъ дворянскаго оскудѣнія или создать новые источники наживы. Таковы герои одной изъ самыхъ блестящихъ сатиръ Салтыкова — „Дневника провинціала въ Петербургѣ“. Во главѣ съ Прокопомъ бѣгаютъ они то на биржу, стараясь попасть въ милость къ разнымъ Аристидтамъ Фемистоклычамъ, то въ канцеляріи, чтобы исхлопотать себѣ

желѣзнодорожную концессию, то въ модные рестораны для знакомства съ нужными людьми. Досуги отъ дѣловыхъ хлопотъ посвящены посѣщенію оперетки и охранительныхъ салоновъ. Здѣсь провинціалы слушаютъ отставного корнета Толстолобова, читающаго проектъ „о децентрализаціи власти“ и предлагающаго учредить комиссіи для изслѣдованія благонадежности. „Членамъ этихъ комиссій предстояло: а) опредѣлять степень благонадежности обывателей, б) дѣлать обыски, выемки и облавы и вообще испытывать, в) удалять вредныхъ и неблагонадежныхъ людей, преимущественно избирая для поселенія мѣста необитаемыя и ближайшія къ Ледовитому океану“. Проектовъ вообще бездна. Бывшій штатный смотритель чухломскихъ училищъ выступаетъ съ предложеніемъ „всеобщаго оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ“ для того, чтобы можно было безпрепятственно „ставить точки“ къ реформамъ. Особенно останавливаетъ вниманіе провинціаловъ проектъ о мѣстныхъ „излюбленныхъ людяхъ“, пророчески предвозвѣстившій грядущихъ земскихъ начальниковъ.

Проѣвъ послѣднія выкупныя свидѣтельства, дворяне возвращаются въ свои гнѣзда, разныя Монрепо, Проплеванныя и пр. Здѣсь ждетъ ихъ новая бѣда, тоже порожденная эпохой реформъ. Бѣда эта олицетворена въ образѣ Разуваева, Дерунова и Колупаева, доморощенныхъ хищниковъ.

Деруновъ—мѣщанинъ, во времена крѣпостного права скопившій себѣ деньжонки и только дожидавшійся удобнаго случая, чтобы развернуться. Послѣ реформъ онъ принялся „орудовать“. И не помѣщикамъ, конечно, съ нимъ конкурировать. Лишенный и тѣни нравственныхъ устоевъ, онъ съ удовольствіемъ продаетъ свою жену сосѣднему помѣщику, но зато и обираетъ его дочиста, опутавъ его сѣтью своихъ финансовыхъ операцій.

Разуваевъ вышелъ изъ самыхъ нѣдръ народной жизни. Онъ нагль до послѣдней степени и вѣритъ только въ одну силу—въ силу денегъ. Когда-то онъ „пользовался довѣріемъ“ корнетши Отлетаевой, но послѣ объявленія воли бросилъ ее. Помаленьку до полегоньку онъ прибралъ къ рукамъ сначала ближайшую округу, а потомъ, сдавъ черную работу, „непосредственное кровопійство“, своему сыну, занялся „отвлеченнымъ“ грабежомъ, крупными финансовыми операціями, при которыхъ и съ мужичьемъ возиться не надо, и пожить въ свое удовольствіе въ столицѣ можно. Въ концѣ концовъ, онъ становится знаменитостью, тѣмъ „мужичкомъ - финансистомъ“, на котораго умиляются любители истинно - русскихъ началъ. Сатирикъ внимательно всматривается въ Разуваева съ самаго начала его блестящей карьеры, и его

поражаетъ одно обстоятельство: новоявленный хищникъ такъ жестоко въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ, такъ жадно стремится ограбить все дочиства въ одинъ моментъ, что ему самому въ будущемъ грозить голодъ: гдѣ онъ прошелъ, остались одни пеньки, а вѣдь этого мало. У Разуваева на этотъ счетъ опасеній нѣтъ. Онъ доволенъ „нонѣшними временами“: „Народъ очень ужъ оплошалъ, такъ, значитъ, только случая опускать не слѣдуетъ“. Собесѣдникъ удивленъ: „Ежели народъ оплошалъ, да вы еще случаете опускать не будете,—вѣдь этакъ онъ, чего добраго, и вовсе оплошаетъ. Откуда вы тогда барыши свои выбирать надѣетесь?“— „Ахъ, вашескородье! йенъ доста - анеть!“—даетъ знаменитый отвѣтъ Разуваевъ. Разумѣется, финансовыя операціи Разуваева не оставляютъ въ покоѣ и помѣщиковъ. Здѣсь, помимо обычныхъ хищническихъ приемовъ, онъ употребляетъ и другія средства, примѣнительно къ духу времени. Онъ хочетъ за грошъ приобрести усадьбу Монрепо, а для этого надо прежде всего отравить жизнь ея владѣльцу, выжить его, окруживъ помѣщичій домъ цѣлой сѣтью наблюденій, долженствующихъ установить нравственную и политическую неблагонадежность его обитателей. Недаромъ „въ обывательскихъ реестрахъ“ отмѣчено о Разуваевѣ: „бывшій халуй. Занимается кабаками, а нынче сверхъ того и интеллигенціей“. Вообще Разуваевъ „столпъ“, охраняющій „священные устои нашего дорогого отечества“. Эту истину онъ усвоилъ твердо. Правда, по наблюденіямъ сатирика, Разуваевъ объ отечествѣ думаетъ, что это „падалъ“, но когда дѣло коснется приобретения какой-нибудь пустоши, а на дорогѣ къ приобретению ему станетъ конкурентъ, онъ не хуже любого ташкентца, а, пожалуй, даже лучше, заглянетъ ему въ душу и такъ убѣдительно докажетъ государственную необходимость перехода чужой пустоши именно къ нему, Разуваеву, что и батюшка, и становой будутъ на его сторонѣ.

Дворянство, потерявшее подъ ногами почву послѣ освобожденія крестьянъ, всѣ эти ташкентцы, Прокопы, Твердолобовы, противопоставляя себя Деруновымъ, Разуваевымъ и ихъ приснымъ, которыхъ Салтыковъ объединилъ прозвищемъ „чумазыхъ“, съ гордостью именовали себя носителями вѣковой русской культуры. Какіе пышные цвѣты давала эта культура, Салтыковъ показалъ въ гениальномъ своемъ произведеніи „Господа Головлевы“, высокія достоинства котораго признаютъ даже заклятые враги нашего сатирика. Это—семейная хроника, изображающая дореформенную помѣщичью семью, лишенную какихъ бы то ни было нравственныхъ и умственныхъ интересовъ, до цинизма распущенную,

алчную къ наживѣ и прикрывающую мерзость своего существованія нагло-лицемѣрнымъ пустословіемъ. Въ центрѣ картины— Порфирій Головлевъ, Іудушка, какъ его прозвали домашніе. Трудно передать художественную сущность этого образа, который по силѣ изобразительности, по глубинѣ психологическаго анализа смѣло можетъ соперничать съ крупнѣйшими созданіями не только русской, но и міровой литературы. Самыми простыми средствами, безъ всякихъ натянутыхъ эффектовъ, на фонѣ самой обыденной фабулы Салтыковъ рисуетъ намъ словоточиваго „кровопивушку“ со всей мерзостью его дѣлъ, елейностью прикрывающаго ихъ пустословія и глубокимъ трагизмомъ его существованія. Образъ Іудушки, тѣсно связанный съ взростившей его почвой крѣпостной Руси, не умѣщается однако въ рамки типа извѣстнаго времени и мѣста: типъ трагическій, онъ общечеловѣченъ, показывая, до какихъ размѣровъ можетъ дойти нравственное паденіе подъ вліяніемъ корыстолюбія и лицемѣрія. Сила могучаго таланта какъ бы расширила предѣлы, первоначально поставленные Салтыковымъ при созданіи „Господь Головлевыхъ“.

Въ 80-ые годы, особенно послѣ закрытія „Отечественныхъ Записокъ“, когда Салтыкову, по его собственнымъ словамъ, „душу запечатали“, новыя ноты зазвучали въ творчествѣ сатирика: вмѣсто бичующаго, желчнаго сарказма появляется какое-то возвышенное созерцаніе жизни, проникнутое глубокимъ лиризмомъ. Общечеловѣческіе мотивы раздаются въ его произведеніяхъ все чаще и чаще. Таковы въ особенности его „Сказки“. Правда, среди нихъ есть такія, которыя изображаютъ все ту же русскую дѣйствительность, но тонъ всему сборнику даютъ не эти вещи, а тѣ, гдѣ затронуты вѣчные вопросы о добрѣ и злѣ, объ идеалахъ и дѣйствительности, о фатальной неизбѣжности взаимнаго пожиранія, объ идеальной правдѣ, воплощенной въ религіозныхъ вѣрованіяхъ. Таковы сказки: „Бѣдный волкъ“, „Карась - идеалистъ“, „Добродѣтели и пороки“, „Рождественская сказка“, „Христова ночь“. Въ двухъ послѣднихъ сказкахъ, проникнутыхъ высокимъ паэосомъ, обнаруживаются религіозные идеалы того, котораго близорукіе люди считали писателемъ „по смѣшной части“. Религія дѣйственная, проповѣдующая не застой, не рабскую покорность, а зовущая на служеніе людямъ, на борьбу со зломъ, вотъ сущность религіознаго міровоззрѣнія Салтыкова.

Закончилъ свою литературную дѣятельность Салтыковъ „Пошехонской стариной“. На склонѣ дней, оставивъ въ сторонѣ злобы текущаго момента, онъ перенесся памятью въ прошлое и даль поразительно-яркую картину помѣщичьяго быта крѣпостной эпохи.

Салтыковъ оставилъ громадное литературное наслѣдство, въ которомъ русская критика до сихъ поръ еще не разобралась вполне. Да это и немудрено: слишкомъ богато идейное содержаніе сатиръ Салтыкова, неустанно изображавшаго русскую жизнь на протяженіи сорока лѣтъ, слишкомъ своеобразна художественная форма его произведеній, порвавшихъ со всякими установленными традиціями, отмѣченныхъ неустаннымъ контролемъ сознанія надъ порывами стихійнаго таланта. Мощная фигура Салтыкова стоитъ одиноко среди великихъ дѣятелей русской литературы, и преемника ему не было и нѣтъ.

XXIII.

Г. И. Успенскій.

Въ дореформенный періодъ русской жизни Григоровичъ и Тургеневъ познакомили русское общество съ жизнью крѣпостного крестьянина. Въ годы общественнаго оживленія послѣ крымской войны интересъ къ крестьянской жизни сильно повысился, усложнивъ задачи ея художественныхъ изобразителей. Въ 60-ые же и 70-ые годы мужикъ и его жизнь заняли, можно сказать, главное мѣсто въ нашей художественной беллетристикѣ. Въ эти годы создалась цѣлая школа беллетристовъ-народниковъ. Большинство изъ нихъ были разночинцами, т.-е. не принадлежали къ привилегированному дворянскому классу, а вышли или изъ народа, или изъ среды, близко къ нему стоящей. Это обстоятельство давало ихъ произведеніямъ большую цѣнность въ томъ отношеніи, что они могли изобразить не одну лишь внѣшнюю сторону народной жизни, а самые устои ея, самый складъ народнаго міросозерцанія.

Въ 50-ые и 60-ые годы среди писателей, изображавшихъ народную жизнь, видное мѣсто занимали Николай Успенскій (1837—1889), В. А. Слѣпцовъ (1836—1878), А. И. Левитовъ (1835—1877) и Ѳ. М. Рѣшетниковъ (1841—1871).

Время наибольшей популярности Н. В. Успенскаго относится къ 1857—1858 г.г., когда въ „Современникѣ“ были напечатаны лучшіе его рассказы: „Поросенокъ“, „Хорошее житье“, „Груша“, „Сцены сельскаго праздника“. Близко знакомый съ бытомъ народа, въ совершенствѣ усвоившій его языкъ, Успенскій привлекалъ читателей живостью изображенія и вѣрностью схваченныхъ имъ спенокъ. Но рассказы его—только мелкіе анекдоты, удачно сфотографированные. Къ тому же Успенскій изображалъ лишь смѣшныя и отрицательныя стороны народной жизни. На первыхъ по-

рахъ это было встрѣчено сочувственно, какъ реакція противъ приторно-сентиментальнаго изображенія народа, но впоследствии оттолкнуло отъ Успенскаго широкіе круги читателей.

В. А. Слѣпцовъ въ своихъ очеркахъ изъ народной жизни („Ночлегъ“, „Свинья“, „Мертвое тѣло“ и др.) нѣсколько серьезнѣе Н. Успенскаго. Онъ не ограничивается однимъ обличеніемъ смѣшныхъ и темныхъ сторонъ мужицкой жизни, а дѣлаетъ кое-гдѣ попытки опредѣлить причину ихъ появленія. Но и у Слѣпцова полное отсутствіе типовъ, психологическаго анализа, недостатокъ глубины въ изслѣдованіи народной жизни. Кромѣ того, погоня за комизмомъ часто заставляла Слѣпцова впадать въ шаржъ, въ преувеличенія.

Въ произведеніяхъ Левитова, посвященныхъ народной жизни (лучшія изъ нихъ—„Горе дорогъ, сель и городовъ“, „Степные очерки“), передъ читателемъ проходятъ картины народнаго невѣжества, грубости нравовъ, семейныхъ раздоровъ и пр. Эти картины производятъ сильное впечатлѣніе, благодаря тому, что Левитовъ—лирикъ чистой воды, согрѣвавшій все имъ написанное искреннимъ скорбнымъ чувствомъ.

„Подлиповцы“ Рѣшетникова, изобразившіе бытъ пермяковъ, произвели на читателей гнетущее впечатлѣніе. Это произведение, неуклюжее по формѣ, лишенное и тѣни художественности, но подкупавшее своей правдивостью, поражало картинами нищеты подлиповцевъ, ихъ борьбы съ голодной смертью, ихъ страданій. Безысходнымъ ужасомъ вѣяло отъ сухихъ, лаконическихъ строкъ Рѣшетникова.

Народническая беллетристика 70-хъ годовъ носить другой характеръ: изображеніе отрицательныхъ, мрачныхъ сторонъ народной жизни смѣняется крайней ея идеализаціей въ произведеніяхъ Н. И. Наумова (родился въ 1838 году), П. В. Засодимскаго-Вологодина (род. въ 1843 г.), Н. Н. Златовратскаго (род. въ 1845 г.) и другихъ.

Наиболѣе яркимъ представителемъ этой группы является Н. Н. Златовратскій, авторъ большого романа „Устой“ и многочисленныхъ очерковъ народной жизни, объединенныхъ подъ общимъ заглавіемъ „Деревенскія будни“. Не отличающіяся художественными достоинствами, часто растянутыя, произведенія Златовратскаго изображаютъ не столько отдѣльныя личности, сколько народную жизнь въ ея цѣломъ. Своеобразный строй общины, деревенскій міръ, общій укладъ народной жизни въ условіяхъ земледѣльческаго труда—вотъ основные мотивы Златовратскаго. Онъ преклоняется передъ общиной: надѣляя мужика землей, она

даетъ ему нравственную независимость; сельскій сходъ и судъ, при условіи общаго равенства, даютъ возможность проявленія личной, самостоятельной воли крестьянина; общинное владѣніе даетъ крестьянину право на все выгоды общаго, равноправнаго пользованія всемъ достояніемъ общины; наконецъ, „помощь“ является высшимъ проявленіемъ коллективной, мірской нравственности. Община вліяетъ на прочные устои семейной жизни. Вне общины нравственный уровень крестьянина падаетъ, и разложеніе ея вызываетъ у Златовратскаго горькое чувство.

Совершенно особое мѣсто среди писателей-народниковъ занимаетъ Глѣбъ Ивановичъ Успенскій, такъ какъ, во-первыхъ, его „народничество“ захватываетъ не только мужика, но и жизнь тѣхъ слоевъ, которые, стоя за кругомъ привилегированнаго дворянства тѣсно соприкасаются съ народомъ всеми интересами своей будничной жизни, а во-вторыхъ, его художественный анализъ народной жизни отличается замѣчательной глубиной и силой.



Г. И. Успенскій.

Биографія Глѣба Ивановича Успенскаго очень несложна. Онъ родился 13 октября 1840 года въ Тулѣ, въ семьѣ чиновника. По окончаніи гимназическаго курса Успенскій поступилъ въ Петербургскій университетъ на юридическій факультетъ, а затѣмъ перешелъ въ Московскій университетъ. Въ Мо-

сковѣ онъ жилъ бѣдно, зарабатывая корректурой и сотрудничествомъ въ журналъ „Зритель“. Въ 1863 г. онъ вышелъ изъ университета и занялся исключительно литературой. Послѣ смерти отца семья осталась безъ всякихъ средствъ на рукахъ Г. И. Нужда заставила его усиленно работать. Вообще невеселыя впечатлѣнія вынесъ онъ изъ годовъ дѣтства и юности. „Вся моя личная жизнь“, говоритъ Успенскій въ своей автобиографіи, „вся обстановка моей личной жизни до 20 лѣтъ обрекла меня на полное затменіе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдѣляла отъ жизни бѣлаго

свѣта на неизмѣримое разстояніе... Вотъ почему, когда насталъ 61 годъ, взять съ собою „въ дальнюю дорогу“ что-нибудь изъ моего прошлаго было рѣшительно невозможно—ровно нечего, ни капельки: напротивъ, для того, чтобы жить хоть какъ-нибудь, надобно было непремѣнно до послѣдней капли забыть все это прошлое... Начало моей жизни началось только послѣ забвенія моей собственной біографіи“... Въ періодъ времени съ 1871 по 1878 годъ Успенскій дважды побывалъ за границей и на сербской войнѣ. Послѣ 1878 г. онъ, по его собственнымъ словамъ, обратился „къ источнику, т.е. мужику“. Съ этого времени начались его скитанія по Россіи для изученія народнаго быта и самый плодотворный періодъ его дѣятельности. Онъ жилъ въ Самарской, въ Новгородской губ., побывалъ съ переселенцами въ Сибири. Въ началѣ 90-хъ годовъ тяжелый душевный недугъ прекратилъ дѣятельность Успенскаго. Онъ умеръ 24 марта 1902 года.

Произведенія Успенскаго можно раздѣлить на двѣ группы: въ одной изображается жизнь обывателей провинціальныхъ городковъ,—мелкихъ чиновниковъ, мѣщанъ, торговцевъ, духовенства; другая посвящена изображенію крестьянской жизни.

Измѣненія русской жизни, вызванныя реформами 60-хъ годовъ, нашли себѣ яркое выраженіе въ творчествѣ Тургенева, Гончарова, Островскаго, но эти писатели рисовали лишь верхній слой русскаго общества. Между тѣмъ измѣненія проникли глубже этого слоя, захватили сферы жизни, которыя были недоступны названнымъ писателямъ просто въ силу ихъ происхожденія, воспитанія и образа жизни. Успенскій пополнилъ этотъ пробѣлъ въ рядѣ очерковъ и рассказовъ подъ общимъ заглавіемъ „Разореніе“ и „Новыя времена—новыя заботы“.

До крымской войны тихо и мирно жили „лихоимныя гнѣзда“ Черемухиныхъ и Птицыныхъ, какихъ вездѣ было много, и которыя дорого обходились народу. „Въ карманъ-то нарочи поболѣ“—вотъ была основная заповѣдь ихъ жизни. И вдругъ „гнѣзда разорены“, исчезли „теплыя мѣста“ и „возможность быть сытыми“, а за этимъ внѣшнимъ разореніемъ послѣдовало разореніе внутреннее, болѣе ужасное. Стремленіе къ наживѣ было единственнымъ цементомъ, связывавшимъ обитателей „лихоимныхъ гнѣздъ“. Новыя времена уничтожили этотъ цементъ, и „разорвалась притворная связь мужей и женъ, отцовъ и дѣтей“. Въ „гнѣздахъ“ воцаряется семейный разладъ, взаимныя попреки, озлобленіе. Молодежь разлетѣлась въ разныя стороны, стремясь въ новыхъ условіяхъ осуществить старую заповѣдь отцовъ. Въ „гнѣздахъ“

лишь старики, доживающіе грустную жизнь, вспоминая старину, кляня новыя времена, да загубленные средой чуткія, талантливыя натуры вродѣ умирающаго отъ чахотки Вани Птицына.

Передъ нами и представитель тѣхъ, съ кого „наровили въ свой карманъ“ обитатели „лихоимныхъ гнѣздъ“. Это—Михаилъ Ивановичъ, городской рабочій. Съ дѣтства прошелъ онъ тяжелую трудовую школу, а въ годы юности, подъ вліяніемъ одной встрѣчи, испыталъ „просіаніе ума“, и „страсть сколько разбойниковъ вдругъ увидалъ“. Онъ негодуетъ на нихъ, но не за себя только, а за всѣхъ простыхъ людей. „Почему простой человѣкъ — дуракъ, болванъ? Почему онъ въ жизнь свою сладкаго куска не ѣдалъ и сапогъ цѣлыхъ не нашивалъ? Почему онъ замѣсто этого получалъ по скулъ?“—спрашиваетъ Михаилъ Ивановичъ и отвѣчаетъ: „отъ прижимки“, оттого, что „его сапоги-то чужіе носили“. Значить, „пора простому человѣку дать дыханіе! Довольно надъ нимъ потѣшаться, разбойничать! Дайте ходъ!“ И радостью исполняется сердце Михаила Ивановича при видѣ гибели „лихоимныхъ гнѣздъ“. „И очень великолѣпно“, говоритъ онъ, „коли кого изъ этихъ грабителей чѣмъ-нибудь да припрутъ! Радъ я! Душевно! Одна мнѣ утѣха, что на это поглядѣть“.

Михаилъ Ивановичъ не совсѣмъ одинокъ со своей злобой и радостью. Рядомъ съ нимъ растетъ чуткая женская душа. Ему она обязана первыми проблесками своего „просіанія“. Провожая дѣвочку по городу, онъ часто торопливо шепталъ ей: „Глянъте-ка, вонъ взяточникъ на солнцѣ грѣтся! Ишь, словно котъ, хмурится!.. Вонъ грабитель на одѣялахъ растянулся... Ишь, нажевалъ утробу-то!“ Заработала подъ вліяніемъ этихъ разговоровъ молодая мысль Нади, а затѣмъ и чуткая совѣсть. Она начинаетъ размышлять о скукѣ своей жизни, объ окружающей ее неправдѣ и приходитъ къ выводу, что причина всего — чужія деньги. Значить, „надо имѣть свои. Своихъ нѣтъ. Свои у кухарокъ, у кучеровъ. У нихъ нѣтъ скуки. Неужели надо итти въ кухарки?“ Разъ пробудившись, мысль и совѣсть приводятъ Надю къ рѣшенію „уйти, непременно уйти и учиться, учиться!“ Цѣпкая старая жизнь не позволяетъ Надѣ уйти совсѣмъ, она остается въ родномъ углу, но она дѣлается учительницей, получаетъ грошовое жалованье, имѣетъ свои деньги. Она не героиня, ей тяжело, и часто вырывается у нея крикъ: „Я не могу, не могу больше!“ Но все же къ старому ей не вернуться никогда.

Пробужденіе мысли и совѣсти, переродившее Надю, представлялось Успенскому въ видѣ своего рода эпидемической болѣзни, поразившей захолустья Россіи. Эта болѣзнь „тихими-тихими ша-

гами, почти непостижимыми путями, пробирается въ самые мертвые углы русской земли, залегаетъ въ самыя неприготовленныя къ ней души. Среди, повидимому, мертвой тишины, въ этомъ кажущемся безмолвіи и снѣ, по песчинкѣ, по кровинкѣ, медленно, неслышно перестраивается на новый ладъ запуганная, забитая и забывшая себя русская душа, а главное—перестраивается во имя самой строгой правды“. Есть люди, которыхъ эта своеобразная болѣзнь, дѣйствительно, заставила „перестроить душу“, духовно обновила (такова Анна Федорова въ разсказѣ „На старомъ пещищѣ“), но есть и неизлѣчимые, которые только чувтъ возможность новой, лучшей жизни, но не могутъ вырваться изъ тины опутавшаго ихъ и отрицаемаго ими „свинства“. Таковъ дьяконъ изъ превосходнаго разсказа „Неизлѣчимый“. До „заболѣванія совѣстью“ онъ, по его собственнымъ словамъ, былъ погруженъ „въ свиной элементъ“. Погасивъ въ себѣ слабыя проблески совѣсти, онъ жилъ припѣваючи, думая, что „только рубль настоящее дѣло, что только кусокъ въ желудкѣ да жена ночью рядомъ—настоящее удовольствіе, а все остальное только такъ“. Но вотъ въ немъ проснулася совѣсть, проснулася случайно, подъ влияніемъ сельской учительницы, бросившей сытую купеческую жизнь ради служенія народу. Началась тяжелая душевная борьба между Богомъ и Мамоной. Дьяконъ слабъ волей,—и то пытается исцѣлить себя кореннымъ образомъ: тѣлесно—порошками, духовно—книгами, то пьетъ мертвую, проклиная и докторовъ, и ученыхъ и заглушая виномъ болѣзнь своей совѣсти къ великой потѣхѣ сытыхъ и спокойныхъ людей, „разговаривающихъ разговоры“ на крылечкахъ своихъ провинціальныхъ домиковъ.

Вторая группа произведеній Успенскаго, появившихся послѣ 1878 года, изображаетъ почти исключительно крестьянскую жизнь.

По собственнымъ словамъ Успенскаго, жизнь повлекла его „къ источнику, т.е. мужику“. Но прежде, чѣмъ добраться до источника, ему пришлось пережить тяжелые моменты освобожденія отъ всякихъ предвзятыхъ взглядовъ на мужика, то какъ на воплощеніе всевозможныхъ добродѣтелей, то какъ на вмѣстилище всяческихъ пороковъ и безобразій. Въ очеркѣ „Черная работа“ Успенскій разсказываетъ, какъ тяжело досталось знакомство съ деревней непредубѣжденному интеллигенту. „Тоска, доходящая до физической боли“, гонитъ его вонъ. Эта тоска слагается „изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревнею фактовъ, въ которыхъ, по нашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ

оказываются нарушенными самая непоколебимая, самая истинная истины. Что может быть неизбѣжно тѣхъ цифирныхъ истинъ, какимъ учить васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатъ что-нибудь, кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно, изо-дня-въ-день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самостоятельной нити“. Оказывается, напимѣрь, что крестьяне-господской деревни, наиболѣе на своемъ вѣку претерпѣвшіе, надѣленные плохой землей, оказываются умнѣе, даровитѣе, зажиточнѣе, честнѣе крестьянъ казенныхъ, искони бывшихъ свободными. Оказывается („Малые ребята“), что долженъ бѣжать съ ужасомъ изъ деревни интеллигентный человекъ, поселившійся тамъ съ педагогическими цѣлями, потому что подвергнутые его воздѣйствію ребята рѣшили, что они больше не мужики, а господа, и вести себя должны по-господски. Бѣжить изъ деревни и Михаилъ Михайловичъ („Чудакъ-баринъ“), отправившійся въ народъ, чтобы „потрудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла“ и образовать трудовую артель изъ крестьянъ и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентовъ. Быстро постигнувъ барскія замашки „блажного“ барина, потакая имъ, поддакивая его благороднымъ словамъ, мужики доводятъ Михаила Михайловича до разоренія, глубокой тоски и пьянства.

Въ рядѣ другихъ очерковъ, собранныхъ подъ общими заглавіями: „Изъ деревенскаго дневника“, „Непорванные связи“, „Овца безъ стада“, „Малые ребята“, „Бѣглые наброски“, „Волей-неволей“ и др. Успенскій подвергаетъ тщательному анализу деревенскую жизнь. Оказывается, что община вовсе ужъ не такъ высоко поднимаетъ народную нравственность: она равнодушно мирится съ безпризорностью вдовъ, стариковъ, сиротъ, изъ которыхъ выходятъ деревенскіе преступники, зачастую строго караемые деревенскимъ самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе существуетъ почти только на словахъ. Все и всѣ въ деревнѣ охвачены жаждой достать побольше денегъ, опредѣляющей весь смыслъ жизни: денегъ требуетъ начальство, да и чувствуетъ мужикъ, что только онѣ могутъ оградить его отъ всякихъ жизненныхъ случайностей.

Наряду съ этимъ развивается кулачество,—„явленіе не наносное, а внутреннее, не пятно, которое можно стереть, а язва, органической недугъ“. Весь ужасъ кулачества въ томъ, что въ

немъ „вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта“. И мужикъ понимаетъ это: глядя, какъ оплетающій его своими сѣтями кулакъ закидываетъ ихъ и на разорившагося барина, онъ сопровождаетъ его хитроумную работу одобрительнымъ восклицаніемъ: „Ужъ и развязная же только башка у шельмы!“

Подвергнувъ тщательному разсмотрѣнію темныя стороны деревни, Успенскій не могъ остановиться только на нихъ. Ему хотѣлось проникнуть въ самые тайники народной жизни, открыть источникъ всей ея „хитроумной механики“. Страстные поиски привели его къ этому источнику: онъ оказался „властью земли“.

Въ очеркѣ „Власть земли“ Успенскій знакомитъ читателя съ крестьяниномъ Иваномъ Петровымъ, который, поступивъ на желѣзную дорогу, спивается, падаетъ нравственно и возрождается вновь, какъ только прикасается къ землѣ, вернувшись въ деревню. Въ этомъ испѣленіи и сказала тайна „власти земли“. „Тайна эта“, говоритъ Успенскій, „поистинѣ огромная, и, думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душой, мужественно сильна и дѣтки кротка,—словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ власть земли, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность послушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе... Нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца,—словомъ, до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣеть, пока онъ весь, съ головы до ногъ и снаружи до самаго нутра, проникнуть и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, вѣющими на него отъ матери сырой земли... У земледѣльца нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые бы принадлежали не землѣ... Она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣликомъ, но зато онъ и не отвѣчаетъ ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ велитъ его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ. Онъ убилъ человѣка, который увелъ у него лошадь,—и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступить къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти,—онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было;

онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену, — невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ“.

Въ результатъ этой могучей власти земли жизнь мужика—какой-то чисто растительный, зоологическій процессъ, и не только въ области хозяйственной и семейной, но и въ общественной, такъ какъ община, руководимая той же непреодолимой властью, что-то въ родѣ пчелинаго улья или муравейника. Разъ это такъ, разъ въ выработкѣ народной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ принимала участіе только стихійная „власть земли“, той самой, которая такъ любила еще былиннаго пахаря Микулу Селяниновича, становятся понятны всѣ ужасы мужицкой жизни, омрачающіе „поэзію ржаного поля“. Становится понятенъ и путь къ устраненію этихъ ужасовъ: надо, говоря словами Успенскаго, „зоологическую, лѣсную“ правду народной жизни сдѣлать правдой сознательной, одухотворить ее. Въ этомъ задача интеллигенціи, которая должна нести въ деревню оживляющую „божескую“ правду. Но успѣшной работа интеллигенціи будетъ только тогда, когда она признаетъ нерушимость коренныхъ устоевъ мужицкой жизни.

Таково, въ общихъ чертахъ, идейное содержаніе произведеній Успенскаго. Заслуживаетъ вниманія и ихъ художественная сторона. Безпощадная правдивость образовъ, трезвый реализмъ, умѣнье двумя-тремя штрихами нарисовать яркую картину, глубокое проникновеніе въ тайны народной рѣчи, — вотъ основныя особенности Успенскаго, какъ художника. Впрочемъ, послѣднее слово надо примѣнять къ нему съ нѣкоторыми оговорками: слишкомъ часто въ его очеркахъ, трепещущихъ неподдѣльными красками жизни, художникъ уступаетъ свое мѣсто публицисту; слишкомъ часто художественный намекъ остается только намекомъ, такъ какъ безпокойная мысль не даетъ времени на его развитіе и отдѣлку. По словамъ Н. К. Михайловскаго, давшаго лучшую критическую оцѣнку произведеній Успенскаго, „волнуясь и спѣша“, какъ выразился Некрасовъ о Бѣлинскомъ, нельзя, даже при полномъ желаніи, отойти отъ „людей и нравовъ“ на такое разстояніе, чтобы они отлились въ законченную художественную форму, безъ явственныхъ слѣдовъ крови сердца писателя. Брызги крови развѣ только по какой-нибудь особенно счастливой случайности могутъ расположиться симметрично или вообще съ тою правильностью, какая нужна для законченности формы“.

XXIV.

Л. Н. Толстой.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой родился 28 августа 1828 г. въ имѣніи своей матери, въ Крапивенскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи. Родители мало могли повліять на духовное развитіе будущаго великаго писателя: мать умерла, когда ему было всего полтора года, а отца онъ лишился на девятомъ году. Воспитаніе дѣтей перешло въ руки родныхъ. Съ особой любовью вспоминаетъ Толстой одну свою дальнюю родственницу Ергольскую, которая, какъ онъ говоритъ, „научила его счастью любить“. Воспитаніе, полученное Толстымъ въ дѣтствѣ, носило обычный для старинной дворянской семьи характеръ. О немъ можно судить по „Дѣтству и отрочеству“, гдѣ въ числѣ другихъ автобіографическихъ подробностей Толстой изобразилъ двухъ своихъ гувернеровъ—нѣмца и француза. Въ 1840 году, послѣ смерти первой своей опекуниши, дѣти переѣхали въ Казань и поселились тамъ у тетки, къ которой перешла опека.

Въ 1844 г. Толстой поступилъ въ Казанскій университетъ на факультетъ восточныхъ языковъ, а черезъ годъ перешелъ на юридическій. Въ это время Толстой сильно увлекался веселой, но пустой и безсодержательной великосвѣтской жизнью „маленькой столицы“, какъ тогда звали Казань, отрѣзанную при тогдашнихъ путяхъ сообщенія отъ Москвы и Петербурга и являющуюся центромъ всего Приволжья. Въ 1846 г. Толстой вышелъ изъ университета, не кончивъ курса. Какъ ни мало въ это время занимался Толстой наукой, но одна свѣтская жизнь не могла удовлетворить такую исключительную натуру. Онъ много читаетъ въ это время и дѣлаетъ первые свои философскіе опыты: принимается писать сочиненіе „О цѣли философіи“, въ которомъ его вниманіе останавливаютъ, главнымъ образомъ, вопросы нравственности.

Въ 1847 г. Толстой поселился въ своемъ имѣніи—Ясная Поляна, полный искренняго желанія улучшить бытъ своихъ крестьянъ. Цѣлый рядъ неудачъ (описанныхъ въ рассказѣ „Утро помѣщика“) быстро охладилъ Толстого, и онъ, оставивъ деревню, отправился въ Петербургъ. Здѣсь онъ думалъ было сдавать экзамены на юридическомъ факультетѣ, но весной его неудержимо потянуло опять въ деревню. Онъ вернулся туда вмѣстѣ съ однимъ даровитымъ, но несчастнымъ музыкантомъ Рудольфомъ и со страстью сталъ заниматься музыкой. Рудольфъ, Тол-

стой и его братъ Сергѣй вели въ Ясной Полянѣ, а наѣздами— и въ Москвѣ, очень веселую, разгульную жизнь. Картежная игра, попойки и охота заняли два съ лишнимъ года. Въ 1851 г. Толстой сильно проигрался и увидѣлъ, что при прежнемъ образѣ жизни онъ никакъ не сумѣетъ уплатить своего долга. Въ это время пріѣхалъ въ Ясную Поляну старшій братъ Толстого, Николай, служившій на Кавказѣ. Онъ убѣдилъ Льва Николаевича уѣхать съ нимъ на Кавказъ и поступить въ армію.

На Кавказѣ въ это время еще продолжалась война съ горцами, и Толстой, поступивъ юнкеромъ въ артиллерію, участвовалъ въ нѣсколькихъ стычкахъ съ непріятелями, выказавъ незаурядную храбрость.

На Кавказѣ началась литературная дѣятельность Толстого. 9 іюля 1852 г. онъ окончилъ первое свое произведение— „Дѣтство“, напечатанное въ томъ же году въ „Современникѣ“. За „Дѣтствомъ“ послѣдовали „Отрочество“, „Утро помѣщика“ и цѣлый рядъ рассказовъ, отразившихъ впечатлѣнія Кавказа, боевой жизни („Набѣгъ“, „Рубка лѣса“) и—что самое важное—нѣкоторыя существенныя черты міросозерцанія Толстого („Казаки“).

Въ началѣ 1854 г. Толстой былъ произведенъ въ офицеры и хотѣлъ было выйти въ отставку, но война съ Турціей помѣшала ему осуществить свое намѣреніе. Толстой перешелъ въ дѣйствующую армію, находившуюся на берегахъ Дуная, а затѣмъ перевелся въ Севастополь, гдѣ оставался до паденія этой крѣпости, принимая дѣятельное участіе въ ея оборонѣ. Впечатлѣнія этого времени отразились въ трехъ рассказахъ: „Севастополь въ декабрѣ, въ маѣ и въ августѣ“. Взоры всей Россіи были сосредоточены тогда на Севастополѣ, и уже одно это обстоятельство, помимо высокихъ художественныхъ достоинствъ рассказовъ, создало Толстому громкую извѣстность. Послѣ паденія Севастополя Толстой былъ посланъ съ донесеніемъ въ Петербургъ и вскорѣ вышелъ въ отставку.

Толстой явился въ Петербургъ, окруженный какъ бы двойнымъ ореоломъ: защитника Севастополя и крупной литературной силы. Въ журнальныхъ кругахъ его встрѣтили съ распростертыми объятіями. Онъ сблизился съ кружкомъ „Современника“, въ составъ котораго входили всѣ выдающіеся русскіе писатели. Вначалѣ Толстой очень увлекался этимъ кружкомъ, но скоро отношенія сдѣлались крайне неровными. Моральныя стремленія и интересы, мучившіе Толстого среди шумныхъ удовольствій петербургской жизни, иногда шли вразрѣзъ съ чисто-эстетическими вкусами нѣкоторыхъ членовъ кружка; желаніе быть до



Л. Н. Толстой.

мелочей искреннимъ, принимавшее иногда прямо болѣзненный характеръ, заставляло Толстого говорить прямо въ глаза своимъ друзьямъ самыя рѣзкія истины; наконецъ, духъ противорѣчія, являвшійся, можетъ быть, слѣдствіемъ боязни подчинить свою свободолюбивую натуру общепринятымъ мнѣніямъ, побуждалъ Толстого къ выходкамъ, обострившимъ отношенія.

Въ 1857 г. Толстой поѣхалъ за границу. Нѣкоторое время онъ прожилъ въ Парижѣ, среди русской колоніи, группировавшейся тогда около Тургенева, затѣмъ посѣтилъ Италію. Любопытно отмѣтить, что нигдѣ въ сочиненіяхъ Толстого мы не находимъ отголосковъ тѣхъ впечатлѣній, которыя должны бы были произвести историческое прошлое Италіи и ея художественныя сокровища на душу такого исключительнаго художника, какъ Толстой. Очевидно, внутренняя душевная работа заслоняла отъ него внѣшнія впечатлѣнія. Въ общемъ, впечатлѣнія, вынесенныя Толстымъ изъ заграничнаго путешествія, были далеко не въ пользу западно-европейской культуры. Это ясно сказалось въ небольшомъ разсказѣ „Люцернъ“. Толстого (онъ скрываетъ себя въ этомъ разсказѣ подъ любимымъ имъ именемъ князя Нехлюдова) поразилъ тотъ фактъ, что 7 іюля 1857 года въ Люцернѣ, передъ гостиницей Швейцергофъ, въ которой останавливаются самыя богатые люди, бродячій нищій пѣвецъ въ продолженіе получаса пѣлъ пѣсни и игралъ на гитарѣ. Его слушало много народу, но никто не далъ ему ни гроша, а многіе даже смѣялись надъ нимъ. „Вотъ событіе“, говоритъ Толстой, „которое историки нашего времени должны записать огненными и неизгладимыми буквами. Это событіе значительное и серьезное и имѣетъ болѣе глубокаго смысла, чѣмъ факты, описываемые въ газетахъ и исторіяхъ... Это фактъ не для исторіи дѣяній людскихъ, но для исторіи прогресса и цивилизаціи... Неужели распространеніе разумной себялюбивой ассоціаціи людей, которую называютъ цивилизаціей, уничтожаетъ и противорѣчитъ потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій? Неужели народы, какъ дѣти, могутъ быть счастливы однимъ звукомъ слова равенство?“ Нетрудно замѣтить въ этихъ словахъ критическое отношеніе къ цивилизаціи, культурному прогрессу, поворотъ на путь личнаго совершенствованія, что такъ характерно для Толстого болѣе позднихъ лѣтъ.

Разочаровавшись въ оживленномъ общественномъ движеніи, которымъ была полна русская жизнь наканунѣ реформъ, Толстой уединился въ Ясной Полянѣ, создавъ себѣ идеаль про-

свѣщеннаго и гуманнаго хозяина, отказавшагося отъ свѣтской жизни, посвятившаго себя сельско-хозяйственнымъ трудамъ въ тѣсномъ общеніи съ народомъ. Отраженіе этого идеала можно видѣть въ романѣ „Семейное счастье“, относящемся къ 1859 г.

Но долго выдержать своего уединенія онъ не могъ: вѣянія времени захватывали его. Въ 1860 г., отдавая дань входившей въ моду беллетристикѣ изъ народнаго быта, онъ пишетъ разсказъ „Поликушка“ и вмѣстѣ со всей мыслящей частью русскаго общества увлекается вопросами народнаго образованія. Когда изъ-за болѣзни брата ему пришлось вновь отправиться за границу, онъ использовалъ свое пребываніе тамъ для того, чтобы изучить школьное дѣло въ западно-европейскихъ государствахъ. По возвращеніи на родину, Толстой завелъ въ своемъ имѣніи сельскую школу и началъ издавать педагогическій журналъ „Ясная Поляна“. Въ этомъ журналѣ, наряду съ теоретическими статьями, онъ помѣщалъ также отчеты о веденіи дѣла въ своей школѣ. Эти отчеты возбуждали громадный интересъ, такъ какъ и методы преподаванія, и школьные порядки въ Ясной Полянѣ отличались большой оригинальностью. Педагогическія занятія Толстого продолжались въ теченіе трехъ лѣтъ. Къ этому же времени относится дѣятельность Толстого, какъ мирового посредника, причемъ, какъ это видно изъ недавно появившихся данныхъ, онъ былъ въ этой должности горячимъ и независимымъ отъ помѣщичьихъ вліяній защитникомъ крестьянскихъ интересовъ.

Въ 1862 году Толстой женился на Софьѣ Андреевнѣ Берсъ. Семейная жизнь дала ему много счастья, душевнаго спокойствія. Живя большую часть года въ деревнѣ и только изрѣдка прѣзжая въ Москву, Толстой много занимался и хозяйствомъ, и разнообразнымъ серьезнымъ чтеніемъ, и литературной работой. Къ этому періоду его жизни, продолжавшемуся до конца 70-хъ годовъ, относятся два крупнѣйшихъ его произведенія—„Война и миръ“ (1864—1869) и „Анна Каренина“ (1873—1876).

Къ 1881 году относится „Исповѣдь“ Толстого. Въ этомъ произведеніи Толстой говоритъ о томъ душевномъ переворотѣ, который изъ писателя-художника обратилъ его въ писателя-философа, моралиста по преимуществу.

Онъ относить этотъ переворотъ къ концу 70-хъ годовъ, но къ заявленію этому надо сдѣлать существенную поправку: начиная съ 1852 г., когда были написаны „Казачи“, уже ясно сказываются первые признаки тѣхъ возрѣній, которыя характеризуютъ Толстого 80-хъ и послѣдующихъ годовъ, такъ что то душевное состояніе, о которомъ говоритъ Толстой въ „Исповѣди“,

правильнѣе назвать не внезапнымъ переворотомъ, а лишь заверше-
ніемъ длительнаго душевнаго процесса. Вѣра въ прогрессъ,
говорить Толстой въ „Исповѣди“, была поколеблена въ немъ
уже до женитбы, но все же цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ послѣ нея
онъ продолжалъ жить прежней безпечной жизнью. Онъ былъ
писателемъ, „потому что вкусилъ уже соблазна писательства,
соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій
за ничтожный трудъ, и предался ему, какъ средству къ улуч-
шенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ
всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни своей и общей“. Но вотъ
вопросы эти, насильственно заглушаемые, стали все болѣе и
болѣе настойчиво и властно раздаваться въ душѣ. Онъ почув-
ствовалъ, что, не разрѣшивъ ихъ, онъ не можетъ жить. Бывали
минуты, когда онъ думалъ о самоубійствѣ. Послѣ тщетныхъ
попытокъ найти смыслъ жизни въ наукахъ, въ философіи, онъ
сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, неученыхъ,
простыхъ людей, съ мужиками,—и тогда понялъ, что искать
смысла жизни надо у простого народа, который на себѣ несетъ
тяготу своей и нашей жизни.

Съ „Исповѣди“ начался рядъ публицистическихъ, философ-
скихъ, религіозныхъ, моральныхъ произведеній гр. Толстого. Они
создали ему многочисленныхъ послѣдователей и породили цѣлое
общественное теченіе, извѣстное подъ именемъ „толстовства“,
въ которомъ нужно различать два далеко не равноцѣнныхъ эле-
мента: критическій и созидательный.

Значеніе перваго, безъ преувеличенія, громадно. По существу
своему, критическія нападки Толстого на церковь и полицейское
государство не заключали въ себѣ ничего новаго, ничего такого,
на что бы не указывала критически-мыслящая часть русскаго
общества еще и до него, но, нападая на сложившійся строй
церкви и государства съ точки зрѣнія евангельской истины,
Толстой тѣмъ самымъ обезпечилъ проникновеніе критическаго
взгляда на важнѣйшіе общественные вопросы въ такіе слои, ко-
торыхъ ранѣе не затрагивали предпосылки радикальной мысли.
Суровая простота проникнутаго искренностью слова еще болѣе
увеличивала успѣхъ критической работы Толстого.

Гораздо слабѣе второй элементъ проповѣди Толстого—сози-
дательный. Мы уже видѣли, что отвѣта на вопросъ о смыслѣ
жизни, по мнѣнію Толстого, надо искать у простого народа.
Надо слиться съ народомъ, „опроститься“, но не съ той цѣлью, какъ
это дѣлали семидесятники, „ходившіе въ народъ“, чтобы поднять
его на борьбу за лучшее будущее или направить его на путь

культурнаго развитія, пробудить въ немъ сознание своего человѣческаго достоинства, а исключительно въ цѣляхъ личнаго самоусовершенствованія. Для того, чтобы слиться съ народомъ, надо отрѣшиться отъ своей „паразитной“, какъ выражается Толстой, жизни, начать трудиться такъ, какъ трудится народъ.

На почвѣ „паразитной“ жизни развилась наука, и Толстой, отвергая эту жизнь, отвергаетъ и науку, не щадя ни одной ея отрасли. Наука „выдумала“ теорію коллективнаго прогресса, основаннаго на совершенствованіи общественныхъ формъ. Не въ этомъ дѣло, говоритъ Толстой: сущность поступательнаго движенія человѣчества основана на нравственномъ совершенствованіи каждаго человѣка въ отдѣльности, только на этомъ. Нигдѣ, быть можетъ, значеніе человѣческой личности не было доведено до такого громаднаго, преувеличеннаго размѣра, какъ въ этой части ученія Толстого. „Все можетъ“ человѣкъ, стоитъ только „понять“, „пожелать“, „сговориться...“ Изъ теоріи личнаго самоусовершенствованія послѣдовательно вытекла теорія „непротивленія злу насиліемъ“, проповѣдь „недѣланія“, чтобы имѣть возможность „одуматься“ и понять, въ чемъ смыслъ жизни, отрицательное отношеніе ко всякимъ общественно-политическимъ реформамъ, анархическій взглядъ на государство.

Нѣтъ нужды говорить о томъ впечатлѣніи, которое произвела проповѣдь великаго писателя, но нельзя не отмѣтить, что въ ней было много противорѣчій, воплѣтъ естественныхъ въ работѣ могучаго духа, неуклонно и неумолимо ищущаго правды. Нельзя также пройти молчаніемъ, что въ разныя эпохи русской общественности проповѣдь эта имѣла различный удѣльный вѣсъ. Въ 80-ые годы, въ эпоху безвременья, теоріи „непротивленія злу“, „опрощенія“ въ цѣляхъ личнаго самоусовершенствованія находили себѣ сочувственный откликъ въ извѣстной части нравственно усталаго русскаго общества и вызывали рѣзкій протестъ среди людей, хранившихъ завѣты предшествующаго десятилѣтія и видѣвшихъ, какую мощную опору находитъ общественная реакція въ проповѣди Толстого. Въ 90-ые годы, когда русское общество стало оправляться отъ реакціонной усталости, критическая часть проповѣди Толстого сыграла громадную роль, заслонила на время отрицательныя стороны его созидательныхъ теорій.

Съ начала 80-хъ годовъ Толстой, подъ вліяніемъ своихъ новыхъ моральныхъ взглядовъ, отказался отъ художественной дѣятельности, но могучій инстинктъ художника слова бралъ свое, и въ послѣдующіе годы, наряду съ философскими статьями и нравоучительными народными разказами, имъ созданъ рядъ

художественныхъ произведеній: „Смерть Ивана Ильича“ (1886 г.), драма „Власть тьмы“ (1886), комедія „Плоды просвѣщенія“ (1889), „Хозяинъ и работникъ“ (1895) и романъ „Воскресеніе“ (1899).

Неустанная духовная работа въ поискахъ правды жизни не прекращается у Толстого и теперь, на порогѣ глубокой старости. Онъ живетъ послѣдніе годы въ Ясной Полянѣ, окруженный вниманіемъ буквально всего міра, который гордится его гениальнымъ художественнымъ талантомъ и неутомимымъ правдоисканіемъ не менѣе, чѣмъ Россія.

Толстой началъ свою литературную дѣятельность повѣстью „Дѣтство“, за которой вскорѣ послѣдовали „Отрочество“ и неоконченная „Юность“. Всѣ три вещи носятъ несомнѣнный автобіографическій характеръ въ тѣхъ своихъ частяхъ, гдѣ изображается душевная жизнь Николенки Иртеньева и отчасти Дмитрія Нехлюдова.

Въ трилогіи Толстого надо различать два элемента, далеко неравномѣрно выраженныхъ: бытовой и психологической. Изображеніе богатой дворянской жизни крѣпостныхъ временъ, замкнутой въ кругу помѣщичьихъ и великосвѣтскихъ интересовъ, съ нѣкоторой брезгливостью сторонящейся всего, что лежитъ за этимъ кругомъ, старинное дворянское воспитаніе, сцены деревенской и городской жизни,—все это лишь бытовой фонъ, на которомъ развертывается исторія душевной жизни исключительно одаренной натуры, натуры самого Толстого. Такимъ образомъ, сторона психологическая, въ противоположность сторонѣ бытовой, не типична въ этомъ произведеніи Толстого. Шагъ за шагомъ, съ величайшей правдивостью, не останавливающейся ни передъ чѣмъ, Толстой изображаетъ душевный ростъ Николенки. Основная его черта—рѣдкая способность къ самоанализу, къ постоянному бдительному контролю сознанія надъ жизнью сердца. Благодаря этому, онъ почти неспособенъ непосредственно отдаться никакому чувству. У гроба нѣжно любимой матери онъ только одно мгновеніе находился во власти настоящаго, всепоглощающаго горя. Въ другіе моменты онъ то старался показать, что огорченъ больше всѣхъ, то заботился о дѣйстви, которое онъ производитъ на другихъ, то занимался безцѣльными наблюденіями надъ разными мелочами. „Я презиралъ себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать всѣ другія: отъ этого печаль моя была неискренна и неестественна“. Болѣзненное самолюбіе, мнительность, непобѣдимая застѣнчивость и необузданная мечтательность дополняютъ картину душевной организаціи Николенки. Въ годы отрочества

неустанная работа сознанія достигаетъ особой напряженности. „Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь“, вспоминаетъ Иртенъевъ, „всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему“. Къ годамъ юности вниманіемъ Иртенъева почти исключительно овладѣвають моральные вопросы. Онъ приходитъ къ выводу, что „назначеніе человѣка есть стремленіе къ нравственному совершенствованію, и что совершенствованіе это легко, возможно и вѣчно“. На практикѣ оно оказалось не такимъ легкимъ: оно разбивается постоянно то о болѣзненное самолюбіе Николеньки, то о неустойчивость его идеальныхъ порывовъ. И мы видимъ, какъ наряду со стремленіемъ къ нравственному совершенствованію Иртенъевъ желаетъ осуществить въ своей жизни идеалъ внѣшне-порядочнаго, изысканнаго, аристократическаго молодого человѣка, презрительно, даже съ ненавистью, сторонящагося людей съ неотдѣланными ногтями, въ дурной обуви, не умѣющихъ говорить по-французски.

Любопытно отмѣтить, что уже въ первомъ произведеніи Толстого сказывается его симпатія къ типамъ простымъ, вышедшимъ изъ народа. Ихъ непосредственное живое чувство, душевную простоту, смиреніе, любовное отношеніе къ міру онъ словно противопоставляетъ вѣчно мятущейся, раздвоенной, рефлектирующей душѣ интеллигентнаго человѣка. Въ этомъ отношеніи особенно останавливаются на себѣ вниманіе образы Натальи Савишны и юрливаго Гриши.

Разсказъ „Утро помѣщика“, тоже отмѣченный несомнѣнными автобіографическими чертами, передаетъ исторію неудачъ князя Нехлюдова, юноши, бросившаго университетъ и поселившагося въ деревнѣ съ тѣмъ, чтобы устроить благосостояніе и счастье своихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Онъ рѣшился на этотъ шагъ подъ влияніемъ благороднаго „моральнаго порыва“, убѣжденный, что счастье человѣка только въ трудѣ на пользу ближнихъ. Всѣ его начинанія руются. Съ одной стороны, мудро было благодѣтельствовать людямъ, не уничтоживъ органической причины ихъ злключеній—крѣпостнаго права; съ другой стороны, годы рабской зависимости создали среди крестьянъ непреодолимое недовѣріе ко всякимъ начинаніямъ помѣщика, о которое, какъ о каменную стѣну, разбиваются замыслы Нехлюдова; на-

конецъ, причины неудачи лежали отчасти и въ немъ самомъ: онъ быстро воодушевляется, вспыхиваетъ, но такъ же быстро падаетъ духомъ, гаснетъ; въ немъ нѣтъ настойчивости, выдержки, а смутное сознание внутренней фальши положенія рабовладѣльца, благодѣтельствующаго крѣпостныхъ, еще больше нарушаетъ душевное равновѣсіе Нехлюдова, лишая его необходимой энергіи. Передъ изображеніемъ душевныхъ переживаній Нехлюдова въ „Утрѣ помѣщика“ отходятъ на задній планъ картины крестьянской жизни, и это произведение, подобно „Дѣтству, отрочеству и юности“ въ большей степени психологической этюдъ, чѣмъ бытовой очеркъ.

Въ одномъ изъ военныхъ рассказовъ Толстого—„Рубка лѣса“—офицеръ Болховъ объясняетъ, почему его влекло служить именно на Кавказъ: „Въ Россіи вѣдь существуетъ престранное преданіе про Кавказъ, будто это какая-то обѣтованная земля для всякаго рода несчастныхъ людей... Въ Россіи воображаютъ Кавказъ какъ-то величественно, съ вѣчными дѣвственными льдами, бурными потоками, и кинжалами, бурками, черкешенками“. Со временъ „Кавказскаго плѣнника“ Пушкина утвердился такой взглядъ на Кавказъ, и съ легкой руки героя пушкинской поэмы туда направлялись разочарованные скитальцы искать въ объятіяхъ природы и среди простыхъ, близкихъ къ ней людей исцѣленія своихъ душевныхъ страданій. Нѣчто подобное мы видимъ и въ повѣсти Толстого „Казаки“, герой которой Оленинъ, подѣзжая къ Кавказу, чувствуетъ, что онъ порвалъ со своимъ прошлымъ, что для него открывается возможность новой, лучшей жизни. Въ прошломъ—рядъ глупостей и ошибокъ, отсутствіе настоящей любви, отвращеніе къ такъ называемой культурной жизни. „Какъ вы всѣ мнѣ гадки и жалки!“—пишетъ Оленинъ на родину: „Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой: вѣчные, неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была первая женщина выйти изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно станетъ, кто себя губить, кто живетъ въ правдѣ или во лжи: вы или я... Счастье—это быть съ природой, видѣть ее, говорить съ ней“...

Это счастье доступно тѣмъ простымъ людямъ, съ которыми судьба сталкиваетъ Оленина на Кавказѣ. Больше всего оно доступно дядѣ Ершкѣ. Когда-то онъ былъ гребенскимъ казакомъ, удалцомъ, лихимъ пьяницей, общимъ пріятелемъ. Не мало темныхъ дѣлъ числится за Ершкой, но они не тяготятъ его души, наивной и

простой, понимающей сокровеннѣйшія движенія въ жизни природы. Чѣмъ-то былиннымъ, эпическимъ вѣетъ отъ Ерошки. Какъ богатыря Микулу Селяниновича, его любитъ мать-сыра земля, со всѣмъ, что на ней живетъ и радуется жизни. Онъ платитъ ей такой же любовью, больше—онъ сливается съ ней въ одной общей жизни, въ единомъ дыханіи. Онъ понимаетъ языкъ животныхъ. Онъ рассказываетъ, какъ разъ на охотѣ онъ хотѣлъ стрѣлять въ самку кабана. „Колі она фыркнетъ на своихъ же поросятъ! «Бѣда молъ, дѣтки, человекъ сидитъ!» и затрещали всѣ прочь по кустамъ“. Оленинъ шутя спрашиваетъ, какъ это свинья могла разговаривать съ поросятами. Ерошка отвѣчаетъ: „А ты какъ думалъ? Ты думалъ, онъ дуракъ, звѣрь-то? Нѣтъ, онъ умнѣй человекъ, даромъ, что свинья прозывается. Она все знаетъ. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лѣсу живая гулять хочетъ. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она свинья, а все она не хуже тебя, такая же тварь Божія“...—„Сдохнешь, трава вырастетъ на могилкѣ, вотъ и все“, говоритъ дядя Ерошка въ другой разъ.

Такова языческая философія Ерошки, спускающая человека до уровня животного, поднимающая животное до уровня человека, объединяющая все живое въ одно нераздѣльное цѣлое... Ясность, опредѣленность этой философіи, то спокойствіе, которое она даетъ, привлекаютъ Оленина, какъ привлекаетъ его къ себѣ и казачка Марьянка, эта „женщина въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была первая женщина выйти изъ рукъ своего Творца“. Но любовь къ Марьянкѣ не даетъ счастья Оленину. Красивая, сильная, гордая Марьянка своей простой, здоровой душой не понимаетъ любви Оленина, отталкиваетъ этого чуждаго ей человекъ, инстинктивно чувствуетъ, что, какъ бы онъ ни старался сбросить съ себя все старое, привитое ему воспитаніемъ, средой, привычками, онъ не сможетъ этого сдѣлать. Она предпочитаетъ Оленину казака Лукашку. И Оленинъ понимаетъ, что она права, что онъ только въ томъ случаѣ могъ бы рассчитывать на взаимность Марьянки, если бы „могъ сдѣлаться казакомъ Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливать пѣснями, убивать людей и пьянымъ влѣзать къ ней въ окно на ночку, безъ мысли о томъ, кто я? и зачѣмъ я?“ Но превратиться въ Лукашку Оленинъ не можетъ, потому что, какъ оковы каторжника, его связываетъ „сложное, негармоническое, уродливое прошлое“. Оленину не удалось сбросить съ себя „ветхаго человекъ“, онъ покидаетъ станицу и ѣдетъ въ крѣпость,—назадъ, ближе къ оставленному имъ міру.

Таковъ общій абрисъ содержанія повѣсти. Идейная ея сторона интересна въ томъ отношеніи, что въ ней впервые выражается одна изъ характернѣйшихъ чертъ всего міросозерцанія Толстого,—отрицательное отношеніе къ современной культурной жизни, полной обмана, лжи и притворства. Надо замѣтить только, что Оленинъ отрекается отъ этой жизни во имя стремленія къ личному счастью, впоследствии же Толстой развилъ отрицаніе современной культуры на другой основѣ,—на почвѣ чисто моральныхъ требованій долга, велѣній совѣсти, стремленія къ общечеловѣческой солидарности.

Впечатлѣнія, вынесенныя Толстымъ изъ крымской войны, нашли себѣ отраженіе въ „Севастопольскихъ разсказахъ“, изображающихъ осажденную крѣпость въ декабрѣ 1854 г., въ маѣ и августѣ 1855 г. Разсказамъ этимъ принадлежитъ крупная роль въ исторіи русской литературы. Дѣло въ томъ, что до Толстого всѣ наши лучшіе писатели (кромѣ Лермонтова въ „Валерикѣ“), не говоря уже о писателяхъ второстепенныхъ, изображали военный бытъ, въ частности войну, въ условныхъ тонахъ своеобразнаго романтизма. Красивые ряды войскъ, развѣвающіяся знамена, музыка, геройскіе подвиги, нечеловѣческая храбрость,—вотъ что было необходимой принадлежностью военныхъ разсказовъ до Толстого. „Севастопольскіе разсказы“ показали войну, какъ она есть, во всей ея неприкрашенной правдѣ. Толстой ведетъ насъ въ лазаретъ, показываетъ блѣдныхъ, изможденныхъ солдатъ, лежащихъ на койкахъ, заглядываетъ въ операціонную и разсказываетъ, „какъ острый, кривой ножъ входитъ въ бѣлое, здоровое тѣло; какъ съ ужаснымъ, раздирающимъ крикомъ и проклятіями раненый вдругъ приходитъ въ чувство; какъ фельдшеръ бросаетъ въ уголь отрѣзанную руку; какъ на носилкахъ лежитъ въ той же комнатѣ другой раненый и, глядя на операцію товарища, корчится и стонетъ не столько отъ физической боли, сколько отъ моральныхъ страданій ожиданія“. „Въ лазаретѣ“,—говоритъ Толстой,—„вы увидите войну не въ правильномъ, красивомъ и блестящемъ строѣ, съ музыкой и барабаннымъ боемъ, съ развѣвающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну въ настоящемъ ея выраженіи—въ крови, въ страданіяхъ, смерти“.

Нѣтъ у Толстого и романтическихъ героевъ войны, а есть обыкновенные люди, душу которыхъ онъ раскрываетъ во всей ея правдѣ, показывая игру мелкаго честолюбія, лживость и притворство въ преобладающей массѣ офицерства и простоту, скромность и бессознательное величіе духа представителей сѣрой солдатской толпы. И если нужно непременно говорить о герояхъ,

то одинъ изъ нихъ тотъ матросъ, который, лежа на больничной койкѣ, съ такой простотой рассказываетъ, какъ ему оторвало ногу. Жена, внутренно гордая мужемъ, дополняетъ рассказъ, говорить, какъ онъ, раненый, не хотѣлъ отправляться въ лазаретъ, а просился опять на бастионъ, чтобы учить молодыхъ, если самъ работать не можетъ.—„Это хозяйка моя, ваше благородіе!—замѣчаетъ матросъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто говорить: „ужъ вы ее извините. Извѣстно, бабье дѣло—глупыя слова говорить“...

Такъ же просто рисуется и врагъ, тотъ „онъ“, котораго солдаты никогда почти не называютъ по имени. „Онъ“ показанъ въ мирной бесѣдѣ съ нашими во время пріостановки взаимнаго истребленія для уборки труповъ... Добавивъ къ этой сценѣ истинный художественный перлъ въ видѣ мальчугана въ старомъ отцовскомъ картузѣ, собирающаго среди труповъ голубые цвѣты, которыми усѣяна долина смерти, Толстой предвосхищаетъ свои будущіе протесты философа-моралиста противъ ужасовъ войны. „Цвѣтущая долина“,—говоритъ онъ,—„наполнена мертвыми тѣлами, прекрасное солнце спускается къ синему морю, и синее море, колыхаясь, блеститъ въ золотыхъ лучахъ солнца. Тысячи людей толпятся, смотрятъ, говорятъ и улыбаются другъ другу. И эти люди, христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣни передъ Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждого вмѣстѣ со страхомъ смерти любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья? Бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятья“.

Переходимъ теперь къ величайшему произведенію Толстого, „Войнѣ и миру“, этому колоссу не только русской, но и всемірной литературы, который стоилъ его автору пяти лѣтъ напряженнаго, неустаннаго труда.

Произведеніе это невозможно подвести ни подъ какія установленныя литературныя рубрики. Больше всего, пожалуй, подойдетъ къ нему названіе эпопеи въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово прилагается, напримѣръ, къ Иліадѣ и Одиссеѣ, изобразившимъ „войну и миръ“ греческой жизни.

Содержаніе „Войны и мира“ представляетъ колоссальную картину, охватывающую семилѣтній періодъ начала XIX в. Какъ показываетъ уже самое заглавіе, въ картинѣ этой какъ бы двѣ части: одна изображаетъ борьбу съ Наполеономъ Европы, а потому одной Россіи,—другая рисуетъ жизнь русскаго дворянства

въ сферы военныхъ интересовъ. Непосредственно къ первой части примыкають вкрапленные въ „Войну и миръ“ философскія разсужденія Толстого о сущности историческаго процесса, о роли крупныхъ личностей въ исторіи. Нельзя не замѣтить, что эти философскія добавленія нѣсколько понижаютъ художественное достоинство той части толстовской эпопеи, которая обнимается словомъ „война“. Что касается „мира“, то эта часть въ основѣ своей представляетъ хронику двухъ семействъ, Ростовыхъ и Болконскихъ, связующимъ звеномъ между которыми служить личность Пьера Безухова.

Задача невыполнимая—представить въ немногихъ словахъ хотя бы бѣглый очеркъ содержанія „Войны и мира“. Скажемъ лишь, это здѣсь нѣтъ и слѣда авторскихъ намѣреній увлечь читателя какой-нибудь сложной интригой, поразить его воображеніе картинами неизвѣстной, неиспытанной имъ жизни. Нѣтъ ничего проще множества сценъ, описанныхъ здѣсь Толстымъ, сценъ всѣмъ близкихъ и понятныхъ: обыденныхъ случаевъ семейной жизни, задушевныхъ разговоровъ между родными и друзьями, охоты, святочнаго ряженья, гаданій и пр. Правда, наряду съ этими сценами передъ читателемъ развертываются картины громаднаго историческаго значенія, но нельзя сказать, чтобы онѣ привлекали исключительное вниманіе, чтобы онѣ именно были осью всего содержанія „Войны и мира“: читая эпопею Толстого, невольно чувствуешь, что Бородинская битва и, напримѣръ, ночная бесѣда Наташи Ростовой съ матерью, событія по своему значенію несоизмѣримыя, одинаково волнуютъ насъ, одинаково намъ близки и дороги. Это происходитъ, быть можетъ, потому, что ни одно крупное событіе, ни одно историческое лицо не изображено Толстымъ, такъ сказать, со стороны, отъ своего лица: все представлено такъ, какъ отразилось въ душѣ того или другого дѣйствующаго лица. Такъ, Аустерлицкая битва изображена въ рядѣ впечатлѣній Николая Ростова, Бородинское сраженіе по впечатлѣніямъ Пьера Безухова, патриотическій подъемъ москвичей во время пріѣзда Александра I—по волненіямъ Пети Ростова, совѣтъ въ Филяхъ, рѣшавшій судьбу Москвы,—по наблюденіямъ дѣвочки Малашки, слѣдившей за нимъ съ печки, и т. д. Благодаря такому художественному приему, быть можетъ, нѣсколько теряется историческая перспектива, но зато красками подлинной, настоящей жизни блещетъ изображеніе каждаго событія, каждаго лица.

Точно также невозможно дать хотя бы самую краткую характеристику многочисленныхъ дѣйствующихъ лицъ „Войны и ми-

ра". Всѣ они—подлинныя, живыя люди, начиная съ Наполеона и Кутузова и кончая въ двухъ словахъ изображеннымъ солдатомъ, поддерживающимъ носилки, на которыхъ несутъ раненаго Андрея Болконскаго. Впрочемъ, среди дѣйствующихъ лицъ эпопеи у Толстого есть, такъ сказать, любимцы, на которыхъ онъ, при всемъ своемъ художественномъ безпристрастїи, останавливается съ особымъ, любовнымъ вниманіемъ. Это—Наташа Ростова, княжна Марья Болконская, Пьеръ Безухій и Платонъ Каратаевъ.

Наташа и княжна Марья—это два полюса женственности. Первая полна черезъ край бьющимъ чувствомъ жизни, стремленіемъ къ земнымъ радостямъ, жаждой имѣть мужа и дѣтей. Вторая—не отъ міра сего, съ неустанной мыслью о Богѣ, о грѣхѣхъ суетныхъ мірскихъ желаній, съ мучительными попытками подавить мечты о личномъ счастьѣ. И та, и другая—полуфранцуженки, полурусскія по воспитанію, но обѣ, несмотря на это, каждая по своему близки къ народной стихїи: княжна Марья понимаетъ душу странниковъ, юродивыхъ, нищихъ, ея любимыхъ „Божьихъ людей“, бродящихъ по Руси въ поискахъ Божьей правды; Наташа сердцемъ, инстинктомъ понимаетъ лукавую удалъ веселой простонародной пѣсни и пляски такъ же, какъ понимаетъ ихъ простая, изъ народа вышедшая женщина.

Въ исполненїи образа Наташи Толстой особенно проявилъ свою художественную мощь. Она растетъ на нашихъ глазахъ, эта дѣвочка, выбѣгающая въ парадную гостиную съ куклой въ рукахъ, этотъ подростокъ, чувствующій властную силу своей просыпающейся женственности, затѣмъ дѣвушка, „неудостаивающая быть умной“, чарующая насъ своимъ пѣніемъ, жаждущая любви и семейнаго счастья, „опьяненная“ этой жаждой, превращающаяся, наконецъ, въ жену и мать, „самку“, по выраженію Толстого.

Личность Пьера Безухова особенно интересна, такъ какъ въ изображеніе его переживаній Толстой, несомнѣнно, вложилъ много личнаго. Это обстоятельство, до извѣстной степени, стираетъ историческія краски съ образа Пьера, но зато дѣлаетъ его, быть можетъ, самымъ яркимъ изъ всѣхъ лицъ, безконечной вереницей проходящихъ передъ нами въ эпопеѣ Толстого.

Натура Пьера крайне неуравновѣшенная, полная противоположностей. Онъ очень добръ, отзывчивъ на всякое страданіе, но въ моменты возбужденія можетъ дойти до дикой, изступленной злобы. Онъ способенъ на истинно-геройскую отвагу, но въ то же время слабохарактеренъ до того, что является послушной игрушкой въ рукахъ проницательной и изворотливой княгини Друбец-

кой или князя Васи́лія Курагина, который почти насильно женилъ его на своей дочери. Чистый душой, онъ тѣмъ не менѣе недѣли и мѣсяцы можетъ проводить въ безобразныхъ кутежахъ. Но слабости, даже пороки Пьера не мѣшаютъ намъ горячо любить этого мѣшковатаго, неуклюжаго, смѣшного на видъ человѣка за его поистинѣ золотое сердце и неустанное исканіе правды.

Пьеръ, по словамъ Толстого, „мечтательный философъ“, но его философствованіе не праздная игра ума, а вытекаетъ изъ глубокихъ потребностей его натуры. „Что дурно? Что хорошо?“— спрашиваетъ онъ самъ себя во время одного изъ своихъ душевныхъ кризисовъ: „Что надо любить, что ненавидѣть? Для чего жить? И что такое я? Что такое жизнь? Что смерть? Какая сила управляетъ всѣмъ?“ Эти вопросы мучили Пьера на всемъ протяжении его молодости.

Онъ воспитывался за границей и вернулся оттуда либераломъ, демократомъ, горячимъ поклонникомъ политической свободы, съ мечтами о переустройствѣ Россіи, о перерожденіи рода человѣческаго и пр. Что дѣлать съ собой, онъ не знаетъ и проводитъ время въ кутежахъ, въ бездѣльѣ. Покончивъ со своей неудачной семейной жизнью, совершенно свободный, незнающій, куда дѣвать богатый запасъ своихъ силъ, Пьеръ впервые испыталъ мучительный душевный недугъ, когда „проклятые вопросы“ о смыслѣ и цѣли жизни привели его къ безотрадному заключенію, что мы знаемъ только то, что ничего не знаемъ. Случайная встрѣча съ масономъ увлекла его въ масонское братство, поставившее своей цѣлью служеніе дѣлу религіи и добродѣтели. Онъ начинаетъ работу надъ нравственнымъ самоусовершенствованіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ принимается за улучшеніе быта своихъ крестьянъ. Все это даетъ ему временное душевное спокойствіе. Скоро онъ разглядѣлъ подъ добродѣтельной внѣшностью своихъ братьевъ масоновъ игру мелкаго самолюбія, гордость, тщеславіе, страсть къ деньгамъ. Разочаровался онъ и въ своей филантропической дѣятельности. Зло дѣйствительной жизни, ея бьющія въ глаза противорѣчія снова встали передъ Пьеромъ. „Всѣ мы исповѣдуемъ христіанскій законъ любви къ ближнему,“— размышляетъ Пьеръ въ минуту душевной тоски,— „законъ, вслѣдствіе котораго мы воздвигли въ Москвѣ сорокъ сороковъ церквей, а вчера засѣкли кнутомъ бѣжавшаго человѣка, и служитель того же самаго закона любви и прощенія, священникъ, давалъ цѣловать солдату крестъ передъ казнью“.

Пьеръ нашелъ выходъ изъ своего тяжелаго душевнаго состоянія, когда сблизился съ народной средой, познакомился съ на-

роднымъ міросозерцаніямъ. Первымъ шагомъ къ сближенію были наблюденія надъ солдатами, которыя Пьеръ сдѣлалъ во время Бородинскаго сраженія. Онъ ясно почувствовалъ, что міръ этихъ людей, такихъ простыхъ, спокойныхъ, самоотверженныхъ и твердо спаянныхъ какимъ-то еще непонятнымъ ему настроеніемъ, совершенно противоположенъ тому міру, къ которому принадлежитъ онъ самъ. И онъ почувствовалъ страстное желаніе пріобщиться къ этому міру, стать такимъ же, какими были солдаты, эти влекущіе его къ себѣ „они“, „скинуть съ себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внѣшняго человѣка“. Пьеръ попадаетъ въ плѣнъ къ французамъ, испытываетъ ужасъ ожиданія смертной казни, присутствуетъ при разстрѣлѣ своихъ товарищей-плѣнныхъ и переживаетъ послѣдній приступъ мрачнаго отчаянія: „міръ завалился въ его глазахъ, и остались однѣ безсмысленныя развалины. Онъ чувствовалъ, что возвратиться къ вѣрѣ въ жизнь не въ его власти“. Выходъ изъ этого мрака къ просвѣтленному взгляду на жизнь Пьеръ нашелъ въ сближеніи съ Платономъ Каратаевымъ, живымъ воплощеніемъ того народнаго міра, въ которомъ Пьеру еще раньше чувствовалась правда, способная исцѣлить его душу.

Платонъ Каратаевъ—крестьянинъ, уже пожилой человѣкъ, большую часть жизни проведеній въ солдатахъ. Военная служба не измѣнила его духовнаго облика, и, очутившись въ плѣну, внѣ условій обычной солдатской жизни, онъ „невольнo возвратился къ прежнему крестьянскому складу“. Впечатлѣніе благообразія и простоты производитъ его внѣшность, всѣ его движенія, неторопливыя и спорыя, и это потому, что благообразна, проста его натура. Пьера поражаетъ въ Каратаевѣ отсутствіе чувства личности. Одинаково любовно относясь къ всѣмъ: къ Пьеру, къ другимъ плѣннымъ, къ французамъ, къ случайно приставшей собаченкѣ, онъ не имѣлъ „никакихъ привязанностей; но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами... Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему, ни на минуту не огорчился бы разлукой съ нимъ“. Уже одно это обстоятельство говоритъ о томъ, что у Каратаева нѣтъ индивидуальной, личной жизни, но Толстой, видимо, считая эту черту особенно важной, подчеркиваетъ ее слѣдующимъ замѣчаніемъ: „Жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ

постоянно чувствовалъ“. Это цѣлое—тотъ народный, національный духъ, которымъ всецѣло проникнуть Каратаевъ.

Воплощая въ своей личности коренныя особенности русскаго народнаго духа, какъ ихъ понимаетъ Толстой, Каратаевъ поражаетъ простотой и правдой своего нравственнаго облика, полнымъ отсутствіемъ всего эффектнаго, напускнаго и непоколебимой вѣрой, что личность человѣческая со всѣми своими гордыми притязаніями—ничто передъ силой Промысла, благостно правящаго міромъ и невѣдомыми для насъ путями направляющаго жизнь каждаго человѣка.

Подъ вліяніемъ Каратаева вопросы о смыслѣ и цѣли жизни мучившіе Пьера, исчезли, замѣнившись вѣрой въ Бога. Пьеръ пересталъ искать цѣль жизни: „онъ не могъ имѣть цѣли, потому что онъ теперь имѣлъ вѣру, не вѣру въ какія-нибудь правила или слова, или мысли, но вѣру въ живого, всегда ощущаемаго Бога... Прежде разрушавшій всё его умственныя постройки страшный вопросъ: зачѣмъ? теперь для него не существовалъ. Теперь на этотъ вопросъ—зачѣмъ? въ душѣ его всегда былъ простой отвѣтъ: зачѣмъ, что есть Богъ, тотъ Богъ, безъ воли котораго не спадетъ волосъ съ головы человѣка“.

Мы упомянули, что въ образъ Пьера Толстой вложилъ много личнаго. Это можно подтвердить, не выходя изъ рамокъ „Войны и мира“, гдѣ въ многочисленныхъ философскихъ отступленіяхъ и дополненіяхъ Толстой высказываетъ свои историческіе взгляды, окрашенные тѣмъ міросозерцаніемъ, которое сложилось у Пьера подъ вліяніемъ сближенія съ Каратаевымъ. Какъ Пьеръ пришелъ къ отрицанію значенія личности, совершенно ничтожной передъ волей Промысла, такъ и Толстой, опредѣляя причины, движущія историческими событіями, видитъ ихъ не въ единичной волѣ людей, хотя бы и великихъ. „Такъ называемые великіе люди — только ярлыки, дающіе наименованіе событію... Каждое дѣйствіе ихъ, кажущееся имъ произвольнымъ для самихъ себя, въ историческомъ смыслѣ произвольно, находится въ связи со всѣмъ ходомъ исторіи и опредѣлено предвѣчно“. Съ этой точки зрѣнія, которую можно назвать фаталистической и правильность которой подлежитъ серьезному спору, Толстой развѣнчиваетъ Наполеона. „Наполеонъ“, говоритъ Толстой, „во все время своей дѣятельности былъ подобенъ ребенку, который, держась за тесемочки, привязанныя внутри кареты, воображаетъ, что онъ правитъ“. Самонадѣянному Наполеону Толстой противопоставляетъ Кутузова, истинно великаго человѣка, который, „постигая волю Провидѣнія, подчинилъ ей свою личную волю“.

Почему же далось Кутузову это достиженіе воли Провидѣнія? Потому, что онъ всегда чувствовалъ безсознательную, стихійную, „роевую“, какъ выражается Толстой, жизнь народныхъ массъ.

Извѣстный параллелизмъ существуетъ между „Войной и миромъ“ и „Анной Карениной“, другимъ крупнымъ произведеніемъ Толстого. Не говоря уже о совпаденіи такихъ образовъ, какъ Наташа Ростова и ея отецъ съ одной стороны и Кити Щербацкая съ отцомъ—съ другой, главныя дѣйствующія лица того и другого произведенія, являющіяся выразителями авторскаго міросозерцанія, Пьеръ Безухій и Константинъ Левинъ, переживаютъ одинаковый въ существѣ своемъ духовный процессъ. Подобно Пьеру, окончательный толчокъ къ проясненію мучительнаго душевнаго мрака Левинъ получаетъ отъ общенія съ простымъ народомъ. Одинаковъ и религиозно-философскій итогъ, вносящій успокоеніе въ души Пьера и Левина: отреченіе отъ вѣры въ силу гордой, самочинной человѣческой личности и признаніе человѣческаго счастья въ подчиненіи высшей силѣ. Надо впрочемъ замѣтить, что эта религиозно-философская идея въ „Войнѣ и мирѣ“ выступаетъ передъ читателемъ яснѣе, чѣмъ въ „Аннѣ Карениной“, гдѣ она нѣсколько заслоняется отраженіями вопросовъ, волновавшихъ русское общество въ первые годы послѣ реформъ 60-хъ годовъ и блестящей бытовой картиной московскаго и петербургскаго большого свѣта, многія подробности которой стоятъ на недосыгаемой художественной высотѣ.

Послѣднія художественныя произведенія Толстого („Смерть Ивана Ильича“, „Хозяинъ и работникъ“, „Власть тьмы“, „Воскресеніе“), появившіяся въ тѣ годы, когда онъ, главнымъ образомъ, занятъ былъ вопросами религиозно-философскими и нравственными, показали, что талантъ Толстого-художника стоитъ на прежней не досягаемой высотѣ. Болѣе того: въ комедіи „Плоды просвѣщенія“ талантъ Толстого обнаружился съ новой, неизвѣстной до сихъ поръ стороны,—со стороны заразительнаго, брызжущаго весельемъ комизма.

Могучій творческій геній, на всемъ протяженіи своей дѣятельности занятый вопросами высшаго порядка, искони волнующими человѣчество, Толстой стоитъ внѣ всякихъ литературныхъ направленій и не можетъ быть приуроченъ ни къ какому изъ періодовъ, на которые дробится исторія русской общественной мысли и отражающей ее литературы.

Правда, его народолобіе, зародыши котораго можно отмѣтить еще въ „Дѣтствѣ и отрочествѣ“ и которое ясно опредѣлилось

въ 70-ые годы, совпало съ народническими стремленіями этого десятилѣтія, но это хронологическое совпаденіе еще не даетъ права зачислить Толстого въ ряды „кающихся дворянъ“, мечтавшихъ объ уплатѣ вѣкового долга народу: народничество Толстого носитъ совершенно своеобразный характеръ, опредѣляясь не столько условіями русской дѣйствительности, сколько особенностями развитія его исключительной личности. Общій ходъ этого развитія, поскольку оно отразилось въ художественной дѣятельности Толстого, прекрасно выражень словами, которыми онъ когда-то закончилъ одинъ изъ своихъ „Севастопольскихъ разсказовъ“: „Герой... котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда“. Этому герою Толстой вѣренъ доднесъ, и въ приведенныхъ словахъ начинающаго писателя—самое лучшее опредѣленіе того, что сдѣлано яснополянскимъ старцемъ для русской, а съ ней вмѣстѣ и міровой литературы.

XXV.

Ф. М. Достоевскій.

Федоръ Михайловичъ Достоевскій родился въ 1821 году. Онъ былъ сыномъ врача Маріинской больницы въ Москвѣ. Семья была довольно большая, а средства къ существованію весьма ограниченныя, и Достоевскіе жили однообразной трудовой жизнью. Дѣтей держали строго, не баловали. Отецъ, самъ занимавшійся съ ними, внушалъ имъ, что они должны неустанно трудиться, такъ какъ впереди ихъ ждетъ нужда, заботы. На больного, съ раннихъ лѣтъ страдавшаго галлюцинаціями мальчика домашняя обстановка дѣйствовала тяжело. На шестнадцатомъ году Достоевскій былъ отданъ въ Петербургское инженерное училище. Оно ничего не дало ему въ смыслѣ развитія и вообще оставило въ немъ непріятныя воспоминанія. Угрюмый, нелюдимый, болѣзненно самолюбивый, онъ держался особнякомъ со своими невеселыми думами. Одиночество давало ему много досуга для чтенія, страсть къ которому онъ приобрѣлъ еще дома. По окончаніи училища Достоевскій поступилъ на службу въ межевой департаментъ, но прослужилъ только годъ и, выйдя въ отставку, рѣшилъ жить исключительно литературнымъ трудомъ. Въ 1845 г. онъ окончилъ первое свое крупное произведеніе—повѣсть „Бѣдные люди“. Еще въ рукописи она вызвала восторженный отзывъ Бѣлинскаго, а когда была напечатана, то и вся читающая публика по достоинству оцѣнила талантъ начинающаго писателя. Со времени по-

явленія „Бѣдныхъ людей“ Достоевскій попалъ въ кружокъ Бѣлинскаго, объединявшій лучшихъ представителей сороковыхъ годовъ. Причины его кратковременнаго пребыванія въ этомъ кружкѣ и разрыва съ нимъ до сихъ поръ еще недостаточно выяснены. Можно думать, что здѣсь имѣло мѣсто личное раздраженіе противъ нѣкоторыхъ литературныхъ сверстниковъ, а также то обстоятельство, что уже въ это время Достоевскій, вопреки господствующему настроенію кружка, отводилъ въ своемъ міросозерцаніи слишкомъ много мѣста вопросамъ личной нравственности. Послѣ блестящаго дебюта, который, какъ видно изъ воспоминаній Достоевскаго, вскружилъ ему голову, его постигъ рядъ литературныхъ неудачъ. Повѣсть „Двойникъ“, на которую Достоевскій возлагалъ большія надежды, не имѣла успѣха. Повѣсть „Хозяйка“, надъ которой Достоевскій работалъ съ необыкновеннымъ увлеченіемъ, а также нѣкоторые другіе рассказы, за ней послѣдовавшіе, вызвали общее недоумѣніе. Увлекающійся Бѣлинскій называлъ всѣ эти вещи „нервической чепухой“. Это былъ, конечно, нѣсколько суровый приговоръ, но Бѣлинскій былъ правъ съ точки зрѣнія своего времени, съ точки зрѣнія реальнаго направленія, истолкователемъ и защитникомъ котораго онъ былъ.



Ф. М. Достоевскій.

Въ 1849 г. Достоевскій былъ арестованъ по дѣлу такъ называемыхъ „петрашевцевъ“. Это былъ кружокъ, состоявшій преимущественно изъ молодежи, увлеченной идеями раннихъ французскихъ социалистовъ. Достоевскій посѣщалъ этотъ кружокъ, собиравшійся у чиновника министерства иностранныхъ дѣлъ Петрашевскаго. Одинъ изъ посѣтителей кружка такъ впоследствии вспоминалъ о немъ: „Бесѣды были не безынтересны для каждаго

изъ присутствующихъ. Да и могло ли быть иначе, когда тутъ собирався народъ молодой, образованный, читающій, мыслящій? Впечатлѣнія воспринимались живо; всякая несправедливость злоупотребленія, стѣсненія, самоуправство глубоко возмущали душу каждаго; напротивъ, всякое стремленіе къ благу общественному или частному вызывало сочувствіе, въ какой бы формѣ это стремленіе ни высказывалось. Цензура, убивавшая въ то время всякую здоровую мысль, не только не допускала гласнаго обсужденія предметовъ общаго интереса, но воспрещала даже малѣйшій намекъ на то, что могло бы быть лучше, если бы было иначе. Поэтому весьма естественно, что вездѣ, гдѣ собирались люди выше средняго уровня, они прямо высказывали свои убѣжденія, совершенно противоположныя грустному положенію дѣлъ "... Собранія кружка обыкновенно дѣлились на двѣ части: сначала читался докладъ по поводу какого-нибудь животрепещущаго общественнаго вопроса, причемъ какъ въ докладѣ, такъ и въ преніяхъ много мѣста отводилось выясненію причинъ общественныхъ неустройствъ и мѣръ къ ихъ устраненію; вторая часть собранія посвящалась изложенію соціальныхъ теорій, чтенію работъ французскихъ соціалистовъ, ихъ журналовъ. Достоевскій принадлежалъ къ наиболѣе умѣренной группѣ кружка, что, какъ мы знаемъ, не помѣшало его аресту. Судь крайне сурово отнесся къ петрашевцамъ. Смертный приговоръ былъ смягченъ государемъ, но объ этомъ приговореннымъ было объявлено только послѣ исполненія надъ ними всѣхъ обрядовъ, предшествующихъ смертной казни. Достоевскій вполнѣдствіи писалъ, что всѣ приговоренные были увѣрены въ исполненіи приговора и пережили „по крайней мѣрѣ, десять ужасныхъ, безмѣрно страшныхъ минутъ ожиданія смерти“. Разсказъ князя Мышкина о смертной казни („Идіотъ“), несомнѣнно, навѣявъ личными переживаніями.

Достоевскому было назначено четыре года каторги, а по окончаніи каторжныхъ работъ—служба рядовымъ. Его отправили въ Омскій острогъ. „Въ Тобольскѣ“, разсказываетъ Достоевскій, „жены декабристовъ умолили смотрителя и устроили на его квартирѣ свиданіе съ нами (ссылными). Онѣ благословили насъ въ новый путь, перекрестили и каждаго надѣлили евангеліемъ—единственной книгой, позволенной въ острогѣ“. Отбывъ каторгу, Достоевскій былъ отправленъ въ Семипалатинскъ и зачисленъ въ мѣстныя войска. Послѣ вступленія на престолъ Александра II Достоевскій былъ произведенъ въ офицеры, а въ 1859 г. ему было разрѣшено выйти въ отставку и вернуться въ Россію. Самъ Достоевскій противорѣчивъ въ своихъ отзывахъ о томъ, какъ повліяла на него

каторга, но, какъ бы ни относиться къ его отъѣзду, несомнѣнно, что въ основныхъ своихъ чертахъ его міросозерцаніе окончательно сложилось именно на каторгѣ. Чтеніе евангелія и знакомство съ духовной жизнью народа въ лицѣ товарищей-каторжанъ оставили въ душѣ Достоевскаго неизгладимый слѣдъ, и христіанскіе идеалы на почвѣ русскаго народнаго духа опредѣлили его умственный и нравственный обликъ.

Достоевскій вернулся изъ Сибири въ одинъ изъ самыхъ оживленныхъ моментовъ русской общественности, когда пересматривались всѣ стороны старой жизни. Настроеніе Достоевскаго стояло въ полномъ противорѣчьи съ тѣми чувствами и думами, которыя волновали тогда русское общество. Это обстоятельство не заставило его отойти въ сторону, — наоборотъ, онъ рѣшился вмѣшаться въ общественную борьбу въ качествѣ журналиста. Вмѣстѣ со своимъ братомъ Михаиломъ Достоевскій задумалъ изданіе журнала „Время“. Въ предварительномъ объявленіи о журналѣ Достоевскій говорилъ, что до сихъ поръ русская мысль двигалась въ направленіи, которое было ей сообщено Петромъ В. Этому направленію теперь пришелъ конецъ: „мы тоже отдѣльная національность, въ высшей степени самобытная... Наша задача — создать себѣ новую форму, нашу собственную, родную, взятую изъ почвы нашей, взятую изъ народнаго духа и изъ народныхъ началъ“. Эта мысль сопровождалась пророчествомъ о великомъ будущемъ, предстоящемъ русской національной идеѣ. Она, „можетъ быть, будетъ синтезомъ всѣхъ тѣхъ идей, которыя съ такимъ упорствомъ, съ такимъ мужествомъ развиваетъ Европа въ отдѣльныхъ своихъ національностяхъ... Можетъ быть, все враждебное въ этихъ идеяхъ найдетъ свое примиреніе и дальнѣйшее развитіе въ русской народности“... „Время“ стало выходить въ 1861 г. Къ редакціи вскорѣ примкнулъ Григорьевъ, бывший членъ „молодой“ редакціи „Москвитянина“ (см. гл. XXI), защитникъ идеи русской самобытности. Журналъ имѣлъ успѣхъ, — конечно, главнымъ образомъ, благодаря участію Достоевскаго, возстановившаго свою блестящую литературную репутацію „Записками изъ мертваго дома“. Въ 1863 г. „Время“ вынуждено было прекратить свое существованіе изъ-за одной статьи по польскому вопросу. Черезъ годъ Достоевскій сталъ издавать журналъ „Эпоха“, который далеко не имѣлъ успѣха закрытаго „Времени“. Желая поддержать журналъ, въ надеждѣ вернуть къ нему вниманіе публики, Достоевскій вошелъ въ долги. Въ это время умеръ его братъ, оставивъ семью безъ всякихъ средствъ. Денежныя дѣла Достоевскаго еще болѣе запутались. Тяжелыя обстоя-

тельства не помѣшали ему въ это время написать лучшее изъ своихъ произведеній—романъ „Преступленіе и наказаніе“, появившійся въ печати въ 1866 г.

Въ 1867 г. Достоевскій, незадолго передъ тѣмъ овдовѣвшій, женился вторично и уѣхалъ за границу на четыре года. За границей ему жилось нелегко: смерть ребенка, собственная болѣзнь, мучительная тоска по родинѣ и вѣчныя денежныя затрудненія сильно угнетали Достоевскаго. Очень часто Достоевскимъ приходилось тѣсниться въ одной комнатѣ, закладывать необходимое платье, занимать у знакомыхъ по мелочамъ. Несмотря на житейскія невзгоды, Достоевскій работалъ усиленно. За границей написаны „Идіотъ“, „Вѣчный мужъ“ и „Бѣсы“.

Въ 1871 г. Достоевскій вернулся изъ-за границы, и наступилъ послѣдній періодъ его жизни, наиболѣе спокойный и счастливый. Жена Достоевскаго взяла въ свои руки денежныя дѣла мужа, привела ихъ въ порядокъ, и матеріальное положеніе семьи было обезпечено, такъ что Достоевскій могъ теперь работать гораздо спокойнѣе, чѣмъ раньше. Въ 1873 г. онъ сталъ принимать близкое участіе въ журналѣ „Гражданинъ“, гдѣ печатались публицистическіе очерки подъ названіемъ „Дневникъ писателя“. Черезъ годъ онъ оставилъ работу въ „Гражданинѣ“ и принялся за большой романъ „Подростокъ“. Но публицистическая дѣятельность все болѣе и болѣе настойчиво привлекала къ себѣ Достоевскаго. Подобно Пушкину, Гоголю, Толстому, онъ чувствовалъ живую потребность стать непосредственнымъ руководителемъ общественнаго мнѣнія, и въ 1876 г. сталъ выходить его „Дневникъ писателя“ въ качествѣ самостоятельнаго изданія. Слава Достоевскаго возростала все болѣе и болѣе. Его своеобразная проповѣдь сближенія съ народомъ, изученія особенностей русскаго народнаго духа по общему своему характеру совпадала съ общественнымъ настроеніемъ 70-хъ годовъ, которые такъ сильно были проникнуты народолюбіемъ. „Дневникъ писателя“ прекратился въ 1878 г. Достоевскій прекратилъ изданіе для того, чтобы всецѣло отдаться новой творческой работѣ—„Братьямъ Карамазовымъ“, послѣдному своему роману. Впрочемъ, въ 1880 и 1881 г.г. вышло еще по одному номеру. Въ первомъ изъ нихъ была напечатана рѣчь Достоевскаго, произнесенная въ Москвѣ на торжествахъ, сопровождавшихъ открытіе памятника Пушкину. Въ этой рѣчи Достоевскій говорилъ о Пушкинѣ, какъ о воплощеніи русскаго народнаго духа, указывалъ на изумительную способность нашего великаго поэта проникаться идеалами чуждыхъ народностей, воспринимать и перерабатывать ихъ. Эту способ-

ность Пушкинъ, по мнѣнію Достоевскаго, дѣлится со всѣмъ народомъ нашимъ, потому что русскій человѣкъ—„всечеловѣкъ“. Поэтому-то и суждено русскому народу сказать Европѣ новое слово: „сердце русское ко всемірному, ко всечеловѣчески-братскому единенію, можетъ быть, изъ всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено“...

Смерть застала Достоевскаго за приготовлениями къ работѣ надъ второй частью „Братьевъ Карамазовыхъ“. Онъ скончался 28 января 1881 г.

Литературная дѣятельность Достоевскаго, по своему идейному содержанію, можетъ быть раздѣлена на два періода: первый обнимаетъ собой время отъ появленія „Бѣдныхъ людей“ до половины 60-хъ годовъ, второй продолжался до конца жизни Достоевскаго. Произведенія перваго періода и по содержанію, и по духу всецѣло примыкаютъ къ беллетристичѣ 40-хъ и 50-хъ годовъ, находившейся подъ вліяніемъ Гоголя и посвящавшей свои силы изображенію преимущественно темныхъ сторонъ русской жизни съ точки зрѣнія гуманнаго общественнаго идеала. Таковы „Бѣдные люди“, гдѣ Макаръ Дѣвушкинъ подъ смѣшной наружностью забитаго чиновника скрываетъ неисчерпаемый запасъ нѣжной любви и самоотверженія, „Двойникъ“, герой котораго Голядкинъ, страдающій тѣмъ, что въ медицинѣ называется раздвоеніемъ личности, видитъ въ своемъ двойникѣ всю силу пошлой жизни, готовой его поглотить. Въ первые годы послѣ ссылки произведенія Достоевскаго носятъ тотъ же характеръ. Къ этому времени, кромѣ романа „Униженные и оскорбленные“, относятся „Записки изъ мертваго дома“, стоящіе особнякомъ среди прочихъ созданій Достоевскаго. Въ основу „Записокъ“ легли впечатлѣнія, вынесенныя писателемъ изъ годовъ каторжной жизни. Помимо бытовыхъ подробностей, дающихъ богатый матеріалъ для исторіи каторги, помимо цѣнныхъ наблюденій надъ каторгой, какъ средствомъ оздоровленія общественнаго организма, „Записки“ даютъ цѣлую галерею преступныхъ типовъ. Это въ громадномъ большинствѣ суровыя, энергичныя фигуры, изображенныя съ проникновенной силой всепрощенія, съ рѣдкимъ умѣньемъ отыскать человѣческія движенія души подъ толстой, съ виду иногда непроницаемой корой грубости, безсердечія, жестокости. Великій мастеръ изображенія человѣческой души уже ясно сказался въ „Запискахъ“, и мрачныя каторжныя герои Достоевскаго являются передъ читателемъ не съ упрощенной психологіей подкрашенныхъ романтическихъ разбойниковъ, а живыми людьми, со всѣми тонкими изгибами душевной жизни, особенно сложной въ преступной средѣ.

Обращаясь къ произведеніямъ Достоевскаго второго періода его дѣятельности, мы вступаемъ въ совершенно своеобразную область русской литературы. Насъ поражаетъ прежде всего самое построеніе его романовъ: они обычно загромождены массой подробностей и эпизодовъ, безъ всякой заботы о художественной цѣльности. Сюжеты страшно запутаны, порой до того, что нельзя себѣ дать яснаго отчета въ чисто внѣшнихъ обстоятельствахъ жизни того или другого лица; миңутами даже кажется, что авторъ выкинулъ нѣсколько эпизодовъ, не успѣвъ какъ слѣдуетъ обрѣзать нити, связывающія ихъ съ тѣмъ, что осталось („Подростокъ“, „Бѣсы“). Въ любомъ романѣ можно найти рядъ сценъ, совершенно немотивированныхъ и прямо невозможныхъ въ той жизни, которую изображаетъ Достоевскій (напримѣръ, въ „Идіотъ“ сцена на дачѣ кн. Мышкина послѣ его выздоровленія). Всѣ дѣйствующія лица, несмотря на разницу ихъ происхожденія и общественнаго положенія, говорятъ совершенно одинаковымъ языкомъ, — языкомъ самого Достоевскаго, то вялымъ и блѣднымъ, то, въ минуты душевнаго подъема, живымъ и страстнымъ.

Но эта шероховатая, порой неряшливая внѣшность, хаотическая загроможденность сюжетовъ совершенно исчезаетъ изъ поля зрѣнія читателя передъ поразительной силой глубокаго анализа человѣческой души. Это не тотъ психологическій анализъ, высокіе образцы котораго дала намъ русская литература въ произведеніяхъ Пушкина, Гоголя и ихъ ближайшихъ послѣдователей: тамъ мы имѣли изображеніе нормальной человѣческой души, всѣмъ доступныхъ, по опыту понятныхъ душевныхъ движеній, тогда какъ Достоевскій вскрываетъ передъ нами внутренній міръ людей или завѣдомо душевно-больныхъ, или — и это чаще всего — такихъ, которые все время колеблются на узкой чертѣ, отдѣляющей душевное здоровье отъ душевной болѣзни. Вслѣдствіе этого и тотъ матеріалъ, изъ котораго онъ создаетъ свои психологическія картины, берется имъ обыкновенно изъ темной, таинственной области человѣческой души, изъ области, которая у нормальныхъ людей находится за порогомъ сознанія, въ которой шевелятся дикія страсти, животныя инстинкты. Наряду съ силой и тонкостью психологическаго анализа произведенія Достоевскаго отличаются глубиной философскаго содержанія, въ оболочкѣ художественной формы ставя передъ читателемъ вопросы, вѣками мучающіе человѣчество, тѣ основные вопросы жизни, отъ того или иного рѣшенія которыхъ зависитъ смыслъ человѣческаго существованія.

Димитрій Карамазовъ („Братья Карамазовы“) говоритъ въ одной изъ лучшихъ сценъ романа: „Богъ задалъ однѣ загадки... Страшно много тайнъ! Слишкомъ много загадокъ угнетаютъ на землѣ человѣка... Разгадывай, какъ знаешь!“ И Достоевскій подходитъ безстрашно къ этимъ загадкамъ...

Первая и основная изъ роковыхъ загадокъ касается Того, Кто, по словамъ Димитрія Карамазова, эти загадки задалъ, — Бога. Достоевскій даетъ рядъ психологическихъ портретовъ людей, которыхъ „Богъ всю жизнь мучилъ“. Таковъ особенно Кирилловъ („Бѣсы“), настоящій мученикъ идеи о Богѣ. Всю ея важность онъ съ особенной яркостью выражаетъ въ послѣднія минуты жизни, говоря: „Если Богъ есть, то вся воля Его, и изъ Его воли я не могу. Если нѣтъ, то вся воля моя“... Онъ приходитъ къ выводу, что Бога нѣтъ, а „если нѣтъ Бога, то я богъ“. Этотъ выводъ кажется Кириллову величайшей побѣдой, дающей человѣку свободу въ полномъ смыслѣ слова. Кирилловъ кончаетъ жизнь самоубійствомъ, но въ его глазахъ этотъ ужасный актъ является своего рода побѣднымъ гимномъ, на весь мѣръ заявляющимъ объ освобожденіи человѣка. „Я обязанъ невѣріе заявить... Для меня нѣтъ выше идеи, что Бога нѣтъ. За меня человѣческая исторія. Человѣкъ только и дѣлалъ, что выдумывалъ Бога, чтобы жить, не убивая себя; въ этомъ всемірная исторія до сихъ поръ. Я одинъ во всемірной исторіи не захотѣлъ первый разъ выдумывать Бога. Пусть узнаютъ разъ навсегда“. Убивая себя, Кирилловъ желаетъ „заявить своеволие“ абсолютно свободнаго человѣка. Въ потрясающемъ, какомъ-то изступленномъ монологѣ Кирилловъ говоритъ: „Я убью себя самъ непременно, чтобы начать и доказать... Я еще только богъ поневолѣ—и я несчастенъ, ибо обязанъ заявить своеволие. Всѣ несчастны, потому что всѣ боятся заявлять своеволие... Но я заявляю своеволие, я обязанъ увѣровать, что не вѣрую. Я начну и кончу, и дверь отворю. И спасу... Я три года искалъ атрибутовъ божества моего и нашелъ: атрибутовъ божества моего—своеволие! Это все, чѣмъ я могу въ главномъ пунктѣ показать непокорность и новую, страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою“. Сумасшествіе и самоубійство Кириллова являются какъ бы его казнью за желаніе вмѣстѣ недопустимую для человѣка абсолютную свободу. Вопросъ о согласованіи воли Бога и свободной человѣческой воли, вопросъ о согласованіи необходимости и свободы только поставленъ, но не рѣшенъ въ „Бѣсахъ“.

Иванъ Карамазовъ („Братя Карамазовы“), — тоже мученикъ идеи о Богѣ, — подходит къ ней съ другой стороны, со стороны тѣхъ нравственныхъ послѣдствій, которыя связаны съ признаніемъ или непризнаніемъ Бога. Онъ готовъ „принять Бога“, но это „принятіе“ для него равносильно признанію міровой гармоніи, порядка, смысла жизни. Какъ же идетъ человѣчество къ осуществленію этой гармоніи, къ осуществленію цѣли Бога? Путемъ горя, страданій, слезъ... Противъ этого пути, противъ того, чтобы счастье будущихъ поколѣній строилось на несчастіи хотя бы одного только человѣка, нынѣ живущаго, протестуетъ, „бунтуетъ“, по его собственному выраженію, Иванъ. За что, наприимѣръ, въ мірѣ, долженствующемъ осуществить гармонію, страдаютъ дѣти? — спрашиваетъ онъ, рассказывая потрясающія сцены дѣтскихъ мученій. Онъ не находитъ отвѣта на этотъ вопросъ съ точки зрѣнія міровой гармоніи, предустановленной Богомъ, и говоритъ брату Алешѣ: „Я не Бога не принимаю, пойми ты это, — я міра, Имъ созданнаго, міра-то Божьяго не принимаю и не могу согласиться принять“. Онъ признаетъ, готовъ признать, что въ финалѣ осуществится всемірная гармонія, когда „все на небѣ и подъ землею сольется въ одинъ хвалебный гласъ, и все живое и жившее воскликнетъ: „Правъ Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!“ Ужь когда мать обнимется съ мучителемъ, растерзавшимъ псами сына ея, и всѣ трое возгласятъ со слезами: „Правъ Ты, Господи!“ — то ужъ, конечно, настанетъ вѣнецъ познанія и все объяснится“. Но эта грядущая гармонія не удовлетворяетъ Ивана. Вѣдь онъ самъ, страдающій, бунтующій, является для нея только средствомъ, а этого мало: онъ хочетъ видѣть и цѣль. „Мнѣ надо возмездіе“, говоритъ онъ: „иначе вѣдь я истреблю себя. И возмездіе не въ безконечности, гдѣ-нибудь и когда-нибудь, а здѣсь уже, на землѣ, и чтобъ я его самъ увидалъ. Я вѣровалъ, я хочу самъ и видѣть, а если къ тому часу буду уже мертвъ, то пусть воскресятъ меня, ибо если все безъ меня произойдетъ, то будетъ слишкомъ обидно. Не для того же я страдалъ, чтобы собой, злодѣйствами и страданіями моими унавожить кому-то будущую гармонію“. Да и дорого оцѣнили грядущую гармонію, „не по карману нашему вовсе столько платить за входъ. А потому свой билетъ на входъ спѣшу возвратить обратно. И если я только честный человѣкъ, то обязанъ возвратить его какъ можно заранѣе. Это я и дѣлаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билетъ Ему почтительнѣйше возвращаю“. Во всѣхъ этихъ разсужденіяхъ Ивана вопросъ о Богѣ сводится къ вопросу о томъ, какъ примирить существующее въ мірѣ зло съ идеей о всеблагомъ Создателѣ міра.

Безсильный примирить это противорѣчіе, Иванъ приходитъ къ отрицанію Бога и въ разговорѣ съ однимъ дѣйствующимъ лицомъ романа, Міусовомъ, развиваетъ вытекающія отсюда моральныя послѣдствія: „для каждаго честнаго лица, не вѣрующаго въ Бога, ни въ безсмертіе свое, нравственный законъ природы долженъ немедленно измѣниться въ полную противоположность прежнему, религіозному, и эгоизмъ, даже до злодѣйства, не только долженъ быть дозволенъ человѣку, но даже признанъ необходимымъ и чуть ли не благороднѣйшимъ исходомъ въ его положеніи“. Онъ слѣдуетъ своей теоріи и, полный неисчерпаемаго жизнелюбія, живетъ черствымъ эгоистомъ.

Его теорію Достоевскій подвергаетъ тяжелому испытанію. Ивана смутно влечетъ къ сближенію, къ философскимъ и религіознымъ разговорамъ съ Смердяковымъ, незаконнымъ сыномъ и слугой его отца. Эгоистическую проповѣдь Ивана Смердяковъ доводитъ до крайнихъ логическихъ предѣловъ, выражающихся словами: „все позволено“. Онъ примѣняетъ этотъ выводъ на дѣлѣ, убивъ старика Карамазова. Въ убійствѣ обвиняютъ, въ виду цѣлой сѣти сложныхъ случайностей, брата Ивана, Дмитрія. Тогда Смердяковъ медленно, недомолвками, намеками, наконецъ подробнымъ разговоромъ объ убійствѣ доводитъ Ивана до убѣжденія, что отца убилъ онъ, Смердяковъ, по соглашенію съ Иваномъ. „Потому“, говоритъ Смердяковъ, „и хочу вамъ въ сей вечеръ это въ глаза доказать, что главный убивецъ во всемъ здѣсь единый вы-съ, а я только самый неглавный, хотя его я и убилъ. А вы самый законный убивецъ и есть!“ Иванъ рѣшается на судъ сказать всю правду, но, придя домой, впадаетъ въ бредъ. Описаніе его занимаетъ цѣлую главу подъ названіемъ „Копшмаръ“. Въ бреду онъ бесѣдуетъ съ чортомъ, и тотъ рисуетъ ему картину того времени, когда человѣчество „отречется поголовно отъ Бога“. Тогда „человѣкъ возвеличится духомъ божеской, титанической гордости, и явится человѣко-богъ“, которому „будетъ все позволено“. Это будетъ неперемѣнно, но „такъ какъ, въ виду закоренѣлой глупости человѣческой, это, пожалуй, еще въ тысячу лѣтъ не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно какъ ему угодно, на новыхъ началахъ“. Какъ и Кирилловъ, Иванъ кончаетъ сумасшествіемъ, не вмѣстивъ отрицанія Бога.

И въ предсмертныхъ изліяніяхъ Кириллова, и въ исповѣди Ивана Карамазова брату, и въ его бредѣ вопросъ о Богѣ неотдѣлимъ отъ вопроса о человѣческой личности. Богъ и личность—это, въ сущности, двѣ стороны одной и той же религіозно-фи

лософской задачи, всегда мучительно занимавшей Достоевского. Въ романѣ „Преступленіе и наказаніе“ религиозная сторона задачи отходитъ на второй планъ, и вниманіе художника-философа сосредоточено, главнымъ образомъ, на анализѣ вопроса о чело-вѣческой личности.

Герой „Преступленія и наказанія“—бывшій студентъ Раскольниковъ, по недостатку средствъ принужденный выйти изъ университета, чело-вѣкъ замкнутый, сосредоточенный въ себѣ, гордый и самолюбивый, но въ глубинѣ души болѣющей не одними лишь личными горестями, а печальми всѣхъ обиженныхъ судьбой, униженныхъ и оскорбленныхъ. Случайно подслушанный разговоръ о старухѣ-ростовщицѣ, обирающей бѣдноту, заронилъ въ его надломленную нуждой и одиночествомъ душу мысль объ убійствѣ этой старухи. Съ силой болѣзненнаго навязчиваго представленія растеть и зрѣеть въ его душѣ мысль объ убійствѣ.

Съ перваго взгляда мотивами, приведшими, въ концѣ концовъ, Раскольникова къ убійству, являются стремленіе выкарабкаться изъ унижительной бѣдности и желаніе помочь горячо любимой матери и сестрѣ, но въ конечномъ итогѣ оба эти мотива покрываются третьимъ, неизмѣримо болѣе глубокимъ, основнымъ на принятой Раскольниковымъ философской теоріи относительности понятій добра и зла. По его мнѣнію, одни люди должны руководится этими понятіями, безусловно признавать ихъ обязательную силу, другіе могутъ „преступать“ ихъ. Первые—громадная, безличная масса обыкновенныхъ людей, матеріаль для созданія людей второй категоріи, „властелиновъ“, геніевъ, способныхъ сказать чело-вѣчеству „новое слово“. Таковъ, напри-мѣръ, для Раскольникова Наполеонъ. Кто же онъ самъ: „властелинъ“, или „тварь дрожащая“? Этотъ вопросъ терзаетъ душу Раскольникова. Послѣ долгой, мучительной борьбы съ заложеннымъ въ его душѣ инстинктомъ добра Раскольниковъ рѣшается на убійство, какъ на средство рѣшенія этого личнаго вопроса.

Онъ не выдержалъ испытанія, оказался „дрожащей тварью“... Съ поразительной силой психологическаго анализа рисуетъ Достоевскій картину душевнаго состоянія Раскольникова послѣ убійства, прослѣживая шагъ за шагомъ тотъ процессъ, который, въ концѣ концовъ, заставилъ убійцу отдаться въ руки правосудія. Между прочимъ, чувствуя непреодолимую потребность съ кѣмъ-нибудь подѣлиться своей ужасной тайной и тѣмъ снять хоть часть давившей его душу тяжести, Раскольниковъ идетъ къ Сонѣ, дѣвушкѣ „падшей“ съ точки зрѣнія обыденной морали, продающей себя, чтобы спасти отъ голодной смерти родныхъ.

Въ страстной, изступленной исповѣди Раскольниковъ, раскрывая сущность поставленнаго въ романѣ философскаго вопроса, говоритъ Сонѣ: „Я... я захотѣлъ осмѣлиться и убилъ... я только осмѣлиться захотѣлъ, Соня, вотъ вся причина!.. И неужели ты думаешь, что я не зналъ, на примѣръ, хоть того, что если ужъ началъ я себя спрашивать и допрашивать: имѣю ли я право власть имѣть?—то, стало быть, не имѣю права власть имѣть. Или что, если задаю вопросъ: вошь ли человѣкъ?—то, стало быть, ужъ не вошь человѣкъ для меня, а вотъ для того, кому этого и въ голову не заходить, и кто прямо безъ вопросовъ идетъ... Ужъ если я столько дней промучился: пошелъ ли бы Наполеонъ, или нѣтъ?—такъ вѣдь ужъ ясно чувствовалъ, что я не Наполеонъ... Всю, всю муку этой болтовни я выдержалъ, Соня, и всю ее съ плечъ стряхнуть пожелалъ: я захотѣлъ, Соня, убить безъ казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотѣлъ въ этомъ даже себѣ! Не для того, чтобы матери помочь, я убилъ—вздоръ! Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества. Вздоръ! Я просто убилъ; для себя убилъ, для себя одного; а тамъ сталъ ли бы я чѣмъ-нибудь благодѣтелемъ, или всю жизнь, какъ паукъ, ловилъ бы всѣхъ въ паутину и изъ всѣхъ живые соки высасывалъ, мнѣ, въ ту минуту, все равно должно было быть! Мнѣ другое надо было узнать, другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда, и поскорѣй узнать, вошь ли я, какъ всѣ, или человѣкъ? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмѣлюсь ли нагнуться и взять или нѣтъ? Тварь ли я дрожащая или право имѣю?“

Узнавъ ужасную правду, чистая сердцемъ Соня старается убѣдить Раскольникова, что онъ согрѣшилъ противъ своей нравственной природы, что ему надо искупить этотъ грѣхъ, „страданіе принять и искупить себя имъ“. „Пойди“, говоритъ она, „сейчасъ, сію же минуту, стань на перекресткѣ, поклонись, поцѣлуй сначала землю, которую ты осквернилъ, а потомъ поклонись всему свѣту, на всѣ четыре стороны, и скажи всѣмъ, вслухъ: я убилъ! Тогда Богъ опять тебѣ жизни пошлетъ“. Раскольниковъ слѣдуетъ совѣту Сони, но онъ исполняетъ его подъ вліяніемъ царящаго въ его душѣ хаоса, а не потому, что раздѣляетъ взгляды Сони на то, что имъ совершено. Во время слѣдствія, суда, отправленія на каторгу онъ продолжаетъ думать, что это онъ, Раскольниковъ, вошь и дрожащая тварь, не имѣющая смѣлости переступить, стать выше добра и зла, а должны быть такіе, которые смѣютъ и обязаны имѣть дерзновеніе. Лишь на

каторгѣ Раскольниковѣ нравственно возрождается, принявъ въ свое сердце любовь ко всѣмъ людямъ на основѣ христіанскаго пониманія добра. Постепенный ходъ нравственнаго возрожденія Раскольникова не показанъ намъ Достоевскимъ, и оно остается въ тѣни, блѣднѣетъ передъ изображеніемъ мятежной попытки Раскольникова „переступить“ нравственный законъ во имя идеала гордой, властной, на все дерзающей человѣческой личности.

Изслѣдуя глубины человѣческой души, Достоевскій съ особенной любовью останавливался на двухъ психологическихъ противорѣчіяхъ: на способности человѣка беззавѣтно любить и въ то же время мучить любимое существо, и на соединеніи въ одной и той же душѣ самаго низкаго нравственнаго паденія съ созерцаемъ возвышеннаго, чистаго идеала.

Во всѣхъ почти произведеніяхъ Достоевскаго можно найти отголоски перваго мотива. „Жестокимъ талантомъ“ назвалъ Михайловскій Достоевскаго за его почти болѣзненное пристрастіе къ мотиву любви, соединенной съ мучительствомъ, къ изображенію изысканныхъ человѣческихъ страданій, иногда совершенно излишнихъ для основнаго замысла произведенія. Второй мотивъ особенно ясно сказанъ въ разработкѣ образа Димитрія Карамазова. Это широкая натура, по опредѣленію обвиняющаго его прокурора, „способная совмѣщать въ себѣ всевозможныя противоположности и разомъ созерцать обѣ бездны: бездну надъ нами, бездну вышихъ идеаловъ, и бездну подъ нами, бездну самаго низкаго и зловоннаго паденія“. Почти тѣ же самыя слова Достоевскій вкладываетъ въ уста самаго Димитрія Карамазова во время его исповѣди брату Алешѣ. „Если ужъ полечу въ бездну“, говоритъ онъ, „то такъ-таки прямо, головой внизъ и вверхъ пятами, и даже доволенъ, что именно въ унижительномъ такомъ положеніи падаю и считаю это для себя красотой. И вотъ въ самомъ-то этомъ позорѣ я вдругъ начинаю гимнъ. Пусть я проклять, пусть я низокъ и подль, но пусть и я цѣлую край той ризы, въ которую облекается Богъ мой; пусть я иду въ то же самое время вслѣдъ за чортомъ, но я все-таки и Твой сынъ, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, безъ которой нельзя міру стоять и быть“. Говоря, что Богъ задалъ слишкомъ много загадокъ, Димитрій называетъ одну изъ нихъ, опредѣляя ее, какъ соединеніе въ одной душѣ „идеала Мадонны съ идеаломъ Содомскимъ“, низкаго разврата со способностью молитвенно созерцать чистую красоту. „Широкъ человѣкъ“, говоритъ онъ, „слишкомъ даже широкъ, я бы сузилъ. Чортъ знаетъ, что такое даже, вотъ что! Что уму представляется позоромъ, то сердцу сплошь красотой. Въ Содомѣ

ли красота? Вѣрь, что въ Содомѣ-то она и сидитъ для огромнаго большинства людей... Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тутъ дьяволъ съ Богомъ борется, а поле битвы—сердца людей“.

Таковы наиболѣе важныя философскіе и психологическіе мотивы произведеній Достоевскаго, на которыхъ основано его исключительное художественное значеніе, давно признанное и за предѣлами Россіи. Но есть въ его произведеніяхъ еще одна сторона, которой нельзя обойти молчаніемъ хотя бы уже по одному тому, что самъ Достоевскій придавалъ ей большое значеніе. Это сторона общественно-политическая. Мы уже упоминали, что Достоевскій, воспитанный въ кружкѣ Петрашевскаго на почвѣ соціального движенія сороковыхъ годовъ, впоследствии сдѣлался публицистомъ, старавшимся воскресить преданія славянофильства. Не довольствуясь для этого своей журнальной дѣятельностью, онъ переносилъ проповѣдь своихъ общественно-политическихъ взглядовъ и въ романы. Славянофильство, окрашенное мистицизмомъ,—вотъ сущность публицистическаго придатка къ художественнымъ произведеніямъ Достоевскаго, который онъ почти всегда старался связать съ психологіей своихъ героевъ, возводя ее для этой цѣли до степени психологіи національной. Особенно это замѣтно въ „Бѣсахъ“ и „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Наряду съ каррикатурнымъ изображеніемъ соціально-политическихъ теченій 40-хъ, 60-хъ и 70-хъ годовъ, Достоевскій проповѣдуетъ, что единой движущей силой прогресса является личность, очищенная и возвышенная путемъ страданія, что русскому народу, какъ народу богоизбранному, суждено осуществить великое историческое назначеніе. Сущность его заключается въ насажденіи во всемъ мірѣ истинъ христіанства, какъ онѣ даны въ православіи. Этимъ истинамъ преданъ и вѣренъ простой русскій народъ, на почвѣ ихъ и нужно съ нимъ слиться.

За самыя послѣдніе годы, когда религіозныя и философскіе вопросы съ исключительной силой охватили извѣстную часть русскаго общества, творчество Достоевскаго привлекаетъ къ себѣ особое вниманіе, вызвавъ появленіе ряда изслѣдованій объ этомъ своеобразномъ представителѣ русской литературы.

XXVI.

В. М. Гаршинъ. В. Г. Короленко.

В. М. Гаршинъ и В. Г. Короленко являются наиболѣе характерными представителями той группы русскихъ писателей, ко-

тору можно назвать младшим поколѣніемъ семидесятыхъ годовъ. Въ творествѣ того и другого нашелъ отраженіе одинъ изъ основныхъ вопросовъ идейной жизни семидесятыхъ годовъ,— вопросъ объ отношеніи личности къ процессу той жизни, участникомъ которой она осуждена быть. Оба писателя одинаково чувствуютъ великую важность этого вопроса, но рѣшеніе одного проникнуто глубокимъ пессимизмомъ, горькой скорбью, другой разрѣшаетъ проклятый вопросъ бодрымъ призывомъ къ жизни.

Биографія Всеволода Михайловича Гаршина очень несложна. Онъ родился 2 февраля 1855 г. въ дворянской семьѣ Екатеринославской губерніи. По окончаніи одной



М. В. Гаршинъ.

изъ петербургскихъ гимназій Гаршинъ поступилъ въ Горный институтъ, но курса тамъ не кончилъ, такъ какъ по объявленіи турецкой войны поступилъ вольноопредѣляющимся въ одинъ изъ полковъ, отправившихся въ дѣйствующую армію. Раненый въ ногу въ одномъ изъ сраженій, Гаршинъ вышелъ въ отставку. Вскорѣ послѣ этого въ „Отечественныхъ Запискахъ“ появился его рассказъ „Четыре дня“, навѣянный впечатлѣніями войны. Успѣхъ рассказа побудилъ Гаршина, всегда мечтавшаго о литературной дѣятельности, окончательно посвятить себя любимому дѣлу. Онъ успѣлъ написать очень немного,— всего 17 рассказовъ, но каждый изъ нихъ, въ полномъ смыслѣ слова, написанъ

кровью его сердца, отражаетъ его болѣзненно-чуткую, измученную сомнѣніями душу. Еще на гимназической скамьѣ замѣчались у Гаршина признаки душевной болѣзни. Послѣ войны припадки болѣзни участились, во время одного изъ нихъ онъ бросился съ лѣстницы четвертаго этажа и умеръ 19 марта 1888 г.

Въ рассказахъ Гаршина мало повѣствовательнаго, эпического элемента: они почти всѣ посвящены изображенію душевной жизни дѣйствующихъ лицъ, совпадающей съ переживаниями самого автора. А въ его хрупкой, нѣжной душѣ боролись противоположныя чувства: стремленіе къ самопожертвованію и отсутствіе вѣры въ конечный результатъ своего порыва, жажда борьбы со

зломъ и гуманное чувство, отвергающее насиліе, безъ котораго не можетъ быть никакой борьбы.

Глубокая гуманность составляла основу духовнаго облика Гаршина, и, отправляясь на войну, онъ подвергъ себя жестокому испытанію. О немъ говорятъ намъ рассказы „Четыре дня на полѣ сраженія“ и „Трусъ“. Герой перваго рассказа пошелъ на войну, ослѣпленный идеей настолько, что друзья и знакомые называли его юродивымъ. Его душа кротка и нѣжна: онъ безъ сердечной боли не можетъ вспоминать даже собачки, раздавленной конкой. Война сдѣлала его убійцей. Онъ лежитъ раненый на полѣ сраженія лицомъ къ лицу съ трупомъ убитаго врага, крадетъ съ его тѣла флягу съ водой, чтобы продлить собственную жизнь, наблюдаетъ, какъ пухнетъ и разлагается тѣло, лишенное имъ жизни, и думаетъ, думаетъ... „Предо мной лежитъ убитый мной человекъ. За что я убилъ его? Онъ лежитъ здѣсь мертвый, окровавленный... Я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ зла никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду подставлять свою грудь подъ пулю. И я пошелъ и подставилъ. Ну, и что же? Глупецъ, глупецъ!“...

Въ этомъ рассказѣ герой понялъ бессмыслицу войны, испыталъ противорѣчіе между самоотверженнымъ порывомъ и его конечнымъ результатомъ уже послѣ ужаснаго личнаго опыта. Въ другомъ положеніи находится герой рассказа „Трусъ“. Еще до того, какъ его взяли въ ополченіе, онъ представляетъ себѣ ужасы войны. Газетныя извѣстія съ сухими цифрами убитыхъ и раненыхъ приводятъ его въ содроганіе. Онъ знаетъ, что его могутъ взять въ ополченіе, и тогда онъ долженъ будетъ „взять на плечи ружье, идти умирать и убивать“. Привыкнувъ постоянно анализировать свои душевныя переживанія, онъ задается вопросомъ, не являются ли результатомъ трусости всѣ его сомнѣнія насчетъ войны. Онъ припоминаетъ всю свою жизнь, всѣ случаи, въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и, по совѣсти, не можетъ назвать себя трусомъ. Противъ войны говоритъ его нравственное чувство. И тѣмъ не менѣе онъ идетъ, не желая при помощи вліятельныхъ связей остаться въ Петербургѣ. Нравственная безгливость не позволяетъ ему даже думать о такихъ средствахъ самосохраненія, а главное—какой-то внутренній голосъ, нашедшій себѣ потомъ выраженіе въ словахъ одной хорошей дѣвушки, любимой его товарищемъ: „По-моему, война есть общее горе, общее страданіе, и уклоняться отъ нея, можетъ быть, и позволительно, но мнѣ это не нравится“. Есть

и еще мотивъ, побочный, привходящій, но чрезвычайно характерный для болѣзненного, надорваннаго творчества Гаршина: товарищъ героя умираетъ въ Петербургѣ отъ гангрены, умираетъ неожиданно, бессмысленно, словно говоря своей смертью: не все ли равно, гдѣ, какъ, изъ-за чего умереть?

Наряду съ глубокой, всепроникающей гуманностью въ Гаршинѣ жила и страстная потребность въ дѣятельной борьбѣ со зломъ жизни. Этимъ настроеніемъ продиктованъ образъ Рябинина въ рассказѣ „Художники“, оно же съ особой яркостью сказалось въ прекрасномъ рассказѣ „Красный цвѣтокъ“. Здѣсь изображенъ душевно-больной человѣкъ, принимающій алый цвѣтокъ въ больничномъ саду за воплощеніе всей суммы мірового зла. Съ ужасными страданіями, преодолевъ массу препятствій, несчастный срываетъ цвѣтокъ и, потративъ все свои силы на подвигъ, умираетъ, прижимая ко впалой груди побѣжденнаго врага. „Красный цвѣтокъ“ имѣлъ едва ли не самый большой успѣхъ изъ всѣхъ рассказовъ Гаршина: онъ такъ отвѣчалъ жаждѣ подвига, по которому тосковала русская молодежь въ сумеречные восьмидесятые годы!..

Но Гаршинъ былъ слишкомъ надломленъ, тяжелыя сомнѣнія въ торжествѣ добра, въ результатъ подвига обвѣвали тоской его душу, и меркнулъ въ ней страстный порывъ героя „Краснаго цвѣтка“. Это настроеніе гармонировало съ духомъ времени, совпадало съ нимъ, но оно лишь въ малой мѣрѣ вызывалось условіями окружавшей Гаршина жизни: его источникъ надо искать во врожденномъ пессимизмѣ, въ надломленной душевной организаціи писателя. Недаромъ наряду съ болѣзненной фантастикой „Краснаго цвѣтка“, этого гимна въ честь подвига, Гаршинъ написалъ сказку о „Томѣ, чего не было“, гдѣ говорится, какъ кучеръ своимъ сапогомъ раздавилъ насѣкомыхъ, толковавшихъ на лужайкѣ о своихъ дѣлахъ. Грустная улыбка, съ которой передана эта исторія, болѣзненная символика сказки словно говоритъ намъ, что такъ всегда и со всѣмъ бываетъ въ мірѣ слѣпой случайности. Пусть совершившій подвигъ не умретъ, подобно герою „Краснаго цвѣтка“, наполнится ли его душа радостью? Гордая пальма (въ рассказѣ „Attalea princeps“), томясь въ духотѣ оранжереи, рѣшила разрушить стеклянный куполъ своей тюрьмы, выбиться на свободу... Вотъ она выпрямила свою вершину въ пробитое отверстіе, увидѣла хмурое осеннее небо, сѣявшее мелкій дождь, и грустное раздумье овладѣваетъ ею. „Только-то?“—думала она.— „И это все, изъ-за чѣго я томилась и страдала такъ долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей цѣлью?“..

У Гаршина есть рассказ „Ночь“, довольно слабый по своимъ художественнымъ достоинствамъ, но интересный въ томъ отношеніи, что онъ представляетъ попытку какъ бы суммировать все переживанія надломленной души. Въ тоскѣ по иному душевному строю, простому, цѣльному, чуждому развѣдающаго самоанализа, герой рассказа восклицаетъ: „Нужно любить, и такъ любить, какъ любятъ дѣти... Обратиться и сдѣлаться, какъ дитя!.. Это значить, не ставить во всемъ на первое мѣсто себя! Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное Я, которое, какъ глисть, сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой пищи“...

Гаршинъ зналъ такіе порывы, но онъ, какъ никто другой, зналъ также, что трудно ихъ осуществить поколѣнію, больному чрезмѣрно развитой мыслью, усталому, „не знавшему юности“.

Около пяти лѣтъ тому назадъ русское общество съ рѣдкимъ единодушіемъ отпраздновало пятидесятый день рожденія Владимира Галактіоновича Короленко (род. 15 іюля 1853 г. въ г. Житомирѣ). Вскорѣ послѣ этого онъ принялся за автобіографію, которая печатается въ „Русскомъ Богатствѣ“ подъ заглавіемъ „Записки моего современника“. Въ томъ, что Короленко успѣлъ рассказать намъ о своемъ дѣтствѣ, нѣтъ ничего внѣшне-занимательнаго. Картины малороссійско-польской жизни въ Житомирѣ, Ровно и Дубно, фигура отца, — чиновника строгой, рѣдкой по тѣмъ временамъ честности, вспыльчиваго и властнаго, кроткій образъ матери, силуэты крѣпостныхъ, поляковъ-повстанцевъ, провинціальный пансіонъ съ чудаками-учителями, гимназія и товарищество, — все это лишь канва, на которой рукой большого мастера изображена духовная жизнь, нравственный ростъ богато одаренной личности, съ ея думами о Богѣ, о природѣ, о человѣкѣ, съ первыми запросами чуткой совѣсти по поводу житейскихъ впечатлѣній. Эта удивительная по своей поэзіи и правдѣ исповѣдь еще не кончена и едва подошла къ самому интересному моменту, — къ годамъ крылатой юности.

Изъ другихъ источниковъ, неизмѣримо болѣе сухихъ и скудныхъ, мы знаемъ, что послѣ смерти отца мать Короленко съ пятью дѣтьми осталась съ одной небольшой пенсіей, безъ всякихъ средствъ. Будущій писатель былъ въ это время въ V классѣ гимназіи. Героизмъ матери, мужественно борющейся съ нуждой, помогъ юношѣ кончить гимназію и въ 1871 г. поступить въ Технологическій институтъ. Только дружеская поддержка товарищей

дала возможность Короленко кое-какъ просуществовать три года въ Петербургѣ. Постоянная борьба изъ-за куска хлѣба мѣшала правильнымъ занятіямъ, и институтъ пришлось бросить. Въ 1874 г. Короленко перебрался въ Москву, выдержалъ экзамень на второй курсъ Петровской сельско-хозяйственной академіи, получилъ тамъ стипендію и, казалось, устроился благополучно. Но продолжалось это благополучіе недолго: въ 1876 г. Короленко былъ исключенъ изъ академіи, высланъ въ Вологодскую губернію, но по дорогѣ получилъ разрѣшеніе отправиться въ Кронштадтъ, гдѣ тогда жили его родные. Перебиваясь разной случайной работой то въ Кронштадтѣ, то въ Петербургѣ, Короленко въ 1879 г. дѣлаетъ первые



В. Г. Короленко.

литературные опыты. Одновременно съ этимъ возобновляются его подневольныя и на этотъ разъ довольно продолжительныя скитанія по Россіи. Сначала онъ попадаетъ въ г. Глазовъ Вятской губ., затѣмъ въ Томскъ, въ Пермь и, наконецъ, въ 1881 г. въ глушь Якутской области, гдѣ онъ пробылъ три года. Въ 1884 г. Короленко вернулся изъ ссылки въ Нижній-Новгородъ и прожилъ тамъ около десяти лѣтъ, полныхъ неустанной литературной и общественной дѣятельности, развернувшейся особенно широко въ первый голодный годъ. Съ 1900 г. Короленко живетъ частью въ Полтавѣ, частью въ Петербургѣ, гдѣ онъ

сначала вмѣстѣ съ Н. К. Михайловскимъ, а послѣ его смерти одинъ, редактируетъ „Русское Богатство“.

Годы сознательной юности и начало литературной дѣятельности Короленко совпадаютъ съ тѣмъ періодомъ русской жизни, когда семидесятники, преемственно продолжая работу людей предшествующаго десятилѣтія, такъ высоко поставили въ своемъ міросозерпаніи гармонически-развитую личность, которую разумъ, чувство и чуткая совѣсть направляютъ къ поискамъ двуединой правды: правды-истины и правды-справедливости. Эти стороны идейной жизни семидесятыхъ годовъ, главнымъ образомъ, и опредѣлили собой общій характеръ міросозерпанія Короленко, поскольку оно отразилось въ его произведеніяхъ.

Если бы нужно было возможно короче опредѣлить литературный обликъ Короленко, то можно было бы сказать лишь одно слово: гуманность, человѣчность. Его произведенія—это художественная исторія человѣчности, проникнутая думой о томъ, кто „созданъ для счастья, какъ птица для полета“.

Должно быть, не случайно Короленко помѣстилъ въ началѣ I тома своихъ „Очерковъ и разсказовъ“ разсказъ „Въ дурномъ обществѣ“. Во всякомъ случаѣ, изъ даты, поставленной въ концѣ разсказа, видно, что авторъ руководился не хронологическими соображеніями, или, пожалуй, они у него были, но только особаго свойства: изобразитель человѣчности чувствовалъ, что, отдавая на судъ общественный свои произведенія въ ихъ цѣломъ, ему естественнѣе всего во главѣ ихъ поставить разсказъ о томъ, какъ человѣчность пробудилась въ дѣтской душѣ. Содержаніе разсказа сводится къ тому, какъ судьба столкнула одинокаго, заброшеннаго отцомъ мальчика съ „дурнымъ обществомъ“, отъ котораго большинство отвернулось, которое прячется отъ людей и Божьяго свѣта въ глухомъ подземельѣ, гдѣ „сѣрый камень“ высасываетъ жизнь изъ хрупкаго тѣла Маруси. Въ отверженныхъ людяхъ, пьяницахъ, добывавшихъ себѣ средства къ жизни нечистымъ путемъ, мальчикъ нашелъ и доброе сердце, и ласку, и привѣтъ. Одинъ изъ отверженныхъ, Тыбурцій Драбъ, среди сѣрыхъ камней былъ уже не тѣмъ Тыбурціемъ Драбомъ, который для потѣхи пьяныхъ хохловъ и для добыванія пицци своей дѣвочкѣ произносилъ латинскія рѣчи и стихи. „Бывшій человѣкъ“ наверху, при свѣтѣ дня,—внизу, въ тускломъ свѣтѣ подземелья, онъ превращался въ настоящаго человѣка. Подъ вліяніемъ Тыбурція, его товарищей и дѣтей, Валека и Маруси, мальчикъ начинаетъ впервые задумываться надъ смысломъ жизни, надъ отношеніями между людьми. Недаромъ вблизи жилища „дурнаго общества“, на могилѣ Маруси, произносилъ авторъ разсказа свои обѣты, оставляя, полный жизни и надеждъ, свой родной городокъ.

Онъ вышелъ въ жизнь. Судьба кидаетъ его изъ края въ край нашей обширной родины. Онъ знаетъ крайній сѣверъ съ безконечной зимней ночью, съ холодами, замораживающими даже совѣсть, знаетъ Малороссію, далекіе раскольничьи скиты, знаетъ и сердце Великороссіи. И нигдѣ отъ его внимательнаго взора не ускользнулъ процессъ пробужденія человѣчности. Полудикій Макаръ („Сонъ Макара“) ведетъ тяжелую рабочую жизнь среди угрюмой тайги, безконечныхъ снѣговъ, долгой сѣверной ночи. Онъ лжетъ, обманываетъ, воруетъ съ простодушіемъ наивнаго

язычника, увѣреннаго, что хорошо то, что ему полезно. Отъ исправника, пока онъ видитъ только обиды. Онъ подавленъ, забить. Но вотъ, отуманенный дурманомъ якутской водки, онъ попадаетъ передъ очи великаго Тойона (Бога), и здѣсь впервые чувствуетъ себя человѣкомъ. Всколыхнулось въ глубинѣ его души лежавшее чувство человѣческаго достоинства, жажда правды и „стыдъ собственнаго существованія“. Первый разъ ясно понималъ Макарь, что „и онъ родился, какъ другіе,—съ ясными, открытыми очами, въ которыхъ отражались земля и небо, и съ чистымъ сердцемъ, готовымъ раскрыться на все прекрасное въ мірѣ. И если теперь (предъ лицомъ Тойона) онъ желаетъ скрыть подъ землею свою мрачную и позорную фигуру, то въ этомъ вина не его. А чья же? Этого онъ не знаетъ. Но онъ знаетъ одно, что въ сердцѣ его истоцилось терпѣніе“.

Въ длинной исторіи человѣчности, рассказанной намъ Короленко, пробужденіе въ человѣкѣ его „человѣческаго“ составляетъ первую ступень. Вторая ступень—правдоискательство. Оно привлекаетъ особенно пристальное вниманіе Короленко.

Въ той же далекой Сибири, гдѣ авторъ познакомился съ Макаромъ, судьба сталкиваетъ его съ Микешей („Государевы ямщики“). Это человѣкъ нѣсколько „порченный“, въ его душѣ царятъ какія-то сумерки сознанія, но и онѣ иногда прорѣзываются яркимъ лучомъ, освѣщающимъ то человѣческое, что скрыто на днѣ его души. Во время длиннаго пути у автора съ Микешей заходитъ разговоръ о вѣрѣ.

— Другіе говорятъ... никакой Богъ нѣту,—говоритъ Микеша, стараясь въ сумеркахъ уловить мой взглядъ.—Ты умный, бумага пишешь... Скажи,—можетъ это быть?

— Не можетъ быть, Микеша,—отвѣтилъ я съ невольной лаской въ голосѣ.—Мнѣ показалось, что онъ вздохнулъ съ облегченіемъ.

— Не можетъ быть! Враки! — подхватилъ онъ убѣжденно. И, поднявъ глаза къ темнымъ вершинамъ береговыхъ горъ или къ холодному небу, красиво, но безучастно сіявшему своими безчисленными огнями, и какъ бы отыскивая тамъ что-то, онъ прибавилъ просто:—Хоть худенькій-худой, ну, все еще сколько-нибудь дѣламъ-те править.

И авторъ наклоняется съ сѣдла, стараясь поймать взглядъ человѣка, только что обнажившаго передъ нимъ свою „ущербленную и тоскующую вѣру, угасающую среди этихъ равнодушныхъ камней“.

Микешѣ тоскливо... Его тянетъ на „бѣлый свѣтъ“. Привязанный къ станку, онъ пошелъ особымъ путемъ „за горы“, что от-

дѣляли его отъ обѣтованной земли: онъ пошелъ туда черезъ острогъ, связавшись съ бродягами. Онъ думалъ, что такъ его не достанутъ станичники-ямщики, смотрѣвшіе на него, какъ на свою собственность.

А вотъ еще искатель, бродяга Пановъ, сильная натура, таящая въ себѣ неистребимую жажду правды. Однажды въ одной съ нимъ партіи шелъ ссыльный интеллигентъ. Его книга случайно попадаетъ въ руки Панова, и онъ обращаетъ въ ней вниманіе на фразу, подчеркнутую синимъ карандашомъ: „Нашъ вѣкъ жадно ищетъ вѣры“.—Это вѣрно,—говоритъ Пановъ.—Что вѣрно?—спрашиваетъ его собесѣдникъ.—Справедливо здѣсь написано насчетъ вѣры.—Пановъ выпрашиваетъ себѣ эту книгу и читаетъ ее по вечерамъ, на грязныхъ нарахъ этапа, при свѣтѣ огарка. Но въ философской книгѣ не нашелъ бродяга утоленія своей жаждѣ вѣры и Бога. Онъ пробуетъ утолить ее водкой, и, пьяный, буйный и дерзкій, кричитъ владѣльцу книги:—Ва-а-просы!... Я, братъ, и самъ спрашивать-то мастеръ... нѣтъ, ты мнѣ скажи, долженъ я отвѣчать или нѣтъ, ежели моя линія такая... А то ва-а-просы!... На цыгарки я твою книгу искурилъ...

Тотъ, кто вышелъ на поиски за правдой, будетъ неустанно и громко заявлять о своихъ исканіяхъ, исповѣдывать обрѣтенную правду. Это третья ступень въ развитіи человѣчности. До нея добирается, хотя бы и ненадолго, подъ вліяніемъ вина и воспоминаній молодости, жалкій станціонный смотритель „Ать-Давана“, дерзнувшій вдругъ протестовать предъ лицомъ всемогущаго самодура.

Исповѣдуетъ свою правду, свой нравственный законъ, и Яшка „Въ подслѣдственномъ отдѣленіи“. Онъ дѣлаетъ это довольно своеобразно: неумолкаемымъ стукомъ въ дверь своей одиночной камеры. Авторъ спрашиваетъ его, зачѣмъ онъ стучитъ. Яшка, „съ какой-то обрядовой важностью въ голосъ отвѣчаетъ:—Стою за Бога, за великаго государя, за Христовъ законъ, за святое крещеніе, за все отечество и за всѣхъ людей...—Какая же польза отъ этого тебѣ?—Есть польза... Ты слушай ухомъ: стою за Бога, за великаго государя...,—и онъ цѣликомъ повторилъ свою тираду“. Авторъ понялъ тогда, что Яковъ не искалъ реальныхъ, осязательныхъ результатовъ отъ своего стучанія для того дѣла, за которое онъ „стоялъ“ столь неуклонно среди глухихъ стѣнъ и не менѣе глухихъ къ его обличеніямъ людей: онъ видѣлъ пользу въ самомъ фактѣ „стоянія“,—стало быть, поступалъ такъ для души.

Вотъ основные аккорды той пѣсни о человѣкѣ, которая неумолчно звучитъ со страницъ Короленковскихъ произведеній.

Въ ней есть и привходящіе мотивы, заслуживающіе вниманія. Въ своемъ мѣстѣ (гл. XVII) мы говорили о томъ, какъ волноваль семидесятниковъ вопросъ о взаимоотношеніи естественной необходимости и нравственной правды, правды-истины и правды-справедливости, какъ во имя послѣдней они бросили гордый вызовъ первой. Этого вопроса Короленко коснулся въ философской поэтической сказкѣ „Необходимость“. Онъ не мирится со стихійной необходимостью, съ желѣзными рамками дозволеннаго природой. „Пойдемъ ли мы направо“, говоритъ мудрецъ сказки своему другу: — „это будетъ согласно съ необходимостью. Пойдемъ ли мы налѣво, это тоже будетъ съ ней согласно. Развѣ ты не понялъ, другъ, что это божество (необходимость) признаетъ своими законами все то, что рѣшить нашъ выборъ? Необходимость не хозяинъ, а бездушный счетчикъ нашихъ движеній. Счетчикъ отмѣчаетъ лишь то, что было, а то, что должно быть, нуждается въ нашей волѣ для своего осуществленія. Значить, предоставимъ необходимости заботиться о себѣ, какъ она знаетъ. А сами выберемъ путь, который ведетъ туда, гдѣ живутъ наши братья“.

Отозвался Короленко и еще на одинъ волновавшій семидесятниковъ важный вопросъ, — на вопросъ объ отношеніи народа и интеллигенціи. Народъ вообще привлекаетъ къ себѣ его пристальное вниманіе. Большинство его правдоискателей взято изъ народной среды, правдоискателей изъ интеллигенціи у него сравнительно немного. Они изображены въ разсказѣ „Съ двухъ сторонъ“, въ неоконченной, къ сожалѣнію, повѣсти „Прохоръ и студенты“, да еще едва намѣчаетъ милый женскій образъ правдоискательницы разсказъ „Въ облачный день“. Вотъ почти всѣ произведенія, гдѣ вниманіе автора отдано героямъ изъ интеллигентной среды. Какъ и герои изъ народа, они ищутъ правды, но ихъ положеніе, пожалуй, тяжелѣе: ихъ печаль усугубляется сознаніемъ долга передъ народомъ и мыслью о той толстой, мрачной стѣнѣ, которая ихъ отъ него отдѣляетъ. Вѣками складывалась эта стѣна, камень за камнемъ, и самый громадный изъ нихъ — народное невѣжество. Въ одномъ изъ лучшихъ разсказовъ Короленко — „На затменіи“ — затронута эта тема съ тѣмъ сосредоточеннымъ раздумьемъ надъ ней, которое такъ характерно для людей семидесятыхъ годовъ въ отличіе отъ шестидесятниковъ писаревского толка. Прелестный по своимъ художественнымъ красотамъ разсказъ передаетъ, какъ встрѣтили и провели „день знаменья Господня“ жители маленькаго приволжскаго городка. Глухіе толки объ „остроумахъ“, нацѣлившихся въ небо диковинными трубами, объ „иностранныхъ народахъ“, пріѣхавшихъ на четы-

рехъ пароходахъ невѣдомо зачѣмъ, угрожающее настроеніе толпы по отношенію къ Гришкѣ, изъ-за денегъ погубившему душу и пошедшему въ сторожа къ трубамъ,—все исчезаетъ мгновенно, лишь только брызнула искра свѣта освобожденнаго солнца... Все, что авторъ видѣлъ въ утро этого дня, вызываетъ въ немъ грустное раздумье: „Сколько призрачныхъ страховъ носится еще въ сумеречныхъ туманахъ, нависшихъ надъ нашею святою Русью!.. Въ окнѣ хибарки мерцаль огонекъ лампадки, и пѣтухъ хрипло, въ первый разъ, прокричалъ свое кукареку, чуть слышно изъ-за стѣнки.

На святой Руси пѣтухи кричать,
Скоро будетъ день на святой Руси,—

—неизвѣстно откуда всплыло въ моей памяти прелестное двустишіе давно забытаго стихотворенія, отъ котораго такъ и дышитъ утромъ и разсвѣтомъ. —Охъ, скоро-ль будетъ день на святой Руси,—подумаль я невольнo,—тотъ день, когда разсѣются призраки, недовѣріе, вражда и взаимное недоумѣніе между тѣми, кто смотритъ въ трубы и изслѣдуетъ небо, и тѣми, кто только припадаетъ къ землѣ, а въ изслѣдованіи видитъ оскорбленіе грознаго Бога?“

Исполненные гуманности, какой-то своеобразной душевной деликатности въ изображеніи человѣческаго зла, задумчиво намекающіе на тайны, окружающія человѣка въ безбрежной громадѣ мірозданія (прелестный этюдъ „Ночью“), рассказы Короленко привлекаютъ еще одной особенностью его писательской манеры: онъ не прячется за кулисы созданныхъ имъ образовъ, онъ все время съ читателемъ, задумчиво-нѣжный и въ то же время мужественный. Это обстоятельство дало поводъ нѣкоторымъ критикамъ упрекать Короленко въ своего рода авторской назойливости, въ томъ, что онъ слишкомъ надоѣдливо стучится въ предполагаемое доброе сердце читателя. Упреки раздавались съ высью теоріи „свободнаго“, объективнаго творчества. Едва ли они сколько-нибудь убѣдительны для тѣхъ читателей, которые близко знакомы съ творчествомъ Короленко, которые знаютъ, что, читая его рассказы, иногда бываетъ трудно рѣшить, что намъ дороже: произведенія писателя или самъ писатель.

XXVII.

А. А. Фетъ. Н. А. Некрасовъ. С. Я. Надсонъ.

Въ произведеніяхъ Пушкина и Лермонтова русская поэзія вышла на самостоятельную дорогу и достигла своего полного

развитія. На образцахъ, данныхъ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, воспитывались всѣ слѣдующія поколѣнія русскихъ поэтовъ. При всемъ разнообразіи индивидуальныхъ особенностей, представители русской поэзіи послѣ-пушкинскаго періода могутъ быть раздѣлены на двѣ крупныя группы: на поэтовъ, въ творествѣ которыхъ преобладаетъ такъ называемое „чистое искусство“, и на поэтовъ, вдохновлявшихся „гражданскими мотивами“. Наибольше выдающимися представителями первой группы были $\Theta.$ И. Тютчевъ (1803—1873), А. Н. Майковъ (1821—1897), Я. П. Полонскій (1820 — 1898) и А. А. Фетъ; ко второй группѣ принадлежатъ Н. А. Некрасовъ, И. С. Никитинъ (1824 — 1861), А. Н. Плещеевъ 1825—1893) и др. Надо замѣтить, что вопросъ о „чистомъ искусствѣ“, или, какъ иногда говорятъ, объ „искусствѣ для искусства“, вызывавшій такіе ожесточенные споры въ 70-хъ годахъ, въ значительной степени былъ основанъ на недоразумѣніи, разъяснившимся лишь въ 80-ые годы.

Утвердивъ на почвѣ своего философскаго міросозерцанія значеніе личности, семидесятники требовали правды-истины для человѣка, правды-справедливости для человѣка и „искусства для человѣка“. Требованіе само по себѣ справедливое, но семидесятники ошиблись, не разграничивъ сферу его примѣненія къ личности художника — съ одной стороны, къ содержанію его творчества — съ другой. „Искусство для искусства“ въ примѣненіи къ личности художника, отгородившагося отъ міра, добровольно обузившаго свой кругозоръ, — несомнѣнно, явленіе отрицательное, но та же формула звучитъ, какъ единственно приемлема, когда мы примѣнимъ ее къ содержанію творчества, въ которомъ не властенъ никто, кромѣ свободнаго въ своемъ выборѣ художника. Въ послѣднемъ случаѣ она вполнѣ справедлива, какъ отрицаніе искусства тенденціознаго, обязаннаго, во что бы то ни стало, говорить только о человѣкѣ, его горестяхъ и радостяхъ.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы остановимся на трехъ поэтахъ послѣ-пушкинскаго періода: на А. А. Фетѣ, типичномъ представителѣ „чистаго искусства“, Н. А. Некрасовѣ, самомъ видномъ представителѣ поэзіи „гражданскихъ мотивовъ“, и на С. Я. Надсонѣ, пѣвцѣ сумеречныхъ восьмидесятихъ годовъ.

Аванасій Аванасьевичъ Фетъ родился въ 1820 г. въ имѣніи своего отца, А. Н. Шеншина, въ Мценскомъ уѣздѣ, Орловской губерніи и тамъ же провелъ свое дѣтство. Фамилію свою онъ получилъ отъ матери-нѣмки. Послѣ предварительной подготовки дома и потомъ въ двухъ пансіонахъ, въ Лифляндіи и Москвѣ, Фетъ поступилъ

въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ, перейдя впоследствии на словесный. По окончаніи университета, Фетъ 11 лѣтъ прослужилъ офицеромъ; въ 1856 г. онъ вышелъ въ отставку, купилъ имѣніе и поселился въ немъ. Здѣсь, въ занятіяхъ хозяйствомъ, нашли себѣ примѣненіе его практическія наклонности. Въ 1863 г. онъ издалъ собраніе своихъ стихотвореній въ двухъ томахъ, послѣ чего его поэтическая дѣятельность надолго ослабѣваетъ, такъ какъ онъ былъ увлеченъ хозяйственными заботами, увеличившимися послѣ покупки второго имѣнія. Къ этому времени относятся печатавшіяся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ его „Письма изъ деревни“, въ которыхъ онъ съ нескрываемымъ недоброжелательствомъ относится къ общественнымъ теченіямъ 60-хъ годовъ. Съ начала 80-хъ годовъ Фетъ снова вернулся къ поэтической дѣятельности. Новыя свои стихотворенія Фетъ издавалъ отдѣльными выпусками подъ названіемъ „Вечерніе огни“. Скончался Фетъ 21 ноября 1892 г.



А. А. Фетъ.

„Поэтомъ мгновенія“ называли Фета. И дѣйствительно, сила его творчества заключается въ удивительномъ, никѣмъ изъ русскихъ поэтовъ не превзойденномъ умѣннн схватывать и передавать мгновенья, неуловимыя, смутныя движенія души. Онъ самъ прекрасно выразилъ эту особенность своего творчества, сказавъ, что у поэта—

... крылатый слова звукъ

Хватаетъ на лету и закрѣпляетъ вдругъ

И темный бредъ души, и травъ неясный запахъ.

Улавливая мгновенныя движенія человѣческой души, Фетъ часто останавливается въ той области чувства, гдѣ никакого опредѣленнаго содержанія еще нѣтъ, гдѣ есть лишь его безформенный зародышъ. Въ такіе моменты творчества его поэзія сливается съ музыкой, и какъ нельзя подвергнуть логическому анализу музыкальную пьесу, какъ трудно словами передать ея содержаніе, такъ же трудно сдѣлать это со многими стихотвореніями Фета.

Какъ у лирика чистой воды, любовь и природа составляютъ одни изъ главныхъ мотивовъ стихотвореній Фета. Его любовная лирика проникнута свѣтлымъ, жизнерадостнымъ настроеніемъ, не слабѣвшимъ съ годами старости, и иногда отмѣчена легкимъ налетомъ чувственности, особенно въ пьесахъ, навѣянныхъ образцами классической литературы. И здѣсь сказывается характерная особенность Фета — умѣнье передать безграничность лирическаго порыва, не облекшагося еще въ опредѣленные формы, сдѣлать поэзію музыкой.

Ты мелькнула, ты предстала—
Снова сердце задрожало...
Подъ чарующіе звуки
То же счастье, тѣ же муки,
Слышу трепетныя руки,—
Ты еще со мной!

Ты руки моей коснулась,—
Разомъ сердце вострепелось...
Не туда, въ то горе злое,—
Я несусь въ мое былое,
Я на все, на все иное
Отпылалъ, погухъ!..

Попробуйте передать это стихотвореніе прозой, — получится пустое мѣсто, потому что въ немъ музыка стиха неотдѣлима отъ сокровенной музыки содержанія. Попробуйте подвергнуть его строгому логическому разбору, — вы найдете въ немъ много странностей, потому что къ музыкѣ такой разборъ не приложимъ, потому что слово часто бессильно въ передачѣ смутныхъ душевныхъ движеній. Недаромъ Фетъ въ страстномъ порывѣ, томимый „памятью былого“, восклицалъ:

О, если бъ безъ слова
Сказаться душой было можно!

Недаромъ многія его стихотворенія — плѣнительныя загадки, говоряція бѣглыми намеками, отрывочными восклицаніями.

По тонкому пониманію природы, по умѣнью прочувствовать и передать всю ея, иногда неуловимую, красоту Фетъ занимаетъ едва ли не первое мѣсто среди русскихъ поэтовъ. Безконечно разнообразны нарисованные имъ пейзажи. „Печальная береза“, опушенная инеемъ, „одинокій бѣгъ“ саней по снѣжной равнинѣ, „серебряныя змѣи“, ползущія отъ вѣтра по сугробамъ, „свѣжій и чистый“ сѣверный май, лѣтніе вечера и ночи, когда „зрѣетъ рожь надъ жаркой нивой“, когда „цвѣты глядятъ съ тоской влюбленной“, — все это нашло себѣ у Фета вдохновенное выраженіе, облеченное въ изумительно музыкальную форму. Только осеннихъ пейзажей мало у этого жизнерадостнаго лирика, больше всего любившаго знойное, дышащее полнотою жизни лѣто.

Обыкновенно Фетъ не только изображаетъ природу, но связываетъ свою поэтическую картину съ тѣмъ или инымъ душев-

нымъ настроеніемъ, заставляя отзываться на него читателя.
Вотъ прекрасный образчикъ такого стихотворенія:

Буря на морѣ вечернемъ,	Буря на морѣ и думы—
Моря сердитаго шумъ,	Хоръ возрастающихъ думъ;
Буря на морѣ и думы —	Черная туча за тучей.
Много мучительныхъ думъ.	Моря сердитаго шумъ.

Созвучныя струны дрожатъ въ природѣ и въ душѣ человѣка.
Между ними нѣтъ бездны, нѣтъ границы. Природа живетъ, и
душа поэта чувствуетъ связь между собою и этой жизнью, нетлѣнной,
вѣчной.

Какъ нѣжишь ты, серебряная ночь,
Въ душѣ разсвѣтъ нѣмой и тайной силы!
О, окрыли, и дай мнѣ превозмочь
Весь этотъ тлѣнъ, бездушный и унылый!
Какая ночь! Алмазная роса
Живымъ огнемъ съ огнями неба въ спорѣ;
Какъ океанъ, разверзлись небеса,
И спитъ земля, и теплится, какъ море.
Мой духъ, о ночь! какъ падшій Серафимъ,
Призналъ родство съ нетлѣнной жизнью звѣздной,
И, окрыленъ дыханіемъ твоимъ,
Готовъ летѣть надъ этой тайной бездной.

Есть у Фета рядъ стихотвореній, въ которыхъ онъ выразилъ
свои взгляды на красоту, на искусство, на поэзію. Красота въ
міровоззрѣніи Фета не является чѣмъ-то относительнымъ, но
имѣетъ вполне самостоятельное значеніе:

Кому вѣнецъ: богинѣ-ль красоты
Иль въ зеркалѣ ея изображеню?
Поэтъ смущенъ, когда дивишься ты
Богатому его воображеню:
Не я, мой другъ, а Божій міръ богатъ,
Въ пылинкѣ онъ лепѣтъ жизнь и множитъ,
И, что одинъ твой выражаетъ взглядъ,
Того поэтъ пересказать не можетъ.

Улавливать разлитую повсюду красоту, чарами искусства
связывать мгновенныя явленія жизни съ вѣчной, нетлѣнной
красотой, — вотъ долгъ поэта. Исполняя его, онъ долженъ быть
абсолютно свободенъ отъ всякихъ преходящихъ условій мѣста и
времени. Уже старикомъ, обращаясь къ посѣтившей его музѣ,
Фетъ говорилъ:

Пришла и съла. Счастливъ и тревоженъ
Ласкательный твой повторю стихъ;
И если даръ мой предъ тобой ничтоженъ,
То ревностью не ниже я другихъ.

Заботливо храни твою свободу,
Непосвященныхъ я къ тебѣ не звалъ,
И рабскому ихъ буйству я въ угоду
Твоихъ рѣчей не осквернялъ.
Все та же ты, завѣтная святыня,
На облакѣ, незримая землѣ,
Въ вѣнцѣ изъ звѣздъ, нетлѣнная богиня,
Съ задумчивой улыбкой на челѣ.

Долгое время поэзія Фета находила себѣ признаніе и справедливую оцѣнку лишь въ тѣсномъ кругу тонкихъ знатоковъ, среди которыхъ достаточно назвать хотя бы Тургенева. За послѣдніе годы, подъ вліяніемъ молодой русской поэзіи, интересъ къ Фету захватилъ болѣе широкій кругъ читателей. Эстетическіе грѣхи семидесятниковъ, къ нулю сводившихъ значеніе Фета, забыты, и одинъ изъ величайшихъ русскихъ лириковъ восстановленъ въ своихъ непререкаемыхъ правахъ.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ родился 22 ноября 1821 г. Онъ былъ сынъ помѣщика Ярославской губерніи, когда-то богатаго, но потомъ разорившагося. Будучи на военной службѣ, отецъ Некрасова познакомился съ семьей польскаго помѣщика За-кревскаго, влюбился въ его дочь и женился на ней противъ воли ея родителей. Бракъ этотъ былъ несчастливъ, такъ какъ отецъ Некрасова создалъ въ семьѣ атмосферу дикаго помѣщи-чьяго произвола, кутежей, издѣвательства надъ крестьянами и домашними. Образъ матери всегда рисовался поэту въ трогательныхъ краскахъ страдальцы, безропотно несшей свой крестъ. Невесело было дѣтство Некрасова. Вспоминая о немъ, онъ писалъ:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой,
Я росъ среди буйныхъ дикарей,
И мнѣ дала судьба по милости великой
Въ руководители—псарей.

Крѣпостная жизнь со всѣми ея ужасами, среди которыхъ—

... Рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ

Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ,

—оставила тяжелыя воспоминанія въ чуткой душѣ поэта.

Отданный въ Ярославскую гимназію, Некрасовъ былъ исключенъ изъ пятаго класса. Отецъ отправилъ пятнадцатилѣтняго мальчика въ Петербургъ для поступленія въ одинъ изъ военныхъ корпусовъ. Подъ вліяніемъ случайной встрѣчи съ однимъ

товарищем Некрасовъ задумалъ вмѣсто корпуса поступить въ университетъ. Узнавъ объ этомъ, отецъ разсердился и лишилъ сына матеріальной поддержки. Для Некрасова наступили тяжелые дни. Иногда онъ, въ буквальномъ смыслѣ слова, голодалъ. „Ровно три года“,—вспоминалъ онъ объ этомъ времени впоследствии,—„я чувствовалъ себя каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я уходилъ въ одинъ трактиръ, гдѣ давали читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь бывало для виду газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“. Всѣ эти невзгоды тяжело отозвались на здоровьѣ Некрасова, но зато развили въ немъ энергію, житейскую практичность.

При такихъ обстоятельствахъ готовиться къ университету было довольно трудно, и Некрасовъ провалился на одномъ изъ экзаменовъ. По совѣту ректора университета онъ записался вольнослушателемъ и въ теченіе двухъ лѣтъ посѣщалъ университетъ въ качествѣ вольнослушателя. Жилъ онъ уроками и случайной литературной работой. Въ 1840 году Некрасовъ издалъ стихотворный сборникъ подъ названіемъ „Мечты и звуки“. Онъ состоялъ изъ произведеній фантастическаго, романтическаго характера, совершенно чуждыхъ основному тону дарованія Некрасова, успѣха не имѣлъ и былъ встрѣченъ суровой отповѣдью Бѣлинскаго.

Литературныя занятія сблизили Некрасова съ писательскими кругами. Познакомился онъ и съ Бѣлинскимъ, который сдѣлался восторженнымъ поклонникомъ поэта, прочтя его стихотвореніе „Въ дорогѣ“. Рядъ сборниковъ („Физиологія Петербурга“, „Первое апрѣля“, „Петербургскій сборникъ“), которые Некрасовъ сталъ издавать съ 1843 г., сумѣвъ привлечь въ нихъ такія крупныя силы, какъ Достоевскій, Тургеневъ, Григоровичъ и др., положилъ начало матеріальному благополучію Некрасова. Въ 1847 г. Некрасовъ вмѣстѣ съ Панаевымъ купилъ право на изданіе журнала „Современникъ“. Въ короткое время Некрасовъ поднялъ журналъ на большую высоту. Особеннымъ вліяніемъ „Современникъ“ пользовался во вторую половину 50-хъ годовъ. Къ этому же времени относится расцвѣтъ дѣятельности Некрасова, какъ поэта. Въ 1856 году онъ издалъ собраніе своихъ стихотвореній, которое имѣло огромный успѣхъ.

Въ 1866 г. „Современникъ“ подвергся запрещенію, а два года спустя Некрасовъ арендовалъ у Краевскаго „Отечественныя Записки“, которыя и велъ до самой своей смерти вмѣстѣ съ

М. Е. Салтыковымъ. Вторая половина жизни Некрасова не богата внѣшними фактами. Зиму онъ обыкновенно жилъ въ городѣ, а остальное время преимущественно въ деревнѣ, увлекаясь охотой, цѣлые дни проводя среди природы, бесѣдуя съ крестьянами, набираясь впечатлѣній и мотивовъ для своихъ пѣсенъ. Некрасовъ скончался послѣ долгихъ и тяжкихъ мученій 30 декабря 1878 г.

Народная жизнь—вотъ главное содержаніе поэзіи Некрасова. Какъ поэтъ, онъ писалъ 38 лѣтъ, съ 1840 по 1878 г. Изъ этого времени 21 годъ приходится на время до 19 февраля 1861 г., когда

Въ отвѣтъ стenanіямъ народа

Мысль русская стонала въ полутонъ.

Немудрено, что мало веселаго въ его пѣсняхъ, посвященныхъ изображенію народной жизни. Поруганная личность крестьянина возбуждаетъ въ немъ чувство глубокой жалости („Огородникъ“, „Псовая охота“, „Вино“). Безъ сердечной боли не можетъ онъ говорить о „русской долюшкѣ женской“. Слышанная въ дѣтствѣ бурлацкая пѣсня, „подобная стону“, и теперь щемить его душу тоской („На Волгѣ“). Чувство боли за народъ становится все острѣе по мѣрѣ того, какъ увеличивается запасъ наблюденій поэта. Онъ уѣзжаетъ изъ деревни, но и подъ хмурымъ петербургскимъ небомъ его преслѣдуютъ все тѣ же страдальческіе образы въ лицѣ извозчика-крестьянина или сѣрой, сермяжной толпы съ котомками за плечами, которая уныло стоитъ у „параднаго подъѣзда“.

Поэтъ пережилъ радостное возбужденіе русскаго общества при вѣсти объ освобожденіи миллионovъ рабовъ:

Я видѣлъ свѣтлый день,—въ Россіи нѣтъ раба,

И слезы сладкія я пролилъ въ умиленъѣ.

Но безпокойная мысль сейчасъ же задаетъ вопросъ:

Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?

Отвѣтъ можно было дать только отрицательный, и муза Некрасова съ новой силой стала пѣть о страданіяхъ „терпѣньемъ изумляющаго народа“.

Къ этому времени относятся два крупнѣйшихъ произведенія Некрасова съ сюжетами изъ народной жизни: поэмы „Морозъ-красный носъ“ и „Кому на Руси жить хорошо“. Въ первой поэмѣ въ лицѣ Дарьи, потерявшей мужа и оставшейся вдовой съ малыми дѣтьми, Некрасовъ хотѣлъ изобразить типъ „величавой славянки“, идеаль физически и нравственно прекрасной женщины изъ народа. Лучшее мѣсто поэмы—грезы замерзающей въ

лѣсу Дарьи. Передъ ней въ яркихъ образахъ проносится вся ея прошлая жизнь съ бодрой работой, тихими радостями. Воспоминанія далекаго прошлаго переплетаются со сценами только что пережитого горя, пока Морозъ-воевода не переноситъ Дарью въ міръ фантастическихъ грезъ, постепенно усыпляя ее сномъ вѣчнаго покоя.

Поэма „Кому на Руси жить хорошо“, въ силу цензурныхъ условій, появилась въ печати далеко не въ полномъ видѣ. Принимаясь за работу надъ ней, Некрасовъ хотѣлъ изобразить всю русскую жизнь въ тотъ моментъ, когда порвавшіеся цѣпи рабства ударили „однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику“. По словамъ Г. И. Успенскаго, поэту хотѣлось использовать здѣсь весь запасъ своихъ наблюденій надъ народной жизнью. Содержаніе поэмы сводится къ тому, какъ нѣсколько мужиковъ поспорили о томъ, „кому живется весело, вольготно на Руси“. Поспорили, подрались и пошли искать счастливаго человѣка. Они искали его вездѣ: среди духовенства, помѣщиковъ, солдатъ, крестьянъ, искали среди мужчинъ, женщинъ, должны были даже побесѣдовать съ самимъ царемъ: въ одномъ изъ невошедшихъ въ поэму отрывковъ говорится, что мужики попали въ число загонщиковъ на царской охотѣ, видѣли царя,—

Смотрѣли, любовались
И съ умиленьемъ думали:
—Дойдемъ и до тебя!—

Мужички не нашли счастливаго человѣка, но самъ поэтъ знаетъ его: это тотъ, кто любитъ свою родину, готовъ отдать ей всѣ свои силы, тотъ, въ чьей душѣ слагаются —

Звуки лучезарные гимна благороднаго.

Не равнодушно, не безстрастно рисовалъ Некрасовъ свои поэтическія картины. Онъ всегда съ читателемъ, тоскующій, изрѣдка улыбающійся и всегда помогающій отыскать причину людскаго горя. Не только живое чувство, но и вѣчно бодрствующая мысль живутъ въ его стихахъ, идутъ рука объ руку. Печальная картина дѣйствительности вызвала щемящее чувство. Мысль ищетъ причину, породившую эту дѣйствительность. Причина найдена,— и новое чувство выливается въ пѣснѣ: злоба на тѣ условія, среди которыхъ возможна такая дѣйствительность, на людей, поддерживающихъ эти условія; горькій сарказмъ надъ „самодовольными болтунами, охотниками до споровъ модныхъ“,—

Гдѣ много благородныхъ словъ,
А дѣлъ не видно благородныхъ,

надъ „рыцарями добраго стремленья и безпутнаго житья“, надъ „народолюбцами“, проявляющими свои народныя симпатіи въ балетѣ,—и до боли, до физической боли мучительное чувство собственной вины передъ народомъ, сознание своего неоплатнаго долга ему и ничтожности того, что въ уплату этого долга сдѣлано. Прибавьте сюда еще всю жизнь мучившее Некрасова сознание, что—

Пѣснь его бесплодно прозвучала,
И до народа не дошла она...

Такой поэтъ не могъ быть безстрастнымъ фотографомъ дѣйствительности, и не пустой фразой были его слова:

Я, когда начну писать,
Перестаю и спать, и ѣсть.

Бывали рѣдкія мгновенія, когда злоба и боль затихали въ сердцѣ Некрасова:

Злобою сердце питаться устало:
Много въ ней правды, да радости мало.

Въ такія минуты другіе, примиряющіе звуки раздавались въ его пѣсняхъ.

Крѣпкими узами связанный съ родиной, никогда не отрывавшійся отъ интересовъ дѣйствительности, поэтъ въ этой же родной дѣйствительности находилъ отраду и примиреніе. Прежде всего и больше всего его бодрила, давала силу для жизни въра въ свой народъ, въ могучія силы, въ немъ заложенныя,—которыя только ждутъ благоприятныхъ условій, чтобы развернуться во всю свою ширь. Онъ раздѣлялъ съ Кротомъ („Несчастные“) его вѣру:

Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней..
...Въ ея груди
Бѣжитъ потокъ, живой и чистый,
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ:
Такъ подъ корою Сибири льдистой
Золотоносныхъ много жилъ.

Въ тишинѣ, наступившей послѣ грома севастопольскихъ пушекъ („Тишина“), Некрасову видится не признакъ сна, а полное надежды раздумье передъ „правдой, блеснувшей въ глаза Россіи“.

Въ эти бодря минуты даже Агаринъ („Саша“), „современный герой“, повторяющій въ новой обстановкѣ образъ Рудина, герой, который—

Книжки читаетъ да по свѣту рыщетъ,
Дѣла себѣ исполинскаго ищетъ,

который „въ разговорахъ все время проводить“,—въ минуты бодрости даже такой человекъ не вызываетъ у Некрасова ни злобы, ни язвительнаго сарказма:

Сѣть онъ все-таки доброе сѣмя.

Да и падаетъ его сѣмя въ добрую почву, въ чуткую женскую душу, что не любить фразъ, а хочетъ дѣла. А гдѣ-нибудь вблизи той же деревенской усадьбы, гдѣ въ душѣ Саши, подъ влияніемъ рѣчей Агарина, пробудились новыя мысли и чувства, бредеть по песчаной дорогѣ, межъ ельника, мальчикъ. Онъ идетъ учиться, и радостная пѣсня поэта провожаетъ его („Школьникъ“). Въдь этотъ школяръ далъ ему рѣдкую минуту счастья, заставилъ вспомнить многихъ „славныхъ, добрыхъ, благородныхъ, сильныхъ любящей душой“, вышедшихъ изъ народа.

Былъ у Некрасова и еще источникъ бодрости душевной: свѣтлая мгновенья въ прошломъ родины, воплощенные въ личностяхъ декабристовъ („Дѣдушка“), ихъ женъ („Русскія женщины“), показавшихъ всю высоту самоотверженной женской души, въ личностяхъ Бѣлинскаго, Добролюбова, Грановскаго. Трудно придумать болѣе прочувствованную, мѣткую и сжатую характеристику Бѣлинскаго, чѣмъ эти пять строчекъ:

Наивная и страстная душа,
Въ комъ помыслы прекрасные кипѣли,
Упорствуя, волнуясь и спѣша,
Ты честно шелъ къ одной высокой цѣли,
Кипѣлъ, горѣлъ — и быстро ты угасъ.

И Бѣлинскаго, и Добролюбова Некрасовъ цѣнилъ больше всего за то, что они отдали себя на служеніе родинѣ. Обращаясь къ памяти Добролюбова, поэтъ говоритъ:

Какъ женщину, ты родину любилъ,
Свои труды, надежды, помышленья
Ты отдалъ ей; ты честныя сердца
Ей покорялъ.

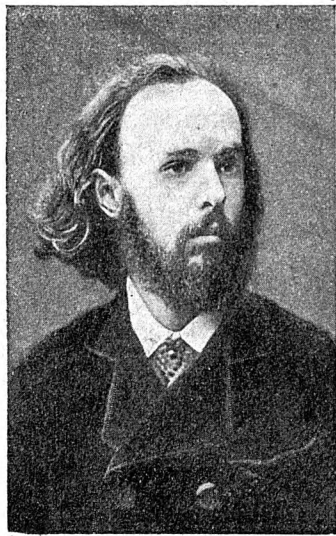
Некрасовъ считалъ своимъ долгомъ напоминать объ этихъ славныхъ именахъ: онъ зналъ короткую память толпы, зналъ, что часто—

... Съ дерева невѣдомаго плодъ,
Безпечные, безопасно мы вкушаемъ.
Намъ дѣла нѣтъ, кто возрастилъ его,
Кто посвящалъ ему и трудъ, и время.

Много нападокъ вызывала и вызываетъ до сихъ поръ поэзія Некрасова. Еще не такъ давно Л. Н. Толстой обмолвился о ней очень нелестно. Дѣло доходило до полнаго отрицанія поэтическаго дарованія Некрасова. Доказывать, что Некрасовъ по-

еть, тому,—кому онъ кажется сухимъ и прозаичнымъ, дѣло трудное и, думается намъ, бесполезное. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, докажешь всю прелесть Некрасовскаго пейзажа, совершенно своеобразнаго, всегда почти грустнаго, но никогда не расплывчатаго, написаннаго въ ясныхъ, увѣренныхъ тонахъ? Какъ доказать подкупающую искренность чувства и прелесть его выраженія въ такихъ стихотвореніяхъ, какъ „Заунывный вѣтеръ“... „Давно отвергнутый тобою“, „Разбиты всѣ привязанности“, „Бьется сердце безпокойное“ и многія другія? Есть, впрочемъ, у Некрасова одно произведеніе, поэтической силы котораго не могутъ не признать даже враги поэта: это „Рыцарь на часъ“. Тутъ все соединилось: бьющій черезъ край, захватывающій лиризмъ, изумительный пейзажъ, словно обдающій васъ бодримъ холодомъ осенней ночи, сосредоточенная энергія выраженія,—все, что въ суммѣ даетъ настоящую поэзію. Эта „покаянная пѣсня“ Некрасова, безспорно, лучшая вещь изъ всего, имъ написаннаго. Ея одной было бы достаточно, чтобы отвести Некрасову видное мѣсто среди русскихъ поэтовъ.

Семень Яковлевичъ Надсонъ родился 14 декабря 1862 г. въ Петербургѣ. Рано лишившись отца-еврея, онъ остался на попеченіи нѣжно его любившей матери,



С. Я. Надсонъ.

происходившей изъ русской дворянской семьи. Дѣтство свое Надсонъ провелъ отчасти въ Кіевѣ, гдѣ его мать добывала средства къ жизни учительскимъ трудомъ, отчасти въ Петербургѣ. Побывавъ сначала въ классической гимназій, потомъ въ кадетскомъ корпусѣ, Надсонъ затѣмъ кончилъ курсъ въ Павловскомъ военномъ училищѣ и былъ произведенъ въ офицеры. Въ 1884 г. онъ оставилъ военную службу, къ которой никогда не чувствовалъ призванія, и сталъ работать въ качествѣ секретаря въ редакціи газеты „Недѣля“. Разстроенное здоровье заставило Надсона покинуть Петербургъ и уѣхать за границу. Страшно тоскуя по родинѣ, онъ вернулся въ Россію и умеръ въ Ялтѣ 19 января 1887 г.

Поэзія Надсона по основнымъ своимъ мотивамъ, по проникающему ея настроенію всецѣло примыкаетъ къ прозѣ Гаршина. Душевный разладъ—вотъ ея сущность.

Въ стихотвореніи „Поэтъ“ („Пусть пѣснь твоя звучитъ“...) онъ рисуеъ два образа: поэта-гражданина и поэта-пѣвца чистой красоты. Опредѣляя сущность собственнаго поэтическаго призванія, Надсонъ все время колеблется между этими двумя образами. „Радуга цвѣтовъ, разлитая въ природѣ“, міръ фантастическихъ грезъ, мечты о счастья любви, чары „золотой весны“ влекутъ къ себѣ его музу, но голосъ совѣсти твердитъ ему о его долгѣ—

Служить другимъ, бороться и любить.

Въ ряды активныхъ борцовъ онъ стать не можетъ: среди нихъ онъ—

... не боець суровый,
А только стонущій, усталый инвалидъ,
Сморящій съ завистью на ихъ вѣнецъ терновый.

Нѣтъ у него и оружія, нужнаго для суровой битвы. Ему не дано огненнаго слова:

Безсиленъ слабый голосъ мой,
Моя душа къ борьбѣ готова,
Но нѣтъ въ ней силы молодой...
Въ груди—безплодное рыданье,
Въ устахъ—мучительный упрекъ,
И давить сердце мнѣ сознанье,
Что я—я рабъ, а не пророкъ.

Надсонъ дѣйствительно рабъ сомнѣній: то онъ вѣритъ въ торжество добра, въ то, что—

...настанетъ пора—и погибнетъ Ваальъ,
И вернется на землю любовь,

то приходитъ къ безнадежному выводу:

Пусть лется кровь волной и царствуетъ порокъ:
Добро ли, зло-ль вокругъ,—забвенье и могила—
Вотъ цѣль конечная и міровой итогъ!

Въ сферѣ чисто личныхъ переживаній, чуждыхъ вопросовъ общественныхъ и философскихъ, у Надсона тоже нѣтъ спокойныхъ, примиряющихъ звуковъ. Вѣчно работающая мысль, безпощадный самоанализъ убиваютъ всякое непосредственное чувство. Любимой женщиной поэтъ говоритъ:

Какъ хирургъ, довѣряющій только ножу,
Я лишь мысли одной довѣряю,
Я съ вопросомъ и къ самой любви подхожу...

И любовь, мелькнувшая на мгновение, уходитъ, оставивъ въ душѣ поэта смутное сознание, что онъ въ ласковомъ взглядѣ любимой женщины взялъ „что-то чужое безъ спроса“.

При всѣхъ нервныхъ, болѣзненныхъ колебаніяхъ Надсона, отразившихъ душевный разладъ молодежи эпохи безвременья, въ его поэзіи есть извѣстная опредѣленность въ смыслѣ устойчивости общаго гуманнаго настроенія. Это обстоятельство, въ связи съ подкупающей искренностью лирики Надсона, и создали такой рѣдкій успѣхъ его стихотвореніямъ, несмотря на то, что по размѣрамъ своего таланта Надсонъ принадлежитъ къ числу поэтовъ второстепенныхъ.

XXVIII.

А. П. Чеховъ.

Антонъ Павловичъ Чеховъ родился 17 января 1860 г. въ Таганрогѣ, гдѣ онъ сначала учился въ церковной греческой школѣ, а потомъ въ классической гимназій. По окончаніи гимназій Чеховъ поступилъ на медицинскій факультетъ Московскаго университета. Съ нимъ вмѣстѣ переѣхала въ Москву вся семья, матеріальное положеніе которой въ это время было очень незавидно. Чтобы поддержать своихъ домашнихъ, Чеховъ принялся за литературную работу, сдѣлавшись сотрудникомъ юмористическихъ журналовъ и мелкихъ газетъ. Писать приходилось насѣхъ, къ опредѣленному сроку и въ опредѣленномъ размѣрѣ, и поденная литературная работа доставляла Чехову много тяжелыхъ минутъ. Въ 1884 г. Чеховъ кончилъ курсъ со званіемъ врача и первое время думалъ заняться медицинской практикой. Но литературная работа уже слишкомъ успѣла его захватить, и его медицинская дѣятельность носила въ общемъ совершенно случайный характеръ.

Въ 1886 г. въ положеніи Чехова, какъ писателя, произошла важная перемѣна: благодаря Д. В. Григоровичу, Чеховъ попадаетъ на страницы „Новаго Времени“ и въ силу этого становится извѣстнымъ большой публикѣ. Въ 1890 г. Чеховъ отправился на Сахалинъ. Результатомъ этой поѣздки былъ капитальный трудъ подъ заглавіемъ „Островъ Сахалинъ“. Это сочиненіе произвело сенсацію и вызвало правительственную ревизію каторги.

Въ 1892 г. Чеховъ приобрѣлъ себѣ небольшое имѣнье въ Серпуховскомъ уѣздѣ Московской губерніи. Много работая въ тиши и уединеніи своего любимаго уголка, Чеховъ живо интересовался мѣстными дѣлами, былъ близокъ съ крестьянами, лѣчилъ ихъ



А. П. Чеховъ.

и съ любовью заботился о деревенскихъ школьныхъ дѣлахъ. Онъ прожилъ въ имѣніи недолго, такъ какъ начавшаяся чахотка заставила его переѣхать на югъ, въ Ялту.

Изъ Крыма Чеховъ по временамъ, какъ только позволяло ему здоровье, дѣлалъ поѣздки въ столицы, особенно въ любимую имъ Москву. Въ Москву тянуло его, между прочимъ, и потому, что здѣсь, на сценѣ Художественнаго театра, ставились его пьесы.

Медленно и упорно завоевывалъ Чеховъ свою извѣстность. Когда талантъ его развернулся во всей своей силѣ, онъ сдѣлался не только извѣстенъ, знаменитъ: онъ сталъ предметомъ искренней любви своихъ читателей, словно пріобщивъ ихъ силою таланта къ своей обвѣянной грустью жизни.

Скончался Чеховъ 2 іюля 1904 г. за границей, въ Баден-вейлерѣ.

Въ литературной дѣятельности Чехова можно различить три періода. Первый изъ нихъ характеризуется юмористическими рассказами, обыкновенно очень небольшими, часть которыхъ была потомъ собрана подъ именемъ „Пестрыхъ рассказовъ“, а въ собраніи сочиненій разсѣяна въ первыхъ томахъ. Это рядъ случайныхъ, иногда заразительно веселыхъ, иногда прямо каррикатурныхъ сценъ, выхваченныхъ изъ обыденной жизни. На первый взглядъ, взятые порознь, они представляются какими-то мелкими осколками, не дающими понятія объ общемъ характерѣ того цѣлага, которое на эти осколки разсыпалось. Но стоитъ поближе къ нимъ приглядѣться, прочесть ихъ одинъ за другимъ, какъ все внѣшне смѣшное, каррикатурное отойдетъ куда-то въ сторону, обнаживъ передъ нами трагизмъ пошлой обыденщины, цѣпкими щупальцами охватывающей жизнь обывателей, — не людей, а именно обывателей, какъ любилъ говорить Чеховъ. Все здѣсь мелко и пошло: и чиновникъ, который, неосторожно чихнувъ, забрызгалъ важное лицо и умеръ отъ страха („Смерть чиновника“); и власть толстаго кармана, дающая просторъ безобразіямъ его обладателя и вызывающая хамское подобоострастіе „интеллигенціи“ („Маска“); и хмурая, захолустная жизнь, доводящая до желанія, „чтобы всѣмъ стало скучно и чтобы всѣ почувствовали, какъ ничтожна, плоска эта жизнь“, особенно тѣ слабые, надъ которыми можно издѣваться безпрепятственно („Мужъ“).

Во второй періодъ своей дѣятельности, завоевавъ себѣ извѣстность, перейдя изъ юмористическихъ журналовъ въ „большую литературу“, Чеховъ изображаетъ все тотъ же трагизмъ „жизни

обывательской, жизни презрѣнной⁴. Разница лишь въ томъ, что заразительное веселье исчезло, настроеніе писателя стало болѣе однотонно, рисуется онъ картины болѣе широкія, и талантъ его развернулся во всей своей силѣ. Тѣмъ неотразимѣе было впечатлѣніе отъ произведеній этого періода, оставлявшихъ въ душѣ читателя осадокъ безнадежнаго пессимизма, отчаянія передъ гнетущей пошлостью жизни.

Тонъ жизни даетъ посредственность, умственное и нравственное ничтожество; въ человѣческой душѣ безсильно добро, благодаря чему ею безраздѣльно овладѣваетъ пошлость; идеальныя стремленія не поднимаютъ человѣка: своимъ контрастомъ съ пошлостью-побѣдительницей они только заставляютъ его безсильно страдать въ сознаніи своей нравственной гибели, — вотъ во что прежде всего раскрывается формула чеховскаго пессимизма. Она сложилась въ сумеречные восьмидесятые годы, когда такъ сильно давала себя знать общественная усталость послѣ безрезультатной борьбы предшествующаго десятилѣтія, когда одна часть интеллигенціи переживала болѣзненное сознаніе безсилія осуществить свой идеалъ, другая отеклась отъ всякаго идеала. Это обстоятельство осложняетъ формулу чеховскаго пессимизма элементомъ временнымъ и мѣстнымъ и даетъ указаніе на одну изъ причинъ самаго ея возникновенія. Не весь Чеховъ второй половины его литературной дѣятельности объясняется общественными условіями и идейными переживаниями восьмидесятыхъ годовъ, но не покрываетъ цѣликомъ его творческой личности и формула пессимизма, такъ сказать, общечеловѣческаго, стоящаго внѣ связи съ условіями даннаго мѣста и времени. Два встрѣчныхъ вліянія, разнящихся по своей глубинѣ, но однотонныхъ по существу, опредѣлили основную черту личности Чехова, какъ писателя.

Жизнь, созданная торжествующей пошлостью, мелка, скучна, неинтересна и жестока. „Зачѣмъ эта ваша жизнь“, — говоритъ отцу герой „Моей жизни“, — „которую вы считаете обязательною и для насъ, — зачѣмъ она такъ скучна, такъ бездарна, зачѣмъ ни въ одномъ изъ этихъ домовъ, которые вы строите вотъ ужъ тридцать лѣтъ, нѣтъ людей, у которыхъ я могъ бы поучиться, какъ жить, чтобы не быть виноватымъ? Во всемъ городѣ ни одного честнаго человѣка! Эти ваши дома — проклятыя гнѣзда, въ которыхъ сживаютъ со свѣта матерей, дочерей, мучаютъ дѣтей... Городъ нашъ существуетъ уже сотни лѣтъ, и за все время онъ не далъ родинѣ ни одного полезнаго человѣка, ни одного! Вы душили въ зародышѣ все мало-мальски живое и яркое! Городъ

лавочниковъ, трактирщиковъ, канцеляристовъ, ханжей, ненужный, бесполезный городъ, о которомъ не пожалѣла бы ни одна душа, если бы онъ провалился сквозь землю!“

Въ грязной тинѣ пошлости живутъ счастливые, вполне спокойные люди, но нельзя подумать объ ихъ счастьѣ безъ примѣси горькаго чувства... „Какъ въ сущности много довольныхъ, счастливыхъ людей!“—читаемъ мы въ рассказѣ „Крыжовникъ“,— „какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильныхъ, невѣжество и скотоподобіе слабыхъ, кругомъ бѣдность невозможная, тѣснота, вырожденіе, пьянство, лицемеріе, вранье... Между тѣмъ во всѣхъ домахъ и на улицахъ спокойствіе; изъ пятидесяти тысячъ, живущихъ въ городѣ, ни одного, который бы вскрикнулъ, громко возмутился... Мы видимъ тѣхъ, которые ходятъ на рынокъ за провизіей, днемъ ѣдятъ, ночью спятъ, которые говорятъ свою чепуху, женятся, старятся, благополучно тащатъ на кладбище своихъ покойниковъ, но мы не видимъ и не слышимъ тѣхъ, которые страдаютъ, и то, что страшно въ жизни, происходитъ гдѣ-то за кулисами“...

Въ сумеркахъ жизни, среди хмурыхъ людей, молча страдающихъ, наряду съ сытыми и всегда спокойными, есть люди, душа которыхъ знавала когда-то страстную борьбу добра со зломъ, идеальныхъ порывовъ со властью обыденщины. Но они забыли это время, вспоминаютъ о немъ случайно и рѣдко. Таковъ „Юнычъ“, постепенно превратившійся въ пріобрѣтателя, растерявшій все, что когда-то согрѣвало его душу. Таковъ Николай Еврафовичъ („Супруга“), подъ властью пошлой женщины опошлившій самъ, въ минуты душевной встряски недоумѣвающей, какъ это онъ, „добродушный семинаръ“, могъ вѣрить, что „компанія хищниковъ“, въ лицѣ его жены, тещи и тещи, „дастъ ему и поэзію, и счастье, и все то, о чемъ онъ мечталъ, когда еще студентомъ пѣлъ пѣсню: Не любить—погубить значитъ жизнь молодую“.

Среди произведеній второго періода литературной дѣятельности Чехова видное мѣсто занимаетъ „Ивановъ“, драма, въ художественномъ отношеніи не свободная отъ крупныхъ недостатковъ, но интересная тѣмъ, что она показываетъ тѣсную связь творчества Чехова съ эпохой 80-хъ годовъ. На фонѣ пошлой провинціальной жизни передъ нами проходитъ душевная жизнь Иванова, типичнаго восьмидесятника. Ему всего тридцать пять лѣтъ. Не такъ давно, въ годы исчезнувшей юности, онъ былъ „неутомимъ, бодръ, горячился, работалъ,... говорилъ такъ, что трогалъ до слезъ даже невѣжды, умѣлъ плакать, когда видѣлъ горе, возмущался, когда встрѣчалъ зло... Зналъ, что значитъ вдохновеніе,

зналъ прелесть и поэзію такихъ ночей, когда отъ зари до зари сидишь за рабочимъ столомъ“... А теперь онъ можетъ говорить только „жалкія слова“, заниматься безъ усталы анализомъ своей души да произносить въ назиданіе молодежи такія проповѣди: „Всю жизнь стройте по шаблону. Чѣмъ сѣрѣе и монотоннѣе фонъ, тѣмъ лучше. Голубчикъ, не воюйте вы въ одиночку съ тысячами, не сражайтесь съ мельницами, не бейтесь лбомъ о стѣны... До хранить васъ Богъ отъ всевозможныхъ рациональныхъ хозяйствъ, необыкновенныхъ школъ, горячихъ рѣчей... Запритесь себѣ въ свою раковину и дѣлайте свое маленькое, Богомъ данное дѣло... Это теплѣе, честнѣе и здоровѣе. А жизнь, которую я прожилъ—какъ она утомительна! Ахъ, какъ утомительна!“ Въ этихъ словахъ весь смыслъ образа Иванова, какъ типичнаго восьмидесятника: тутъ и признаніе, что „наше время—не время широкихъ задачъ“, и проповѣдь малыхъ дѣлъ, и защита „постепенности“.

„Ивановъ“ вызвалъ много толковъ. Болѣзненно чуткая къ общественнымъ вопросамъ публика отождествила Чехова съ его героемъ, сдѣлала изъ писателя защитника идеаловъ сумеречной эпохи. Надо сказать, что обычная для Чехова непосредственность, полное отсутствіе тенденціозности, желанія въ художественной формѣ выразить свое общественное міросозерцаніе въ „Ивановѣ“ ему нѣсколько измѣнили: невольно чувствуется, что авторъ на что-то нападаетъ, что-то защищаетъ...

„Ивановъ“ въ этомъ отношеніи—исключеніе среди произведеній Чехова, непосредственно отражающихъ идейную жизнь 80-хъ годовъ. Въ другихъ рассказахъ этого рода („Моя жизнь“, „Пари“, „Новая дача“, „Случай изъ практики“) Чеховъ является только художественнымъ историкомъ своего времени.

Въ первую половину 90-хъ годовъ въ творчествѣ Чехова стали звучать новые мотивы, проникнутые своеобразнымъ оптимизмомъ. Все настойчивѣе и настойчивѣе изъ устъ разныхъ дѣйствующихъ лицъ мы слышимъ слова о грядущей лучшей жизни. „Настанутъ лучшія времени!“—воскликаетъ Громовъ („Палата № 6“),—„возсіяетъ заря новой жизни, восторжествуетъ правда, и—на нашей улицѣ будетъ праздникъ! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Привѣтствую ихъ отъ всей души и радуюсь за нихъ!“—„Жизнь тяжела“,—разсуждаетъ Вершининъ въ „Трехъ сестрахъ“,—„она представляется многимъ изъ насъ глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснѣе и легче, и, повидимому, недалеко то время, когда она станетъ совсѣмъ свѣтлой“. Мы, теперь живущіе,

какъ говорилъ Громовъ, не увидимъ этой свѣтлой жизни, но пусть послужить намъ утѣшеніемъ то, что „страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ... Счастье и миръ настанутъ на землѣ, и помянутъ добрымъ словомъ и благословятъ тѣхъ, кто живетъ теперь“...

Вѣра въ прогрессъ,—вотъ какъ можно формулировать эти и имъ подобныя заявленія чеховскихъ героевъ. Въ нихъ звучить, сказали мы, своеобразный оптимизмъ. И дѣйствительно, это оптимизмъ отчаянія, это соломенка, за которую хватается безнадежно гибнущій, давно намъ знакомый Иванъ Карамазовъ, лишенный, въ соотвѣтствіи съ духомъ времени, энергіи и силы. „Буду работать! буду работать!“—твердитъ Тузенбахъ („Три сестры“), то же самое говорятъ Соня и Войницкій („Дядя Ваня“), но въ ихъ словахъ не бодрый призывъ къ труду во имя блага грядущихъ поколѣній, а крикъ истерзанныхъ людей, жаждущихъ счастья для себя и сейчасъ, для которыхъ трудъ—болеутоляющее средство, дурманъ, въ тяжеломъ угарѣ уносящій отъ пошлой жизни, отъ мучительныхъ думъ...

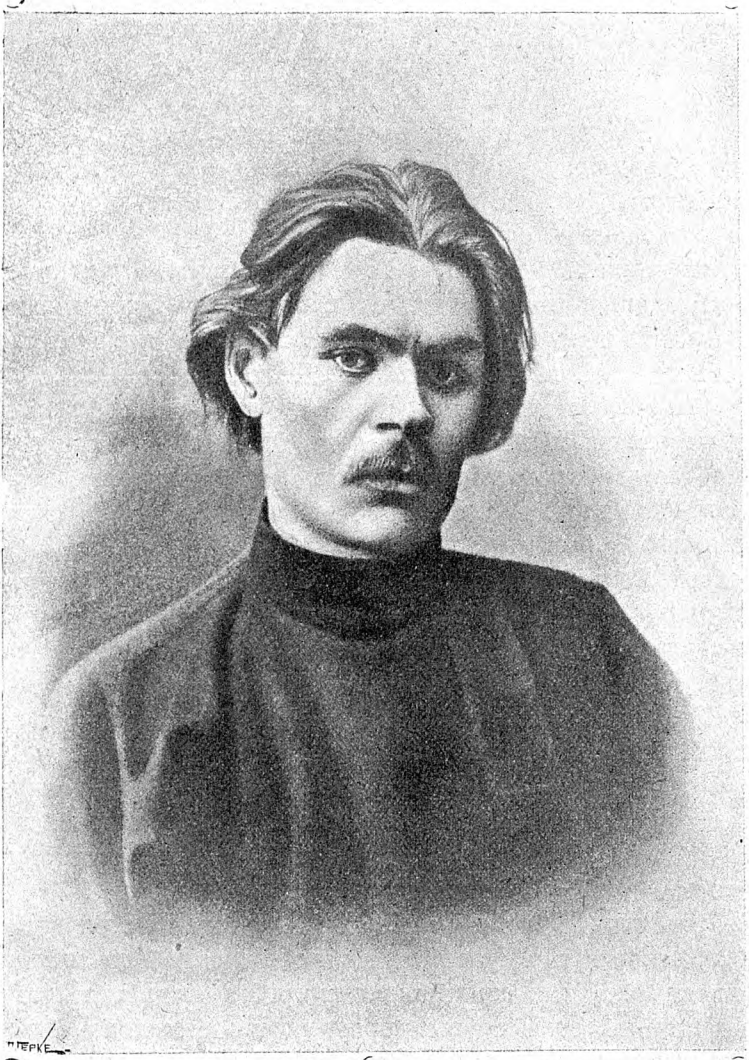
Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, основные мотивы творчества Чехова. Оно неотразимо привлекаетъ къ себѣ не только глубиной и искренностью проникающей его скорби, но и прелестью формы, простой, естественной, лишенной всего условнаго и въ то же время совершенно своеобразной, какъ своеобразна мелодія Чайковского или краски Левитана,—двухъ художниковъ, которыхъ такъ любилъ Чеховъ.

XXIX.

Максимъ Горькій.

Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ, пишущій подъ псевдонимомъ Максима Горькаго, родился 14 марта 1868 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ. Семейная обстановка, въ которой проходило дѣтство Горькаго, была неблагоприятна для его развитія. Отца, который былъ красильщикомъ, мальчикъ лишился на пятомъ году жизни; мать вскорѣ вышла вторично замужъ, передавъ сына на руки дѣду. Дѣдъ выучилъ внука читать по часослову и опредѣлилъ его въ школу, откуда онъ по болѣзни вышелъ черезъ пять мѣсяцевъ. Съ восьмилѣтняго возраста, послѣ смерти матери и разоренія дѣда, началась трудовая жизнь мальчика, съ постоянными переходами отъ одного ремесла къ другому, бѣгствомъ отъ хозяевъ и всевозможными злостью. Побывалъ онъ въ магазинѣ обуви „мальчикомъ“ на побѣгушкахъ, жывалъ ученикомъ у чер-

тежника, иконописца, служилъ поваренкомъ на пароходѣ и т. д. Пятнадцати лѣтъ Горькій сдѣлалъ попытку поступить въ одно изъ учебныхъ заведеній Казани, предполагая, по его собственнымъ словамъ, что „науки желающимъ даромъ преподаются“.



Максимъ Горькій.

Оказалось, что „оное не принято“, и Горькій вновь начинаетъ тянуть трудовую лямку, мѣняя одно занятіе на другое, дѣлаясь то булочникомъ, то продавцомъ кваса, то поденнымъ рабочимъ въ пароходной пристани.

Въ этотъ-то именно періодъ своей жизни онъ имѣлъ возможность особенно близко изучить міръ босяковъ, „бывшихъ людей“. Его рассказы изъ этого міра („Коноваловъ“, „Мой спутникъ“, „Дѣло съ застѣжками“, „Бывшіе люди“ и др.) въ значительной степени имѣютъ автобіографическій характеръ, давая понятіе не только о внѣшней обстановкѣ жизни будущаго писателя, но и о его душевныхъ переживаніяхъ. Безъ устали работая, Горькій въ то же время пользовался каждой свободной минутой, чтобы присѣсть за книжку, почитать и поразмыслить надъ прочитаннымъ. Среди своихъ товарищей, рабочаго люда всякаго возраста и всякихъ спеціальностей, онъ всегда находилъ внимательныхъ слушателей и интересныхъ собесѣдниковъ.

Послѣ долгихъ мытарствъ Горькій поступилъ писемоводителемъ къ одному нижегородскому присяжному повѣренному, который, по словамъ самого писателя, имѣлъ „неизмѣримо огромное вліяніе“ на его образованіе. Почувствовавъ себя „не на своемъ мѣстѣ среди интеллигенціи“, Горькій въ 1890 г. ушелъ путешествовать. Обойдя Поволжье до Царицына, исходивъ Донскую область, Малороссію, побывавъ въ Бессарабіи, онъ попадаетъ въ Тифлисъ. Въ 1892 г. въ мѣстной газетѣ „Кавказъ“ онъ напечаталъ первый свой рассказъ „Макаръ Чудра“.

Вскорѣ Горькій вернулся въ родные края, на Волгу. Здѣсь онъ познакомился съ В. Г. Короленко. „Онъ“, говоритъ Горькій „очень много сдѣлалъ для меня; многое указалъ, многому научилъ“. Въ 1895 г. его рассказъ „Челкашъ“ появился въ „Русскомъ Богатствѣ“, и начинающій писатель быстро пріобрѣтаетъ громкую извѣстность, перешедшую далеко за предѣлы Россіи. Вскорѣ изъ „Русскаго Богатства“ и „Русской Мысли“ (тамъ былъ напечатанъ его очеркъ „Ошибка“), Горькій перешелъ въ „Новое Слово“, „Начало“ и „Жизнь“, органы воинствующаго марксизма.

Его пьесы: „Мѣщане“ и „На днѣ“, впервые поставленныя на сценѣ Московскаго Художественнаго театра, обошедшія потомъ всѣ провинціальныя сцены и попавшія на подмостки заграничныхъ театровъ, еще больше упрочили его репутацію. Въ мартѣ 1902 г. Академія Наукъ избрала Горькаго въ почетные академики по разряду изящной словесности, но вскорѣ выборы эти объявлены были недѣйствительными въ виду предъявленнаго къ писателю обвиненія въ политическомъ преступленіи.

Горькій представляетъ рѣдкій примѣръ писателя, съ невѣроятной быстротой пріобрѣвшаго широкую популярность. Причинъ такого быстрого успѣха молодого писателя, помимо, конечно, его

крупнаго художественнаго таланта, нѣсколько. Горькій познакомилъ русское общество съ такими уголками русской дѣйствительности, которые до него лишь изрѣдка и не съ такой широтой захвата изображались русскими писателями. Симпатіи Горькаго къ пролетариату, его явно отрицательное отношеніе къ интеллигенціи сближали его творчество съ идейными предпосылками марксизма, владѣвшаго умами молодежи въ годы появленія первыхъ произведеній Горькаго. Наконецъ, бодрый тонъ писателя, его вѣра въ жизнь были лучомъ свѣта послѣ литературы восьмидесятыхъ годовъ, проникнутой уныніемъ, отчаяніемъ.

Указанныя причины далеко не равноцѣнны. Какъ изобразитель быта „бывшихъ людей“ и ихъ психологіи, Горькій ужь не такъ силенъ, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Укажемъ хотя бы на то, что его романтически приукрашенные герои говорятъ всѣ одинаковымъ языкомъ,—языкомъ самого автора, что наводитъ на нѣкоторыя сомнѣнія и относительно подлинности ихъ философскихъ разсужденій, къ которымъ они всѣ такъ склонны. Затѣмъ, хотя Горькій и печатался въ марксистскихъ органахъ, его марксизмъ нуждается въ нѣкоторыхъ оговоркахъ. Въ одномъ изъ разсказовъ („Читатель“) Горькій отъ своего собственнаго лица говоритъ, напримѣръ, такъ: „Человѣкъ теперь не царь земли, а рабъ жизни, утратилъ онъ гордость своимъ первородствомъ, преклоняясь передъ фактами, не такъ ли? Изъ фактовъ, созданныхъ имъ, онъ дѣлаетъ выводъ и говоритъ себѣ: вотъ непреложный законъ! И подчиняясь этому закону, онъ не замѣчаетъ, что ставитъ себѣ преграду на пути къ свободному творчеству жизни, въ борьбѣ за свое право ломать для того, чтобы создавать“. Стоитъ сравнить эти слова хотя бы съ приведенной въ главѣ XXVI выпиской изъ сказки Короленко „Необходимость“, чтобы увидѣть, къ кому былъ ближе Горькій по своей основной точкѣ зрѣнія: къ марксистамъ или къ ихъ противникамъ изъ „Русскаго Богатства“. Немало интереснаго въ этомъ отношеніи можно найти и въ неоконченной повѣсти „Мужикъ“, гдѣ Шебуевъ, онъ же Горькій, говоритъ о гармоническомъ развитіи личности въ духѣ и даже стилѣ Михайловскаго. Остается третья причина успѣха Горькаго,—его жизнерадостность, бодрость... Она и является рѣшающей. „Всякому времени свой мужъ потребенъ“, — Горькій и былъ такимъ „мужемъ“ для 90-хъ годовъ.

Любимый герой Горькаго—„безпокойный человѣкъ“, недовольный окружающей его жизнью, стремящійся вырваться изъ-подъ власти обывательскаго существованія, которое идетъ сегодня,

какъ вчера, потому что всегда такъ было. „Смѣшные люди“,— говоритъ Макарь Чудра:— „сбились въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько! И все работаютъ. Зачѣмъ, кому? Никто не знаетъ. Видишь, какъ человѣкъ пашетъ, и думаешь: вотъ онъ по каплѣ съ потомъ источить силы свои на землю, а потомъ ляжетъ въ нее и сгніетъ въ ней. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не видитъ съ своего поля и умираетъ, какъ родился, дуракомъ. Что жъ, онъ родился затѣмъ что ли, чтобъ поковырять землю да и умереть, не успѣвъ даже могилы самому себѣ выковырять? Вѣдома ему воля? Ширь степная понятна? Говоръ морской волны веселить ему сердце? Эге! Онъ рабъ, какъ только родился, и во всю жизнь рабъ, да и все тутъ! Что онъ съ собой можетъ сдѣлать? Только удавиться, коли поумнѣетъ немного“.

Не мирясь съ обыденной жизнью, „безпокойные люди“ Горькаго любятъ бродяжить, какъ любятъ это, напримѣръ, арестанты, которыхъ неудержимо тянетъ въ тайгу, особенно когда они весной слышатъ призывный голосъ кукушки.

„Я, братъ, рѣшилъ“,— говоритъ одинъ безпокойный человѣкъ („Коноваловъ“),— „ходить по землѣ въ разныя стороны—это всего лучше. Идешь, и все видишь новое... И ни о чемъ не думается... Дуетъ тебѣ вѣтерокъ навстрѣчу, и точно онъ выгоняетъ изъ души разную пыль. Легко и свободно...— „Волю мою“,— говоритъ Кузьма Косякъ („Тоска“)—ни на какую жену, ни на какую хату не смѣняю... По сѣдые волосы вдоль да поперекъ шлаться буду... А на одномъ мѣстѣ скучно мнѣ“..

Жалобъ, нытья, безпомощности, безнадежнаго взгляда на жизнь мы не найдемъ у героев Горькаго. „Все въ порядкѣ“,— говоритъ Безрукій въ рассказѣ „Тоска“:— „ныть и плакать не стоитъ—ни къ чему не поведетъ. Живи и ожидай, когда тебя изломаетъ, а если изломало уже—жди смерти! Только и есть на землѣ всѣхъ умныхъ словъ. Поняли?“ И это не гордость отчаянія: это мужество сознающей свою силу человѣческой личности.

Съ высоты своей гордой силы, давшей имъ волю, „безпокойные люди“ презрительно смотрятъ на копающийся людской муравейникъ, прикованный къ одному мѣсту. „Что есть мужикъ?“— спрашиваетъ герой рассказа „Проходимецъ“ и отвѣчаетъ: „Мужикъ есть для всѣхъ людей матеріаль питательный, сирѣчь съѣдобное животное. Для существованія человѣка необходимы солнце, вода, воздухъ и мужикъ“. Рабочіе, „жалко ковыряющіе землю вмѣсто того, чтобы стремиться къ небу“,—рабы, потъ и кровь которыхъ служить цементомъ всѣхъ земныхъ сооружений; они

отдаютъ „всѣ свои силы вѣчному стремленію сооружать, — стремленію, которое создаетъ на землѣ чудеса, но все-таки не даетъ людямъ крова и слишкомъ мало даетъ имъ хлѣба“.

Какой же дѣятельности хотять герои Горькаго, неудовлетворенные обыденной жизнью? Чѣмъ заполняется въ ихъ душѣ пустота, образовавшаяся послѣ того, какъ они изгнали изъ нея мелкія стремленія мелкихъ людей? Большинство безпокойныхъ людей Горькаго не могли бы дать на эти вопросы опредѣленнаго отвѣта. Сильные, какъ отрицатели, разрушители, они слабы, какъ созидатели, творцы. И это знаетъ какъ будто самъ Горькій. Недаромъ въ „Өомѣ Гордѣевѣ“ Маякинъ (кстати сказать, одинъ изъ самыхъ художественныхъ образовъ Горькаго), умный дѣлецъ, одинъ изъ „хозяевъ жизни“, раздражается такой характерной рѣчью: „Ужъ коли настало такое время, что всякій шибзникъ полагаетъ про себя, будто онъ — все можетъ и сотворенъ для полнаго распоряженія жизнью, дать ему, стервецу, свободу! На, сукинъ сынъ, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспослѣдуетъ такая комедія: почувавъ, что узда съ него снята, зарвется человекъ выше своихъ ушей и перомъ полетитъ и туда, и сюда. Чудотворцемъ себя возомнитъ и начнетъ онъ тогда свой духъ испущать... А духа этого самаго строительнаго, со-овсѣмъ въ немъ малая толика! Попыжится это онъ день-другой, потопорчится во всѣ стороны и — въ скорости ослабнетъ, бѣдненькій! Сердцевина-то гнилая въ немъ... хе-хе-хе! Ту-уть его, — хе-хе-хе! — голубчика, и поймають настоящіе, достойные люди, тѣ настоящіе люди, которые могутъ... дѣйствительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будутъ жизнью править не палкой, а пальцемъ да умомъ“.

„Сердцевина“ безпокойныхъ людей „гнила“ потому, что они — носители силы, только силы, какъ таковой. Но сила въ ея абсолютно чистомъ видѣ, безотносительно къ тому, на что она направляется, — на то ли, чтобъ „Россію отъ холеры спасать“, на то ли, чтобъ „собрать шайку товарищей и жидовъ перебить“ („Супруги Орловы“), — такая сила создать ничего не можетъ.

Правда, въ послѣднихъ произведеніяхъ Горькаго культъ силы, какъ таковой, нѣсколько смягчается, ей намѣчается цѣль, отмѣченная духомъ созиданія: борьба за общее благо, вытекающая изъ борьбы за право личности (Нилъ въ „Мѣщанахъ“). Гордое презрѣніе сильныхъ къ слабымъ, по отношенію къ которымъ раньше рекомендовалось „плюнуть и пройти мимо“, смѣняется желаніемъ облечить ихъ жизнь красивой ложью, на что такой мастеръ старикъ Лука („На днѣ“). Но эти оговорки все же не

уничтожаютъ всёхъ противорѣчій, недомолвокъ и недоразумѣній, которыя вызываютъ герои Горькаго, разсматриваемые съ точки зрѣнія ихъ „строительнаго духа“.

Сильные люди Горькаго въ общемъ носятъ своеобразный „словный“ характеръ: почти всё они не изъ среды интеллигенціи. Отношеніе Горькаго къ послѣдней мѣнялось въ различные періоды его литературной дѣятельности. Въ своихъ первыхъ произведеніяхъ онъ смотрѣлъ на нее явно недоброжелательно. Когда онъ примкнулъ къ марксизму, недоброжелательство перешло въ злобу, ненависть. Слабая, ноющая, утратившая вкусъ къ жизни, несущая ее, какъ иго, „какъ что-то скучное, тягучее, сѣрое“, прямая противоположность сильнымъ людямъ „дна“, — русская интеллигенція вызываетъ такую, на примѣръ, отвѣдь Ежова („Томъ Гордѣевъ“), устами котораго говоритъ самъ авторъ: „Я собралъ бы остатки моей истерзанной души и вмѣстѣ съ кровью сердца плюнулъ бы въ рожу нашей интеллигенціи, чор-ртъ ее побери! Я-бъ имъ сказалъ: букашки! вы, лучшей сокъ моей страны! Фактъ вашего бытія оплаченъ кровью и слезами десятковъ поколѣній русскихъ людей, о, гниды! Какъ вы дорого стоите своей странѣ! Что же вы дѣлаете для нея? Превратили ли вы слезы прошлаго въ перлы? Что дали вы жизни? Что сдѣлали? Позволили побѣдить себя. Что дѣлаете? Позволяете издѣваться надъ собой.. Вы слишкомъ много разсуждаете, но вы мало умны и совершенно безсильны и — трусы всё вы! Ваше сердце набито моралью и добрыми намѣреніями, но оно мягко и тепло, какъ перина, духъ творчества спокойно и крѣпко спитъ въ немъ, и оно не бьется у васъ, а медленно покачивается, какъ люлька“.

Въ послѣдніе годы, когда въ Горькомъ особенно сильно стало замѣтно стремленіе, говоря его собственными словами („Читатель“), „найти стройную и ясную мысль, охватывающую всё явленія жизни“, онъ пристально вглядывается въ тотъ слой русскаго общества, который онъ объединялъ словомъ „интеллигенція“. Въ результатѣ за громадныя скобки этого слова вынесены „маленькіе, нудные людишки“, которые

Ходятъ и—уныло ищутъ мѣста,
Гдѣ бы можно было спрятаться отъ жизни.
Все хотятъ дешевенькаго счастья,
Сытости, удобствъ и тишины,
Ходятъ и—все жалуются, стонуть,
Сѣренькіе трусы и луны.

Горькій доводитъ этихъ самыхъ людишекъ до признанія, что „интеллигенція—это не мы“ („Дачники“). А кто же? Люди, соче-

тающіе борьбу за свободу своей личности съ борьбой за общественное благо. На сторонѣ такой интеллигенціи всѣ симпатіи Горькаго, читатель это ясно видитъ, но образы, ее воплощающіе, едва ли его удовлетворяютъ. Что-то сухое, узкое есть и въ Нилѣ („Мѣщане“), и въ Марьѣ Львовнѣ, и во Власѣ („Дачники“), чего-то недостаетъ имъ всѣмъ, чтобы стать не выразителями только міросозерцанія автора, а живыми людьми. Это что-то—тѣ глубокіе, нравственные мотивы, которые освѣтили бы ихъ внутреннимъ свѣтомъ.

Горькій еще не сказалъ своего послѣдняго слова, подводить итоги его художественной работы еще нельзя, но въ одномъ отношеніи значеніе его литературной дѣятельности уже вполне опредѣлилось: въ годы пробужденія общественной бодрости, наканунѣ великаго кризиса русской жизни, онъ нашелъ въ своей душѣ красивые, сильные звуки, ярко выразившіе страстный порывъ къ борьбѣ, окружившіе ореоломъ величія „безумство храбрыхъ“.

Рисунки и портреты.

	<i>Стран.</i>
1. Снимокъ, части листа изъ Остромірова Евангелія	7
2. Образецъ рукописной миниатюры изъ житія Св. Бориса и Глѣба	8
3. Заглавный листъ „Вѣдомостей“ 1704 г.	16
4. Н. И. Новиковъ	34
5. А. Н. Радищевъ	37
6. Н. М. Карамзинъ	54
7. В. А. Жуковский	59
8. А. С. Грибоѣдовъ	72
9. А. С. Пушкинъ	79
10. Н. В. Гоголь	87
11. М. Ю. Лермонтовъ	100
12. В. Г. Бѣлинскій	113
13. А. И. Герценъ	122
14. Н. Г. Чернышевскій	134
15. Н. А. Добролюбовъ	136
16. Д. И. Писаревъ	137
17. Н. К. Михайловскій	139
18. И. С. Тургеневъ	150
19. И. А. Гончаровъ	164
20. А. Н. Островскій	171
21. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ	182
22. Г. И. Успенскій	192
23. Л. Н. Толстой	203
24. Ф. М. Достоевскій	221
25. В. М. Гаршинъ	234
26. В. Г. Короленко	238
27. А. А. Фетъ	245
28. С. Я. Надсонъ	254
29. А. П. Чеховъ	257
30. Максимъ Горькій	263

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стран.</i>
Предисловіе	3
I. Народная словесность. Литература домонгольскаго періода	5
II. Литература Московской Руси и канунъ преобразованій	12
III. Литература Петровской эпохи	15
IV. Русская жизнь въ царствованіе Екатерины II.	21
V. Г. Р. Державинъ. Д. И. Фонвизинъ	28
VI. Н. И. Новиковъ. А. Н. Радищевъ	34
VII. Общественныя и умственныя теченія первой половины XIX вѣка.	41
VIII. Н. М. Карамзинъ. В. А. Жуковскій	52
IX. К. Ф. Рылѣевъ	64
X. И. А. Крыловъ. А. С. Грибоѣдовъ	68
XI. А. С. Пушкинъ	77
XII. Н. В. Гоголь	86
XIII. М. Ю. Лермонтовъ	99
XIV. А. В. Кольцовъ	109
XV. В. Г. Бѣлинскій	112
XVI. А. И. Герценъ	122
XVII. Общественныя и умственныя теченія второй половины XIX вѣка.	133
XVIII. Д. В. Григоровичъ	146
XIX. И. С. Тургеневъ	150
XX. И. А. Гончаровъ	163
XXI. А. Н. Островскій	170
XXII. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ	183
XXIII. Г. И. Успенскій	194
XXIV. Л. Н. Толстой	201
XXV. Ф. М. Достоевскій	220
XXVI. В. М. Гаршинъ. В. Г. Короленко.	233
XXVII. А. А. Фетъ. Н. А. Некрасовъ. С. Я. Надсонъ	243
XXVIII. А. П. Чеховъ	256
XXIX. Максимъ Горькій.	262